



ЮНОСТЬ



10
1974



Д. БАЙРАМОВ (Ашхабад).

Студенты.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ

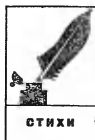


10 (233)
ОКТЯБРЬ
1974

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Виталий Коротич



Перевела
с украинского
Ю. МОРИЦ

Заклинание правдой

Той дорогой вернись,
По которой пришел не туда.
Той дорогой вернись
И оттуда, где зажил удобно и складно.
Отвернись от неправды
И к правде вернись безоглядно,
Слушай совесть,
Она выручает поэта всегда.

Ощутишь глубоко
Сладость горьких исканий живых,
Невозможность сладчайшую —
Стариться в лаврах кумира.
Стань собой.
Отрекись от соблазна удобств мировых,
Ведь убийственной всех неудобств —
Неудобство душевного мира.

Свой отчетливый след
Ты обязан найти, и тогда
Пусть тревога, твой бог,
Не исчезнет, не канет в безвестность,
Потому что поэт —
Это в первую очередь честность.
Той дорогой вернись,
По которой пришел не туда.



Я видел сосны. Каждая из них
жила отдельной жизнью в гущине.
Сто сосен — сто прекрасных разных книг,
сто строф, душе навеянных во сне.

Сто женщин золотых стоят в песке
и пьют смолистый ветер, как вино,
сто капель, золотящихся в реке,
живущих в море — врозь и заодно.

Сто сосен — слов стволы над головой,
их подпирает вечности ладоны.

И мир ночной, блестящий и живой,—
как вороной, от бега потный конь.

Кровь хвойная — смола — живейший сок
сосны — обронзовелая змея...
Сто сосен... Иглы упадут в песок,
тогда душа состарится моя...



А что в итоге! Мать, друзья, работа,
любовь... Во что еще душа влита!
И жизни блеск и жизни простота
немыслимы без этого оплота.
Вот суть. А остальное — суета.

...И если жизни стебель невредимый
врастает в рану, что ж, сожми уста
иль слезы съешь, чья соль, как хлеб, чиста.
Страшна утрата матери, любимой,
друзей, работы. В них неистребимый
свет смысла. Остальное — суета!

Песня для матери

Для встречи нам нужно присниться,
Обняться на волнах времен.
Откуда срывается птица,
Как юность твоя — в небосклон.

Прости, я пишу тебе мало —
Я странствую так далеко.
Все время ты сنيшься мне, мама,
Когда на душе нелегко.

Под солнцем лечу, под луною,
Пространство хочу одолеть.
Повсюду была бы со мною —
Не смог бы я так побелеть.



Полдня был ливень так прозрачен,
потом багровым стал поток,
когда закат пятном горячим
возник и струями потек.

Безмолвный водопад. Ни звука.
Небес посланники, гонцы,
летели капли прямо в руку
и замирали, как пенцы.

И бился на ветру студенком
их дух продрогший, дух живой,
и чернонебье с чернотомом
сшивал он нитью дождевой.

Уже природа в красном море
меняла облика черты.

...Зерном в червонном помидоре
стою во влаге красоты,
пью свет червонный, с высоты
в хрусталь дождя он влит в просторе.

Реквием для бандуриста

А песню просто схоронили в горле,
И тишь не поканулась над лесами.
Когда отпели песню в мертвом горе
Живые неживыми голосами.

Я не забыл, что он упал, как зори —
На рыхлые, размокшие поля,—
Кобзарь, забытый насмерть на базаре,
Свернувшийся в ногах у патруля.

Угас мгновенно. Опустились плечи.
Окружность крови вспыхнула, как нимб.
И струны постепенно стихли в плаче,
Светясь и умирая вместе с ним.

Как из реки, из этой смерти выплыть
Хотел. Невольно дрогнула рука.
Поэта нет, и вдруг толпа охрипла,
Утратив дар родного языка.

Река мгновений хоронила в иле
Кровавой скорби медленную нить.
И понял я, что нет на свете пули,
Способной что-то в песнях изменить.

Страшится слов эсэсовцы, умея
Прижать ко лбу свинцовую печать.
Еще я понял, что народ немеет,
Когда поэту не дают кричать.

Урок мой детский... Он не стерт листками,
Шуршащими, как годы, в горах книг.
Когда кобзарь был поднят мужиками,
Он знаменем к мужским рукам принял.

Осенний лес без рыжего берета
Стоял. Стоял народ, и видел он
Могилу Неизвестного Поэта,
В чьем горле — вечной песни вечный сон.

Михаил Головентц



Уже недолго до заката,
И в эти тихие часы
По небу тянет «Ил» крылатый
Четыре длинных полосы.

Они растают очень скоро,
Им вслед никто не поглядит,
И самолет покинет город.
Куда-то дальше полетит.

Над степью, над лесной сторонкой,
Над памятью минувших лет,
Где до сих пор в земле воронки —
Другого самолета след...

На Красной площади

Здесь забываю
о пустом и мелком
и ближе чувствую свою страну,
часы сверяю
по кремлевским стрелкам
и сердцем ощущаю тишину.

Проходят тихо люди
к Мавзолею,
и это та
святая тишина,
что всех громов и бурь земных сильнее:
она повсюду явственно слышна.

Лесная речка

У сосен черная вода,
Над ней звезда горит, мерцая,
Течет неведомо куда
Речушка тихая лесная.

А отчего она черна!
Быть может, от густого ила!
Иль навсегда в себе она
Беду чужую схоронила!

А может, в черной глубине,
Сырыми травами обвитый,
Давно лежит на вязком дне
Родной солдат, в бою убитый!



Земля во власти первой стужи,
Лежит
тверда и холодна,
Но этот холод
лишь снаружи,
А в глубине тепла она.

И будет день
с травой зеленой —
Прекрасный день
в твоей судьбе,
И аромат земли взрыхленной
Ударит в голову тебе.

Но землю ты пока не трогай:
Ей надо,
как тебе и мне,
Побыть в покое,
хоть немного,
Себя послушать в тишине.



Ф. НАСЕДКИН



ТРУДНАЯ РАДОСТЬ

РОМАН

Вобластной центр поезд прибыл утром. До обкома я добрался на трамвае. Симонова застал на месте. Он встретил меня радушно.

— Это из какой же пушки тебя выстрелило? На этот раз любимая поговорка была нехстати. В обкоме было известно о моем приезде. Тем более ему, второму секретарю обкома, занимавшемуся деревней. И потому я ответил:

— Из твоей, товарищ Симонов!
Он рассмеялся. Стиснул меня короткими руками. И тут же опустил их, точно устыдившись чего-то.

— Нет! — проговорил он. — К данному делу не имею отношения. Пушку не заряжал, фитиль не зажигал... И окинул меня критическим взглядом. — А ты все такой же. И политотдельская роба идет. Настоящий боец! А оружие-то есть?

— А на что оно нам? — ответил я. — Едем помогать людям, а не воевать с ними.

Симонов одобрительно кивнул.

— Да! — сказал он. — Помогать, а не воевать. Мирное наступление. Борьба с пережитками. Правильно, в этом главная задача политотделов... Он показал на стул, сам опустился за стол. — Жалеешь, конечно, что сорвали с учебы?

— Почему же сорвали? — возразил я. — Институт окончил.

Симонов недоверчиво сощурился.

— Каким образом? — спросил он. — На дворе март. До окончания три месяца.

— Досрочно сдал экзамены.

— Ах, так! — не скрыв удивления Симонов. — В таком случае поздравляю!

Рисунки
В. ЮДИНА.

Странно, но я почувствовал обиду: поздравление прозвучало как-то казенно. Как будто сделал он это по обязанности.

— Институт окончил,—продолжал Симонов.—Специальность получил, а работать опять в комсомоле? — А я и собираюсь работать в комсомоле. Думал после института идти в комсомольскую газету. Ну, ничего... Я еще буду журналистом. Позже.

— Если так, порядок! — сказал Симонов.— Тогда я спокоен.

— А при чем тут ты?

— Как же? Или ты забыл, как попал в институт? Я ж тебя рекомендовал. Уверен был, что из тебя выйдет толк. И был бы огорчен, если бы ошибся.

— Можешь быть спокоен,—в тон ему ответил я.

Симонов откинулся на спинку стула, сузил свои монгольские глаза:

— А я думал... окончишь институт, махнешь на Урал. Или в другой какой промышленный центр. А то и в Среднюю Азию. И будешь отсюда просвещать нас очерками и статьями. А тебя опять угораздило к нам, в наше бедное Черноземье.

— Я сам попросился,—сказал я.—И журналистом приехал бы тоже в нашу область.

— Что же тут интересного для журналиста?

— Люди интересные. Они у нас такие же, как на Урале или в Средней Азии.

Симонов бросил на меня недоверчивый взгляд. Но возражать не стал.

— Ну что ж,—произнес он.—Кому поп, а кому агитпроп. Сколько намереваясь пробыть у нас? Да не задержусь,—сказал я,—если обкому не понравлюсь.

Симонов наморщил лоб, словно обдумывая что-то.

— Лично у меня к тебе ничего нет. В Буграх я пока не был. А вот Ворониным... Он, может, захочет познакомиться. Он тебя помнит. Да и Бугровский район знает, не раз бывал там. Вот он кое-что расскажет... и, снова подумав, посоветовал:—Планируй выезды на завтра. А до этого потопляйся в наших отделах. Может, что полезное извлечешь. А я поговорю с Ворониным. Сегодня он занят. Через час заседание в обкоме партии. А завтра мы организуем встречу...

Я с интересом наблюдал за Симоновым. Он заметно раздался в плечах, полотно плеч, посидел плечо. Лицо округлилось. Только глаза оставались неизменными — серьезными и проницательными.

Узнав, что я прямо с поезда, вызвал секретаршу. Я вспомнил ее: вместе с Симоновым она пришла сюда из окружкома. И, как прежде, смотрела на него преданными глазами.

— Людочка! Направьте комполита Касаткина в гостиницу. Разумеется, за счет обкома...—Когда Люда вышла, спросил:—Про Дымова нашего слышал, про Дмитрия Ивановича?

— А как же! — сказал я.—У нас в библиотеке института журналистики есть все областные газеты. Я читал.

Симонов восхищенно цокнул языком.

— Здорово! Секретарь обкома партии! Смелое выдвижение!

— И как он?

— Превосходно! Как будто рожден для этого дела. Хороший хозяин! Область сразу почувствовала — настоящий руководитель.

— Хочу зайти к нему. Как думаешь, примет?

— Может, и принял бы. А только нету его. Вчера в Москву выехал. В ЦК вызвали...—Симонов астал.—Вот так, друг Касаткин! — продолжал он с улыбки, но в глазах была настороженность.—Валей устранивайся. А часам к шести приходи к нам.—И, вырвав листок настольного календаря, написал несколько слов.—Вот адрес... Вместе пообедаем. И с Клавой поведаетесь. Она часто вспоминает тебя.

Адрес был тот же. Видно, Симонов забыл, что я бывал у него. Сунув листок в карман, я спросил:

— А как она, Клавдия? Как живет? Что делает?

— Живет ничего,—ответил Симонов.—Учится в университете. И дома хозяйничает.

— И как вы с ней? Ладите?

Лицо Симонова озарилось, в глазах вспыхнули угольки.

— По всем статьям! Она ж такая... Чудесная! — И, обняв меня за плечи, продолжал:—Устраивайся — и к нам в гости. Будем рады...

В 1967 году в №№ 6—8 «Юности» была сдана «Великие голодранцы». Это первая писатель рассказывает о становлении Советской юности, о борьбе комсомольцев и молодежи за новую жизнь, о нелегкой судьбе простого парнишки Хвилья Касаткина и его друзей. Вторая часть — «Красный чернозем» — вышла отдельной книгой. В этом номере журнала мы начинаем печатать третью часть трилогии — «Трудная радость». Она посвящена тридцатым годам, в ней

Филипп Иванович Наседкин в прошлом комсомольский активист, организатор одной из первых сельских комсомольских ячеек у себя на части тот же путь, что и его герой Касаткин. В 1939—1943 годах Филипп Наседкин был секретарем ЦК ВЛКСМ, но вынужден был покинуть лон сил и энергии, хотя работает он в труднейших условиях, когда связь с жизнью и людьми и сам процесс работы над рукописью для него пера вышли книги, которые стали широко известны у нас в стране. За повесть «Великие голодранцы» писателю была присуждена премия Ленинского комсомола.

Жизненной правдой и глубоким оптимизмом роно знает то, о чем пишет. Его пером водит красных людей — коммунистов, комсомольцев, Новое произведение Ф. Наседкина — еще одно друга.

опубликована повесть Филиппа Ивановича Наседкина «Великие голодранцы», в которой часть автобиографической трилогии, в которой власти в одной из южных областей России, о борьбе комсомольцев и молодежи за новую жизнь, о нелегкой судьбе простого парнишки Хвилья Касаткина и его друзей. Вторая часть — «Красный чернозем» — вышла отдельной книгой. В этом номере журнала мы начинаем печатать третью часть трилогии — «Трудная радость». Она посвящена тридцатым годам, в ней

Филипп Иванович Наседкин в прошлом комсомольский активист, организатор одной из первых сельских комсомольских ячеек у себя на части тот же путь, что и его герой Касаткин. В 1939—1943 годах Филипп Наседкин был секретарем ЦК ВЛКСМ, но вынужден был покинуть лон сил и энергии, хотя работает он в труднейших условиях, когда связь с жизнью и людьми и сам процесс работы над рукописью для него пера вышли книги, которые стали широко известны у нас в стране. За повесть «Великие голодранцы» писателю была присуждена премия Ленинского комсомола. Жизненной правдой и глубоким оптимизмом роно знает то, о чем пишет. Его пером водит красных людей — коммунистов, комсомольцев, Новое произведение Ф. Наседкина — еще одно друга.

доказательство мужественного таланта нашего друга.



Да, это был тот же дом. Я поднялся на третий этаж. На площадке на всякий случай глянул в записку. Все точно.

Дверь открыла сама Клавдия.

— Здравствуй, Фил! — обрадовалась она, протянула руку: — Я ждала тебя... Она провела меня в комнату. — Как давно мы не виделись! — И добавила с виноватой улыбкой: — А Коля задерживается. Что-то срочное...

Она теперь стала еще красивее. Черты лица мягче. Глаза под темными, разлетающимися бровями блестели. Алые губы казались более чувственными. И держится иначе: ни следа бывлой гордости, высокомерия, выглядит простой, даже скромной.

Глядя на меня, Клавдия сказала:

— Так много времени прошло!..

— И событий произошло немало, — сказал я. — Да таких, что и не придумаешь нарочно. Ну разве можно было предположить, что ты станешь женой Симонова?

Клавдия рассмеялась. Но вдруг смолкла:

— А как ты относишься к нашей женитбе? Может, осуждаешь Колю?

Я удивленно пожал плечами.

— Почему, собственно, я должен его осуждать?

— Ну как же? — сказала Клавдия. — Он ведь коммунист. Руководитель работников. А я из буржуазного класса.

— Ты же порвала с ними. И если Коля верит тебе...

Клавдия пристально посмотрела на меня. В глазах ее метнулась тревога.

— А ты, ты веришь мне? Ну скажи. Только правду!

Я вспомнил встречи с ней. Прежде она свысока смотрела на нас, голодранцев. Но не было случая, чтобы она солгала или обманула. И я твердо сказал:

— Да, верю.

— Спасибо, Фил! Для меня это важно. Вы ведь с Колей друзья, и твоё мнение много значит.

Нетрудно было догадаться, чего опасалась она. И я без обиняков спросил:

— Ты, что же, думала: буду настраивать его против тебя?

Клавдия помолчала, словно собиралась с мыслями.

— Не то чтобы настраивать... Я боялась... ты не одобришь его выбора.

— Что ты!.. Если бы не он, я наверняка женился бы на тебе... Конечно, если бы ты согласилась.

Клавдия рассмеялась.

— А ты мне нравишься. Одно время даже казалось, что влюблена в тебя. А как познакомились с Колей...

Она замолчала, словно устыдившись своей откровенности. Я спросил неожиданно для самого себя: — А Миня Лапонин где? Он чем пробавляется?

Клавдия потемнела. Но ответила сдержанно:

— Учится в Москве. В юридическом институте.

Новость прозвучала как гром среди ясного неба.

— Как же он попал туда?

— Я подготовила, — сказала Клавдия. — Занималась с ним. Много труда на него потратила.

Я вспомнил давние разговоры, в которых имена Мини и Клавдии стояли рядом.

— А замуж за него не собиралась?

Клавдия покраснела и опустила глаза.

— Он очень хотел этого, клялся в любви. Но что он мне? Я его никогда не любила.

— Ради чего ж ты тратила на него труд и время?

— Сама не знаю. Может, человеком станет... И, помолчав, продолжала: — А занимался он упорно.

— Но почему в юридический?

Клавдия пожалла плечами.

— Кто-то посоветовал. Даже обещал поддержку.

И, как видно, не зря...

Кулацкий сын Миня Лапонин — московский студент! Это походило на шутку.

— А может, он наврал, что студент?

Клавдия передернула плечами.

— Может, и наврал. Только меня это не интересует. И хватит о нем. Расскажи лучше о себе. — И окинула меня быстрым взглядом. — Коля говорил: ты в военной форме. И она будто идет тебе?

Я развел руками.

— Форма не совсем военная. Без петлиц и знаков различия.

— А вам разрешается ходить в гражданском?

Я невольно рассмеялся. И, заметив ее недоумение, пояснил:

— Да мы же гражданские работники. А вернее, партийные. Политотделы-то — партийные органы. Созданные для выполнения особых задач.

— И какие ж это задачи?

— Навести порядок в деревне. В короткий срок обеспечить подъем сельского хозяйства.

Опять помолчала. Потом Клавдия призналась:

— А мне хотелось посмотреть на тебя в военной форме. Почему-то кажется, она тебе к лицу.

— Как раз наоборот, — снова рассмеялась я. — Она на мне, как на огородном пугале. Потому-то я сегодня и купил на толкучке этот костюм. Чтобы не показывать тебе на глаза в политотдольской робе.

Клавдия опять почему-то смутилась и перевела разговор:

— А еще Коля сказал, что ты окончил институт...

— Окончил, — подтвердил я.

— Молодец! — горячо произнесла Клавдия. — Поздравляю! А вот я только за второй курс собираюсь сдавать...

Телефонный звонок прервал разговор. Звонил Симонов. Клавдия слушала и временами только подкивала. Я без стеснения рассматривал ее. Да, она была очень красивой. Но красота ее почему-то не волновала. И я, пожалуй, покривил душой, сказав, что женился бы на ней.

— Извини, Фил! — Клавдия положила трубку. — Если хочешь, посмотри газеты. Вон там, на столе. А я пойду разогревать обед. Коля сейчас придет.

Оставшись один, я осмотрел комнату. Она была неузнаваемой. Стены оклеены розовыми обоями. Журнальные иллюстрации исчезли. Пол заново выкрашен. И заполнены ее вещи, которые украшали комнату Клавдии в особняке на тихой улице.



За обедом они расспрашивали о Москве.

— Не дождусь, когда побываю там, — сказала Клавдия. — Даже стыдно признаться, что до сих пор не была в столице.

— Ничего, Клавочка! — сказал Симонов. — Потерпи немного.

— Ты все только обещаешь! — упрекнула она. — «Потерпи да потерпи». А сам и в ус не дуешь, и обратился ко мне: — Ты только подумай, Фил! За то время, как мы женаты, шесть раз был в Москве и ни разу не взял меня с собой.

— Я же был там по работе, — возразил Симонов. — А ездить с женой в командировки не принято. На смех поднимут, а то и осудят.

— Ну, кто бы узнал? — настаивала на своем Клавдия. — По твоим служебным делам я не пошла бы с тобой. А по Москве побродила бы и одна. Никто бы не узнал, кто я такая. — Она собрала тарелки. — Передохните немного. Сейчас принесу чай...



Мы подошли к окну, смотревшему в тихую улицу. Симонов закурил.

— Значит, к Чумаковой? — спросил он, как будто только что узнал об этом. — Что ж, это хорошо. Она у нас боевой секретарь. И хотя ты не подчинен райкому, покоя от нее не жди.

— А мне и не нужен покой. Работать еду.

— Вот-вот! — подхватил Симонов. — Тут даже ваша прошлая дружба не поможет. Главное для Чумаковой — дела... — И вдруг сузил глаза. — А какие у тебя с ней отношения?

Вопрос удивил меня.

— Самые обыкновенные. Дружеские.

Симонов глубоко затаился. Выпустил дым в открытую форточку.

— А ты знаешь об этой заполучной истории? Я говорю о ее замужестве.

— Я ничего не слышал и признался в этом.

— Вскоре после твоего отъезда в Москву мы взяли ее в окружком. В орготдел инструктором. И не ошиблись. Она талантливейший организатор и быстро завоевала авторитет среди актива. А потом...

Потом произошло то, чего никто не ожидал. Маша внезапно вышла замуж. И так же внезапно разошлась. Но стала совсем другой. Как будто ее подменили.

Когда вышло постановление об упразднении округов, Маша попросилась на свой завод, но в обхо-ме ее уговорили поехать в район. Надо было укреплять сельские райкомы. А она хорошо знала деревню, имела опыт руководящей работы. Маша согла-

силась, и ее направили в Бугры, а там избрали секретарем райкома комсомола.

— Вот она и секретарствует, — рассказывал Симонов. — Недавно мы слушали ее в обкоме. И она предстала перед нами прежней Чумаковой. Горячей, умелой, задорной...

Рассказ Симонова обескуражил меня. Маша всегда была строгой, особенно в отношениях с нашим братом. Я растерянно пробормотал:

— Нет, я ничего не знал. Она не писала об этом...

Клавдия принесла чай, сахар, печенье.

Когда мы селись за стол, Симонов заметил мои голые ноги:

— Почему на босу ногу?

Я покраснел. Но ответил беззаботно:

— Носков не нашел. Купил на толкучке костюм. А носков нет. Ни на базаре, ни в магазинах. Вот и пришлось на босу ногу.

— На босу ногу не годится, — сказал Симонов. — А с носками у нас и правда плохо. Бывают в магазинах, но редко. — И глянул на Клавдию, с усмешкой разливавшую чай. — Дастесь, Клава! Кажется, есть ненадежные.

Еще более смутившись, я замахал руками.

— Не надо... Сам, небось, не богат?..

Но Симонов не слушал.

Клавдия открыла зеркальную дверцу гардероба, порылась в одном из ящиков и положила передо мной пару коричневых носков.

— Конечно, одной пары мало, — сказал Симонов. — Но больше у меня нет. Если на месте не купишь,

напиши. Напиши без стеснения и показного гордчества. Постарайся выслать. Купим, как будут, и вышлем...

Лицо мое горело огнем. И я ругал себя за то, что пришел сюда не в политотдельском костюме.



С моим приездом Молчановский политотдел был почти укомплектован. Задерживался только заместитель начальника политотдела по партработе. Однако его ждали со дня на день.

Перед встречей с Осадчим, начальником политотдела, я волновался. Как-то сложатся отношения? Сумею ли справиться? В райкоме партии, куда я зашел с просьбой помочь добраться до Молчановки, его хвалили:

— Строгий, но справедливый. И умом не обижен... Таким Осадчий показался и мне.

Выглядел он грузноватым. Над голубыми глазами нависал большой лоб. В каштановых волосах пробивалась седина. Весь вид его говорил о добродушном характере. В то же время в нем чувствовалась твердая воля.

Беседовали долго. Он поинтересовался, как я доехал, незаметно расспросил о прошлом. Обрадовался, когда узнал, что я окончил институт.

— Это хорошо,— мягко сказал он.— Институт — великое дело. Жизнь будешь лучше видеть. В глубины ее сможешь проникнуть...

Осадчий и сам приехал в политотдел недавно. Но уже успел познакомиться с зоной. И теперь говорил, что работа предстояла интересная, хотя и нелегкая.

— Люди тут, как и везде, трудолюбивые и честные. Но они еще не привыкли к коллективному труду. Отсюда и дела в колхозах шли плохо...

Вошла черноволосая женщина лет тридцати, помощник начальника политотдела по женработе Ольга Уралова.

Когда Осадчий познакомил нас, Уралова придиричиво осмотрела меня.

— Добро пожаловать, товарищ Касаткин! — сказала она чистым, низким голосом.— Живем мы тут по-простому, а потому выкладывай, как звать тебя. Я назывался полным именем, но тут же добавил, что всюду меня звали Хвией. Уралова довольно кивнула и тонким, не допускавшим возражений, заявлением:

— Будешь и у нас Хвией. Просто и ясно. И даже поэтично...

Потом в кабинет ворвался редактор политотдельской многотиражки «Вперед» Аркадий Лукашов. Осадчий представил нас друг другу. Говоря обо мне, подчеркнул, что я дипломированный журналист. Этому Лукашов обрадовался. И тут же записал меня в постоянные корреспонденты своей газеты.

Писать придется бесплатно,— предупредил он.— Но это не значит, что можно писать плохо. Как раз наоборот. От нашего брата требуется наиболее полная отдача мастерства и таланта.

Я признался, что пока еще не считаю себя журналистом:

— Одно образование не дает такого звания. В нашем деле самое главное — опыт.

Лукашов подумал и изрек:

— Тем лучше. Теорию освоил в институте. Практику пройдешь у меня. Начнем с взов и низов.— Он сунул мне в руки последний номер многотиражки.— Вот познакомься. И оцени.

Это была небольшая газета. Две страницы на квадратном листе. Крохотная передовица о подго-

товке к севу. И множество мелких заметок. Под заметками стояли разные фамилии. Но почти все они были написаны Лукашовым. И хотя он старался писать их по-разному, они, как мухи, были похожи одна на другую.

— Самому все приходится делать,— пожаловался Лукашов.— Писать, редактировать, возить материал в районную типографию, набирать, печатать, развозить по селам.

— А читают ее, твою многотиражку?

Круглое лицо Лукашова засветилось, как луна — От корки до корки. И даже обсуждают. А кроме того,— с усмешкой добавил он,— бумага такая— лучше для курева и не надо. К тому же достается бесплатно...

Осадчий, Уралова и Лукашов понравились мне, и я сразу почувствовал себя, как в родной семье.



Размещался политотдел на окраине Молчановки, в том же доме, где и контора МТС, только вход был отдельный.

В самой большой из трех комнат оборудовали кабинет начальника. В самой маленькой сидела Наташа Мельникова, секретарь политотдела. Эту комнату назвали прихожей. Но старательная и находчивая Наташа сделала ее такой уютной, что Осадчий однажды шутливо сказал:

— Да это не прихожая, а скорее прихожая...

Шутка понравилась. И комнату Наташи с тех пор стали называть «прихожей».

В третьей комнате стояли три стола, предназначенные для остальных политотдельцев.

Квартировали работники политотдела в Молчановке. Это было большое русское село. До коллективизации дворы были окружены добротными постройками. Окна хат украшали резные наличники. На многих калитках блестели металлические ручки. А над тесовыми воротами тянули шен искусно вырезанные и немислимо раскрашенные пухли.

Теперь же вид у села был невзрачный. Амбары разобраны и свезены на колхозный двор. Другие надворные постройки за ненадобностью распилены на дрова. Ворота и калитки тоже снесены. Во дворы не только зайти, а и заехать можно с любой стороны. И сами хаты выглядели уныло. Казалось, ураган пронесся над селом, разметал его, до неузнаваемости изменил облик.

— Переходный период,— сказал Осадчий, когда я поделился с ним своими впечатлениями.— Старое разрушено. А новое пока в зародыше. Но придет время, и все изменится. И не только село, а и сами жители...

Поставили меня на квартиру в такую же хату с разоренным двором. Но внутри она выглядела опрятно. В углу — выскобленный добела большой стол. Кровать у глухой стены заставлена многоцветным лоскутным одеялом. Старинный комод сверкал лаком. На подоконнике цвела яркая герань.

Привела меня на квартиру Наташа. Приветливо поздоровавшись с хозяйками, сказала:

— Принимайте постоялку, товарищи Грачевы! А завтра пожайте в бухгалтерию МТС для заключения договора на съем помещения. Плату будете получать раз в месяц.

Выслушав Наташу, крупный рыжебородый мужик взглянул на молодку, сидевшую за шитьем, и губам басом сказал:

— Проводи, Юлька! И покажи.

Отложив шитье, Юлия молча встала, неслышно ступая матерчатыми чулками, пошла в сени. С чемоданом в руках я последовал за ней. Из сеней мы

попали в небольшую уютную комнату. Стены побелены. Земляной пол посыпан свежим песком. Верхнюю часть окна перекрывала вырезанная кружевками бумага. Деревянный толчан был застлан дерюжкой.

Остановившись среди комнаты, Юлия сказала:

— Вот, гляди! Коль нравится, оставайся. Коль нет, ищи других. Не неволим.

Я окинул взглядом комнату.

— Спасибо.— И сунул чмода под кровать.

— А звать-то как?— спросила Юлия.— Извиняюсь за любопытство.

— По фамилии Касаткин,— ответил я.— А по имени Хвляя.

Юлия подумала, словно решая что-то:

— Фамилия ничего. Даже красивая. А вот имя... Имя чудное. Хвляя. По-нашенскому — непогодя — И, скупю улыбнувшись, похвалилась:— А комнату я приготовила. Побелила, постель сделала. Подушку пуховую отдала.

Я поблагодарил ее и спросил, кто живет в доме. — Я тут замуем,— посянула Юлия.— Мужа звать Кириха, ну, стало быть, Кирилл. Он я горнице, веревку вьет. А старики — свекор и свекруха. Свекра звать Захар Никитич, свекруху — Анфиса Капитоновна. Вот и вся наша семья.

Вернувшись в горницу, я объявил, что остаюсь у них, и попросил сколотить хоть какой-нибудь столлик.

— Заниматься придется. Читать, писать. А без стола неудобно.

Захар Никитич почесал в бороде и поднял глаза на сына.

— Возьми доску под клетью, Кириуха! Распили, построгой. И на стойки пригодиши...

Я вызвался помочь Кириллу. Мы сразу же вытащили из-под пола пристройки к хате широкую доску. Разметили ее аршином. Распилили поперечной пилой.

Я предложил сделать стол на ножках, а не на стойках, абитых в земляной пол.

— Чтобы можно было переставлять его. И чтобы согдился потом, когда уеду от вас.

Кирилл пылливо посмотрел на меня.

— А ты что, ненадолго к нам?

— Да, думаю, не задержусь. Выполнил свои задачи и, как говорится, ийдисы восвоюси.

Кирилл отыскал рубанок и долото. Я принялся строгать доски, устроившись на крыльце. Наблюдая за мной, Кирилл заинтересовался:

— Видать, приходится плотничать!

— Всякое приходится,— уклончиво ответил я.— Рос на такой же земле, как и ты.

— Только вырос не таким,— возразил Кирилл.— Видно, птица высокого полета.

— Птица ли, не знаю,— сказал я.— А вот насчет полета... Говорят, высоко летать, больно падать...

На улице показался парень в телогрейке и суконных, изрядно потертых галфе. Кирилл окликнул его и, когда парень свернул к нам, сказал мне:

— Генка Жуков, секретарь нашей ячейки. Ничего парень, башковитый.— И Жукова, когда тот остановился перед нами:— Наш помполит Касаткин! Только что прибыл и в квартиру к нам поставлен.

Смуглое лицо Жукова расплылось в ухмылку. Он сунул мне шершавую ладонь:

— С комприветом!

И уселся рядом на завалинке. А Кирилл, кивнув в мою сторону, заметил:

— Видал, как мастери? Не одной головой, а и руками соображает.

— Добро! — отозвался Жуков.— Свойский, значит. Стало быть, сладимся.

В полдень я медленно катил на велосипеде к политотделу. Погода стояла теплая.

Меня спугнул гудок автомобиля. Я свернул в сторону и увидел на дороге зеленый «газик». Сразу узнал Гору Мухаперца, шофера райкома партии. Глядя на меня через стекло, он скалил белые зубы. А рядом с ним сидела... Да, это была Маша Чумакова.

Бросив велосипед, я ринулся к машине. И, когда она остановилась, распахнул дверь. Маша спрыгнула на землю и, улыбаясь, протянула мне руку.

— Федя! — сказала она.— Здравствуй!

«Федя» — так звала меня только Маша.

Я стиснул ее крепкую ладонь.

— Здравствуй, Маша! Здравствуй!

Гога прокричал что-то и погнал «газика» к политотделу. А мы стояли и смотрели друг на друга. Мне хотелось обнять ее, поцеловать. Такое желание, видно, испытывала и Маша. Но что-то удерживало нас. Может, то, что мы были на улице? А может, три года, лежавшие между нами?

— Пошли,— предложила Маша.

Я поднял велосипед, и мы двинулись след за машиной.

— Вчера звонил Симонов,— сказала Маша, тербя косынку на груди.— Я была так удивлена.— И взглянула на меня.— Как же ты промчался мимо райкома? — Райком оказался на замке,— ответил я.— Ты была в отъезде.

— Наверно, в Клиновке,— сказала она.— А потом что ж не позвонил, не дал знать о приезде?

— Был уверен, что ты знаешь,— оправдывался я.— Из обкома не могли не сообщить. Вот и ждал, когда заинтересуешься.

Маша снова глянула на меня и тепло улыбнулась.

— Длиннощий и худущий. Такой же, как и был.

— А ты здорово переменялся,— сказал я.— Прямо не узнать. Стала такая красивая.

Маша смущенно рассмеялась.

Она и в самом деле изменилась. Даже, кажется, чуточку подросла. Фигура статная, ладная. Лицо смуглое. Большие серые глаза блестели, на щеках румянец. Волосы у нее были густые, каштановые.

Зеленый «газик» стоял у политотдельского крыльца. Но Гога за рулем не было. Мы увидели его в «пригожей». Он сидел у столика и не сводил глаз с Наташи.

У Осаднего были Самойлов, директор МТС, и Бартенев, главный механик. Чумакова попросила Наташу предупредить начальника политотдела о ее приезде. А пока предлагала сходить к трактористам.

— Ты с ними-то познакомилась?— спросила она, когда мы снова оказались на улице.— Ребята тут боевые. На работу горячие. Жаль только, что девчат нет. Ни одной трактористки.

— А в других зонах?

— И в других нет. Боятся тракторов. Не женское, говорят, дело!

Мы завернули за угол дома.

— Я всегда захожу в мастерские, когда бываю здесь,— продолжала Маша.— Славные ребята трактористы. Просто непонятно: почему девчонки боятся их?..

Мастерская походила на сарай. Стены ее были обмазаны глиной. Земляной пол залит цементом. Две печи обогревали помещение зимой. Но в холодные дни в мастерской заморозило. Механизаторы работали сдетыми. Да и оборудования не было. Однако все тракторы были отремонтированы к сроку и теперь на линейке готовности стояли перед ма-

стерской. У машин суеились трактористы. Это была молодежная бригада Федора Полыхаева, Ребята раньше других вернулись с обеда и в последний раз осматривали своих «стальных коней».

Навстречу нам двинулись кругобровый и черноглазый Полыхаев в темно-синем комбинезоне, поздоровался и сказал, оставившись на Машу:

— Горячий привет и наилучшие пожелания!

В ответ Маша принялась пожимать ребятам руки. Забыл обо мне, она засыпала их вопросами. Они отвечали охотно и деловито.

Потом принялась осматривать машины. Она пришла завести мотор. И, чуток прислушиваясь, то прибавляла, то убавляла газ. Я следил за ней и про себя удивлялся: когда только успела освоиться, чтобы держаться с ними на равных?

Осмотрев тракторы, Маша ополоснула руки керосином и насухо вытерла их паклей, которую поддал Полыхаев.

— Переходила бы к нам на работу,— сказал он.— Ты, видать, любишь машину. Самую лучшую уступим. И волынчатый никто не станет. Никакой обиды не позволим.

— Так вам же без нашей сестры спокойней,— сказала Маша, весело поглядывая на ребят.— Не нужно оглядываться и сдерживаться.

— В том-то и загвоздка,— ответил Полыхаев.— А надо бы сдерживать нашего брата, не давать волю художествам.

Пошутили, посмеялись. На прощание Маша сказала:

— Если на следующих выборах не изберут в райком, перейду к вам. И тогда берегитесь, молодцы!.

Когда мы отошли, я спросил:

— Курсы, что ли, тракторные окончила?

— Никаких курсов не кончала,— ответила Маша.— Работала на тракторах, когда бывала в поле. В ремонтных мастерских зимой ребятам помогала, книжки почитывала... А они, ребята, любят, когда рядом с ними работаешь. И уважают больше...

На улице показался Осадчий. Увидев нас, остановился. И принялся закуривать. Глядя на него, Маша улынулась.

— Люблю его, Леонида Романыча,— сказала она.— Хороший он человек...

Я попросил рассказать о нем поподробней.

— Самого рассказывать неудобно. А другие политотдельцы тоже ничего не знают...

Маша подумала, точно припоминая что-то. И сказала:

— Я была в райкоме партии... когда с ним познакомилась. Но всего не запомнила. Родился где-то в деревне. В молодости батрачил. Потом в Донбассе работал. Кажется, крепильщиком в шахте. Там вступил в партию, подпольно. Арестовывался за участие в демонстрации. После Октябрьской революции вернулся в родные места. И стал парторботником. С тех пор не расстается с этой работой.— И, помолчав, продолжала: — Только больной он. Очень жалко.

— А что с ним?

— Сердце,— сказала Маша.— В тридцатом кулаки дважды стреляли в него. Первый раз промахнулись. А во второй тяжело ранили. Пуля прошла рядом с сердцем. Может, это дает знать...

Должно быть, не вытерпев, Осадчий двинулся нам навстречу.

— С приездом, Мария! Добро пожаловать! — И, подойдя, крепко пожал ей руку.— Опять копаешь в моторах? — спросил он и покачал головой.— Ну-умононь!

— Землячка, Леонид Романыч! — сказал я с гордостью.

Осадчий озадаченно посмотрел на меня, словно не понимал того, что я сказал. И вдруг весело произнес:

— Так, так! А ты, стало быть, землячок? — Осадчий взял Машу под локоть и галантно предложил: — Прощу, пожалуйста, в политотдел!



Маша приехала всего на один день, но решила поглядеть с Генкой Жуковым: как можно быть в селе и не встретиться с секретарем ячейки?

Жуков точил на завалинке перед домом мотыгу. Машу встретил приветливо и, вытянувшись перед ней, громко произнес:

— Нашей Маше комплимент!

Потом пригласил нас в хату. Генкина мать, Ксения Васильевна, расцеловала Машу, как родную, и сразу же отправилась на кухню. А мы, усевшись за стол, завели разговор о комсомольских делах.

Впрочем, говорили больше Маша и Генка. Я же наблюдал. Маша держалась свободно, расспрашивала о ребятах. Она знала их всех. Знакома была со многими колхозниками и часто безошибочным суждением о ком-нибудь заставляла Генку теряться.

Медленно росла ячейка. Молодежь пока еще сторонилась общественных дел.

Выслушав Генку, Маша сказала:

— Это оттого, что мы агитируем отвлеченно, до нутра не добираемся. И принимаем пока тех, кто идет сам, а не тех, кто нам нужен. А в первую очередь нам нужны передовики, такие, что другим пример показывают.— И назвала Юлию Грачеву, мою молодую хозяйку.— Вот ее-то, Юлию, надо вовлечь в комсомол.

Жуков замахал руками.

— Чего захотел! Да к ней и на козе не подьедешь. Кирюха сколько бился! И ничего не добился. А нас она на то шагов не подпустил.

Маша терпеливо выслушала и посоветовала:

— А вы попробуйте так: организуйте девичье звено, скажем, на прополке кукурузы и звеновой поставьте ее. Доверьте ей больше, чем она ждет. Тогда она, может, и сама попросится...

Ксения Васильевна принесла яичницу на сковородке. Порезала на маленькие куски ржаной непросеянный хлеб и добродушно сказала:

— Ешьте, ребята, и не обессудьте. Чем богаты, тем и рады.

Только мы принялись за еду, в хату ввалился Борис Чуркин, колхозный конюх, худощавый парень со вздернутым носом. Генка пригласил и его к столу, но Борис отказался.

Озоро улыбувшись, Маша спросила Чуркина:

— Выговор-то, Боря, долго еще носить будешь?

— Да больше полгода придется,— откликнулся Чуркин.— Аккурат через неделю половина стукнет.

— А тяжело, поди, таскать-то его?

Чуркин неподдельно вздохнул.

— Да нелегко. А только что же делать? Заработал, ты и таскай.

Я помингесовался, о чем речь. Маша только блеснула глазами.

— А постановление ячейки, Боря, не забыл?

— Вовек не забуду,— сказал он.— «Слушали. Про свист Б. Чуркина на комсомольском собрании. Докладчик Г. Жуков. Постановили. В связи с тем, что этот свист не имел собой политического фундамента, а также принимая во внимание чисто семейное расклевывание Б. Чуркина, объявить Б. Чуркину строгий выговор сроком на один год. И предупре-

дять Б. Чуркина, что повторение подобного свиста повлечет за собой более строгое взыскание вплоть до исключения из комсомола. Вот такое постановление. Я его крепче любой песни заучил.

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться, и спросил Машу:

— И райком утвердил это постановление?

— Утвердил,— сказала она.— А как же? Постановление правильное. И принято единогласно всеми комсомольцами.

Я спросил Чуркина, чего это ему вздумалось свистеть на собрании. Тот шмыгнул носом и печально ответил:

— Было, стало быть, так. Осенью у нас в ячейке товарищ Чеботарев, наш председатель колхоза, итоги докладывал. И сообщил, сколько мы всего вырабатывали и сколько заработали. Вот тут я и свистнул. Уж больно мало вышло получать. Свистнул от удивления. А ребята записали мне «строгач».

— Ну и как? Больше не свистел на собраниях?

Чуркин скривился, словно от боли.

— Какой там! Сам с собой для удовольствия и то не решился. За все, почтай, полгода ни разу не свистнул. И не свистну, покамест выговор не снимут. Зарок такой себе дал.

Ксения Васильевна принесла кувшин и кружки. И предложила молока Чуркину. Тот опять замотал головой, сказал, что сыт по самую макушку. А я заметил, как острый кадык его вдруг дернулся вверх и медленно, словно неохотно, опустился.



К вечеру мы вернулись в политотдел. Гоги, который должен приехать за Машей, пока не было. В «пригожей» за своим столиком Наташа печатала что-то на машинке и делала вид, что очень занята.

Мы с Машей решили подождать машину за домом — присели на сложенные под навесом доски. Маша некоторое время смотрела перед собой, потом, опустив глаза, спросила:

— Ты с Симоновым-то в обкоме встречался?

— Встречался,— сказал я.— И в обкоме и дома у него обедали вместе.

— И обо мне говорили?

— Конечно,— подтвердил я.— Ты же нам, кажется, не чужая?

Маша словно бы пропустила это мимо ушей.

— О моем замужестве рассказывал?

— Рассказывал.

— И что же ты?— спросила Маша.— Осудил?

— Нет,— сказал я.— Не имею права. Только удивился.

— Чему?

— Что сама не написала.

Маша вздохнула.

— Стыдно было. Это ж такая глупость. А кому хочется признаваться в собственной глупости?

И все же я спросил:

— Как же ты так?

Маша виновато потупилась.

— Сама не знаю. Он был чутким, заботливым. Приласкал, приголубил. Я и решилась. Подумала, это — настоящее. И обманулась. Мы оказались совсем разными. А главное: не было чувств, которые связывали бы нас. Сперва мы не признавались друг другу. Я думала, что обманулась сама. А он думал, что только у него нет ко мне ничего. Но скоро поняли, что оба ошиблись. И жить ради того, чтобы только скрыть ошибку, не стали.— И, глубоко вздохнув, продолжала: — Все это было нелегко. И не по-



тому, что стыдно. Это само собой. Другое вызвало боль в душе. Осквернены были самые светлые чувства...

— Прости, Маша! — взволнованно сказал я. — Если я оказался причиной.

— Ты ни, в чем не виноват, — возразила она. — Разве можно винить за то, что не любишь? Я сама себя наказала: подделала внезапному влечению. И поплатилась за легкомыслие...

Она говорила тихо, словно ей не хватало воздуха. Хотелось обнять ее, уговорить выкинуть все из памяти и начать все сначала, начать вместе со мной... Но мне не хватало мужества. Да и не было уверенности, что сумею помочь.

— Вот и все, Федя! — сказала Маша. — Прости, что называю тебя так. Когда-то ты сам просил.

— Пожалуйста, Машенька! Мне и самому это приятно...

С улицы донесся автомобильный гудок. Маша встала. И с виноватой улыбкой сказала:

— Извини, Федя! За все, что наговорила. Мне так хотелось поделиться с тобой... Надеюсь, мы будем часто встречаться? Я буду приезжать сюда. И ты не ленись бывать в райкоме...

Я схватил ее руку. И ничего не сказал. Маша улыбнулась. Словно поблагодарила за молчание.



Вслед за хозяевами, встававшими на рассвете, вскакивал и я. Наскоро умывался во дворе у колодца. И выводил из сених свой велосипед.

Велосипеды в политотдел прислали пять. На одном носился по зоне Ольга Уралова. Другой был у Аркадия Лукашова. Третьим в первый же день завладел я. Остальные держали про запас. Осадчий ездил на двуколке, запряженной буланым меринком. Грузовоз был нацелен на велосипед. Ездить на велосипеде я научился сразу. Уралова, видевшая это, не поверила, что никогда прежде я и руля не держал.

— Будет прикидываться, — проворчала она.

Итак, я сел на велосипед и мчался в МТС. В закрытой столовке завтракал, потом отправлялся в колхозы. Все наши села были расположены на правом берегу Дона, и в районе эта зона считалась обособленным кулестом.

Одновременно со мной выезжала в колхозы и Уралова. Каждый раз мы согласовывали маршруты, чтобы невароком не оказаться в одном и том же селе. Проездив подготовку к севу, мы возвращались вечером в политотдел, докладывали Осадчему и получали от него указания.

Лучше было бы выезжать в колхозы на несколько дней, не пришлось бы тратить время на разъезды туда и обратно. Да и вечерами можно было бы поработать. Но в зоне было плохо с питанием. Магазины сельто и колхозные кладовые пустовали. Элитазовская столовка жила одним днем и выдавать продукты впрок не могла. Потому мы и запасались едой только на один выезд.

Чаще всего мы получали хлеб. Иногда вареную картошку. Редко — по крохотному кусочку сала.

А заведовала столовой Екатерина Изотова, жена Осадчего. Работала она бесплатно, не считаясь со временем и трудностями. И шутками поднимала над дух.

— Не вешай носов, ребята! — говорила она. — Еда не беда. И до лета недалеко. А летом пойдет зелень всякая. Легче станет...

И мы продолжали мотаться по селам с утра до ночи. Мотаться с куском черствого хлеба. И с надеждой на лучшее будущее.



Утром Осадчий задержал нас в политотделе. Надо было познакомиться с Иваном Алексеевичем Гусаровым, заместителем по партрботе, который приехал накануне.

— Встретились, что называется, на ходу, — рассказывал Осадчий, пока мы ожидали Гусарова. — Приехал вчера вечером. Прямо с дороги зашел в политотдел. Посидели несколько минут. Коротко рассказал о себе... И, помолчав, словно вспоминая, закончил: — Ничего особенного. Все, как и у нас с вами. Трудовая жизнь, партийная работа...

Лукашов спросил, из какой организации Гусаров мобилизован в политотдел.

— В обкоме партии работал. Инструктором в сельхозотделе... Подумав, Осадчий добавил: — С виду уравновешенный. И в обстановке разбирается. Ну, а там время покажет. Оно лучший судья наших достоинств и недостатков.

— А с семьей как? — поинтересовалась Уралова. — Семья есть, — сказал Осадчий. — Но пока он приехал один. Дочка учится в шестом классе. А у нас тут, как известно, семилеток пока нет. Жена недавно выдвинута начальником сектора в облплан. Бойться оказывается у нас без дела... И, пожав плечами, продолжал: — О семье он говорил как-то неопределенно. Я так и не понял, как он думает с ней устраниваться...

Разговор прервал худощавый мужчина в политотдельском костюме. Он неторопливо вошел в кабинет, слегка кивнул всем и сказал немногое глуховатым голосом:

— Здравствуйте, товарищи! — И, подойдя к подвешенному из-за стола Осадчему, пожал его руку. — Доброе утро, Леонид Романович!

Осадчий обратился к нам:

— Вот, пожалуйста, товарищи! Гусаров Иван Алексеевич. Заместитель по партийной работе. Прошу познакомиться.

Гусаров подошел к Ураловой и протянул руку с улывающимися пальцами.

— Очень приятно! — прокизнес он. — Вижу: политот по женработе. Не так ли?

Ольга привстала. И, почему-то смутившись, ответила:

— Вы угадали... Уралова Ольга Михайловна.

— Очень приятно, — повторил Гусаров и улыбнулся.

Так же добродушно, но с какой-то снисходительностью он познакомился и с нами. Потом вернулся к столу, за которым сидел Осадчий, и пристроился сбоку.

— Курить можно?

— Конечно! — поспешно ответил Осадчий, словно извиняясь, что сам не предложил. — Пожалуйста, Иван Алексеевич! — И достал из ящика стола пачку папирос. — Хочешь моих?

— Спасибо! — Гусаров извлек из кармана деревянный портсигар. — Курю махорку. Предпочитаю крепкий дымок...

Оба закурили. Осадчий, с шумом выдохнув, сказал, обращаясь ко всем:

— Вчера я подробно информировал Ивана Алексеевича. Так что, думаю, в основном он в курсе наших дел.

— Прощу прощения! — прервал его Гусаров. — Считаю необходимым сообщить о причине опоздания. Задержался на сборах политработников запаса. Международная обстановка, как вы знаете, осложняется. Фашисты в Германии грозят нам оружием. Вот и приходится военным органам принимать кое-какие меры.



Осадчий добродушно улыбнулся. И с торжественной ноткой в голосе произнес:

— Должен отметить, товарищи!. И делаю это с большим удовольствием... Наконец-то политотдел наш в полном составе. И хорошо, что вовремя: завтра начинаем выборочный сев колосовых.

— А почему запаздываем с севом? — спросил Гусаров. — Другие зоны нашего района, кажется, уже начали посевную кампанию?

— Почва у нас еще не готова, — пояснила Уралова. — Не подсохла еще, не поспела.

— Почему же в других зонах уже поспела?

— По ту сторону Дона открытая степь, — вмешался Осадчий. — Ветры там быстро высушивают землю. А позади наших полей лес. Он защищает их от ветров.

— Да, — подтвердил Лукашов. — Земля у нас черноземная. И грязь долго держится. Не уверен, смогут ли завтра трактористы начать пахоту...

Пока Осадчий, Уралова и Лукашов подробно и обстоятельно отвечали на вопросы Гусарова, я исподволь наблюдал за ним. Он казался крепким. На смуглом лице — маленькие, глубоко посаженные глаза, большой нос с еле приметной горбинкой, тонкие губы, плоский, заостренный подбородок, выдающийся крутой, упрямый характер. А на голове — густая шапка темных, слегка выходящих волос.

Заканчивая нашу беседу, Осадчий сказал:

— Завтра тракторы выйдут в поле. Закрепляются они следующим образом. Первая бригада работает в Молчановке, на центральной усадьбе. Здесь останется товарищ Гусаров, ему необходимо

познакомиться с МТС. Товарищ Касаткин едет в Бязники и Никольское, во вторую бригаду. Она у нас комсомольско-молодежная, так что ему сподручней всего работать там. Товарищ Уралова — в Березовку и Черкизово, в третью бригаду. — Он размашисто подписал бумагу, на которой это было расписано. — Все вопросы решать оперативно с секретарями партячеек и председателями колхозов. О том, чего нельзя решить на месте, докладывать мне. Я также буду в поле. — И снова окинул нас быстрым, зорким взглядом. — Вот так, товарищи! Весна для всех нас — трудный и почетный экзамен. И я надеюсь, мы выдержим его с честью!..



Погода установилась теплая, безветренная. Солнце не задерживалось в редких облаках. Оно словно старалось как можно скорее согреть и подсушить землю, помочь людям в их нелегкой борьбе за хлеб насущный.

Тракторы поднимали залежь под яровые. В полях перекапывался мерный гул. Он будоражил застойную, зыбкую тишь. За плугами тянулись лоснящиеся ленты подрезанного и перевернутого лемехами чернозема.

Разделившись поровну, вторая бригада работала сразу в обоих колхозах. Три трактора поднимали поля колхоза «Труд», три — колхоза «Победа».

За тракторами закрепили плугатарей. Это были надежные ребята из местных сел, они охотно шли в тракторную бригаду: дома-то сидеть впроголодь, а здесь кормили прилично. К тому же кто не мечтал

покрасоваться потом и за рулем трактора, стать трактористом?

Из-за раздела бригады мне приходилось мотаться на велосипеде из одного села в другое. Впрочем, не только поэтому. В обиход моих колхозах дела шли из рук вон плохо. Тракторы не хватало, а лошадей за зиму обесцелили и отказались тянуть плуг или сямку. Да и не хватало лошадей. Многие их погибло зимой от холода и бескормицы.

Так что план сева оказался под угрозой: на четверть, а то и на треть земля может остаться неза засеянной. И колхозы опять, как и в прошлые годы, останутся без хлеба.

Перед нами, политотдельцами, была поставлена задача, которую мы считали священной: засеять все колхозные земли, вырастить и собрать хороший урожай и уже в этом году сдать государству достаточного хлеба. А может получиться, что мы не вспашем и не засеем эти земли. Неужели так и будет?

Невеселые мысли преследовали меня. Безуспешно ломал я голову над тем, как ускорить сев в своих колхозах. Но ничего путного придумать не мог. Да и что можно было придумать? Люди все же понимали лозунги и хоть не всегда охотно, а откликнулись на призывы. А вот лошади... Они не поддавались никакой агитации.

Налегая из последних сил на педали, я в который раз за день катил по проселочной дороге. Она пролегла между землями вязниковского и никольского колхозов. Справа и слева расстилась ровная степь. Неужели она так и останется невспаханной? Неужели покореется не изумрудной зеленой яровых, а сорняками?

Солнце уже опускалось к горизонту, когда дорога нырнула в заросший голым кустарником овраг. По дну оврага бродила корова. Неподдалеку паслось еще несколько. А потом из-за куста показался старик и поднял руку.

Я затормозил и спрыгнул с велосипеда. Поздоровались. Старик улыбнулся беззубым ртом и спросил:

— Огоньку трощи не найдется, сынок? Трубочку разжечь. — И показал зажатую в темной ладони обугленную трубку. — Трут весь вышел.

Я сказал, что не курю. Старик удрученно покачал головой и рассудительно заметил:

— Это хорошо, что не куришь. От курения оно ж, кроме вредности, никакой пользы нет. А только жалостно, что огоньку не имеешь. Дымком затянуться страсть как охота.

Старик был древний. Лицо изрезано глубокими морщинами, нечеловечная борода походила на сваленный войлок. Заплатанный армяк и дымчатые порты болтались на нем, как на пугале. Из-под грязного картуза с обугленным козырьком выбивались седые косы. С одного плеча свисал плетеный кнут, через другое была переброшена засаленная сумка. Старик походил на лешего, но его маленькие, запавшие глаза светились жизнью.

Я спросил, чьи коровы пасет он.

— Вязниковских. Пастух у я, у вязниковцев, стало быть. Кормлю их коровок, чем бог посылал, чтобы сами людей подкармливали.

— И как они, коровки-то? — продолжал я, не зная, чем закончить разговор.

— Да слава богу! — подтвердил пастух. — Справные. — И сказал Борзду, ловно выжимая из нее воду. — Да теперича уже не страшно. Зима-то отлютовала. А весна, она, вишь, по-матерински жалует. С каждым днем силунги им прибавляет. И они у меня такие, что хоть а плуток запрагяй... Я посмотрел на коров, щипавших зеленую траву, и, схватив жилистую руку пастуха, затряс ее.

— Спасибо вам, дедуся!

Старик удивленно, даже испуганно заморгал слезящимися глазами.

— Да за что ж спасибо-то, сынок?

— За подсказку, дедуся! — сказал я, проворачивая педаль. — За хорошую, добрую мысль!

Старик ничего не понял и смотрел на меня, раскрыв беззубый рот. Я помахал ему, вскочил на велосипед и стремительно помчался в село.



Говорили все разом. Даже кричали — с обидой, гневом, со слезами. Вскрикивали, размахивали руками и, казалось, готовы были разорвать нас в клочья.

А мы сидели на завалинке и молча слушали. Наругались и утихомирятся. И тогда можно повторить все сначала. Да, раньше здесь на коровах не пахали. Это так. Но теперь придется. Хочешь не хочешь, а согласишься. Другого выхода нет.

Буйствовали все больше женщины. Многих из них я видел впервые: не успел еще познакомиться. И теперь с досадой и любопытством наблюдал за ними. Досадовал на их несознательность и неуступчивость. А любопытство вызвала злость, с какой они набрасывались на нас. Вот привстала худосочная, морщинистая старуха. И, сотрясаясь от ярости, завопила:

— Изверги! Вот вы кто! Тираны! Хлеба лишили! Теперича молока лишить захотели! Голодом уморить соберетесь!..

Ее перебила круглолицая и грудастая молодуха, которая вдруг закричала во весь голос:

— Не дам!.. Хоть зарежьте, не дам!

Я наклонился к Деркачу, председателю колхоза, и спросил, кто такая. Но раньше, чем тот ответил, молодуха крикнула:

— Не его спрашивай! Меня спроси! Агафья Перепелкина. А попросту — Гапка. Разводная баба! И заводная горемыка! А только корову не дам! Хоть зарежьте меня и съешьте!..

Деркач не выдержал, встал, поднял руки и крикнул:

— А ну хватит! Довольно! Перестать, сейчас же! И они затихли, молча уставились на него.

— Чего раскудахтались! Хоть и бабы, а все же не куры. Умом бы лучше раскинули. Подумайте, что станется с вашими коровами! Да ровным счетом ничего. Потружатся две недели и опять на отгулы. А колхоз уже землю засеет. И хлебом на будущее всех обеспечит.

— Как же, обеспечит! — выкрикнула Гапка. — Держи карман пошире! Знаем вас как обугленных. На посулы мастера. А на помощь — днем с огнем не найдешь.

Гапку поддержала косоглазая баба:

— Брехуны непутовые! Обещали хорошую жизнь. А выходит, хоть в могилу ложишь. Сколько крику про колхоз! А в колхозе — ший под нос.

— Не все сразу, Пантелевна! — возразила пожилая женщина. — Кулаки, и те не в один год богатели. А им-то легче было богатеть. Чужим трудом наживались. А мы трудовая семья. И сами должны для себя стараться.

— Василиса Демьяновна Кочетова, — шепнула мне Деркач. — А зовется теткой Ваской. Сознательная...

Опять заговорила Гапка. Кулаками уперлась в крutive бока:

— А я все одно не дам корову. Ни за какие блага. Саму лучше в плуг запрятать.

Ей ответила та же Василиса Кочетова:

— А ты пробовала запрагаться, Гапка? Нет? А я пробовала. Как лошадь пала, всей семьей в сохе

ходили. Даже малолетняя Анютка тянула ямку. Сколько поту пролили!.. А хлеба почти не видели. А теперь вон тракторы на нас работают. И что ж, что не успевают? Не нынче, так завтра успеют. Завтра-то их будет больше. А сейчас надо самим себе помочь. И ничего с коровами нашими не случится...

Последние слова Василисы потонули в шуме. Деркач снова призвал к порядку. Когда возбуждение улеглось, сказал:

— Хватит болтать попусту. Приневоливать никого не будем. Кто пойдет навстречу, тому и благодарность. А с благодарностью и дополнительная плата по урожаю.

— А мне не нужна ваша плата! — опять выкрикнула Гапка. — Так себе и запишите. А лучше зарубите на носу.

Деркач подвигал челюстями. Но ответил спокойно:

— Тебе, Агафья Власьевна, как видно, и колхоз не нужен. Если так, пожалуйста! Силком не держи. Можешь хоть сейчас стать на другой путь.

— А где он, другой путь? — спросила Гапка. — Ну-кося, укажи, Митрофан Максимыч! Расцелую за то с благодарностью.

— Спасибо, Агафья Власьевна! — под общий смех ответил Деркач. — С чужими бабами не целуюсь. А что до пути, скажу одно. Кроме колхозного, у крестьянина другого нет и не будет. Вместе трудиться, сообща бороться за новую жизнь — вот наш самый верный и самый праведный путь.

Женщины снова загалдели. И тогда в спор вмешались мужчины:

— Хватит, бабы! Довольно!

— Побалагурили и будет!

— Давай решай! Чего уж там!

Деркач подождал, пока шум затих.

— Первым ставлю свою корову на пахоту!

— Тишину разрезал звонкий бабий голос:

— А жинка твоя что скажет? Марфа как на то посмотрит?

— И Марфа то же скажет, — ответил Деркач. — А ну-ка, Марфуша, где ты? — И пошарил глазами в толпе. — Ну-ка, отзовись!

Позади приподнялась худощавая женщина. Кончиком головного платка вытерла рот. И негромко проговорила:

— Я тут, Митроша!

— Подтверди, Марфуша! — попросил Деркач. — Так мы решили с тобой?

— Да уж, видно, так, — пропела Марфа. — Раз другого пути нетути.

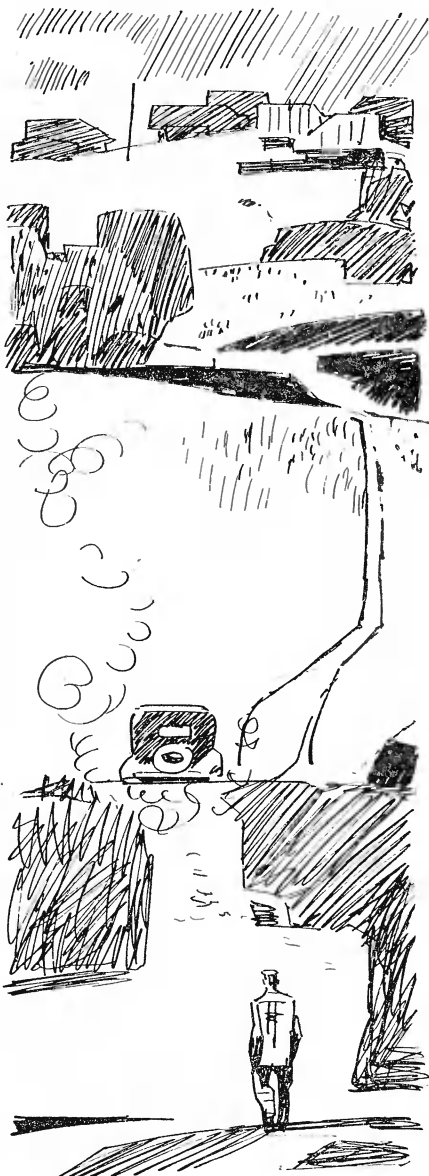
Опять пошумели. И стали записываться, выкрикивая фамилии. А потом, как и в чем не бывало, заговорили, как лучше наладить необычное дело. Заговорили по-деловому, по-хозяйски, переборов страх, тревогу и обиду за мучительную неустроенность.



Ярма для коров изготовили быстро и вместе с плугами доставили в степь. Туда же выгнали и первую группу коров, отобранных ветеринаром. С коровами вышли в поле и хозяйки. Да и мужчины не остались дома.

А помощь их и в самом деле понадобилась. Коровы не желали не только тянуть плуг, но и держать ярмо. Они мотали головой, стараясь сбросить обузу, и никак не хотели работать. Особенно те, чьи хозяйки шли за плугом.

Вот и пригодились мужчины, угрюмо стоявшие по сторонам. Деркач распорядился, чтобы на первых



пореж каждую корову вела ее хозяйка, а к плугам поставили мужиков. И дело помаленьку наладилось. Хоть и неохотно, коровы все же пошли за своими хозяйками.

Пахать решили раздельно: каждая пара коров на своем загоне. Так легче учитывать вспаханное, да и мешать коровы упряжки одна другой не будут.

Проходя вдоль отмеренных загонов, я обратил внимание на одну коровью пару: на ней по-прежнему работали только женщины. Это оказались Марфа Деркач и Василиса Кочетова, одолевшая в гражданскую войну. А муж Марфы, председатель колхоза, метался между пахарками. Я поспешил на помощь. Женщины встретили меня без особого восторга. Только Марфа свернула карими глазами, как бы говоря: «А ну погляди, парень, умеешь ли ты так же пахать, как речи говорить? И не замычишь ли раньше скотины?»

Но коровы и после этого пятались назад, сидит мычала, грозно выставляя рога и ни под каким видом не хотели тянуть плуг.

Вдруг Марфина рыжая буренка грохнулась наземь и, поджав под себя ноги, затихла. Марфа принялась поднимать ее. Сначала словали — то ласковыми, то сердитыми. Потом рушником, которым обвязывала коровью шею. Но ничего не помогало. Тогда Марфа обижено сказала:

— Ах, так! С тобой по-человечески, а ты по-скотски? Ну, тоды прощай! Не нужна ты мне, такая непослушница.

И пошла в сторону. Пошла с таким видом, как будто и впрямь решила уйти. А корова смотрела ей вслед, сначала равнодушно, потом с беспокойством и, наконец, вскочила, рванулась за ней, тревожно замычала.

Марфа вернулась, повязала шею коровы рушником и деловито сказала:

— Начали!

Коровы потащили плуг. Я старался держать его на весу, чтобы им легче было.

Василис и Марфа шагали рядом с буренками, держали их за рушники и не жалея нежных слов.

— Иди, иди, мся Звездочка! — причитала Василис. — Ты ж у меня умница! Понимаешь, что не зря мы это. Не просто надругательство какое. А жертва на очнее дело. Потрудишься немного, голу-бушка, и опять — на выпас, травушку-муравушку пощипывать.

— Тяни, не ленись, Зорюшка! — вторила Марфа. — И ничего не пужайся, я с тобой рядышком, в обиду никому не дам. А после работы накормлю досита, чтобы не утратила ни силушки, ни справедности...



На следующий день из балки, где расположились Вязники, выскочила легковая машина. Это был райкомовский «газик». Он бойко пробежал два-три километра по тракту, разрезавшему степь, и свернул в нашу сторону.

Издали узнав Осадчего и Лагунова, секретаря райкома партии, я затормозил навстречу.

Час назад, когда остановили коров на отдых, Марфа сказала:

— Хватит, милый! Теперь уже и без тебя управимся. А ты занимайся своими делами.

Но я заупрямился. Чего доброго, подумают: обрывается.

— До вечера буду ходить за плугом. А то увидят ваши коровки, что нет помполита, и дадут стрелка к пастуху.

Женщины шутили не поняли или не захотели шутить. И пришлось сдаться.

Марфа подошла Зорьку и налила мне кружку парного молока.

— Выпей на здоровьице! За помощь, какую оказал нам. И за добрую душу твою...

Заметив меня, Лагунов и Осадчий остановили машину и разом вылезли из нее.

— Как дела? — спросил секретарь райкома, протягивая руку. — Какие новости?

— Дела — как видите! — Я показал на пахущих разнородных коров. — Теперь план сева выполним.

Осадчий и Лагунов промолчали, как будто то, что сказал я, не имело никакого значения.

— Придемте! — предложил Лагунов. — И посмотрим!

Мы направились вдоль загонов.

Шли молча, поглядывая на медленно двигавшихся по полю коров и прислушиваясь к звонким выкрикам пахарок, погонявших «кормилиц». Коровы ровно тянули плуги, и женщины уверенно, как будто это было привычным делом, работали с ними. Ласково уговещивали буренок, не скупясь, хвалили за покладистый нрав.

Напротив одной из вспаханных делянок Осадчий и Лагунов остановились. Рыжую и пегую коров, запряженных в плуг, за рушник, привязанный к рога, вела Гапка Перелескина. Нет, не вела, а тянула за собой, натуго выкиривая что-то. На раскрасневшемся лице ее поблескивали капельки пота.

— Обрати внимание, Касаткин, — сказал Осадчий. — Видишь, как рыжая с трудом ступает и голову клонит? Не иначе, ярмо беспокоит, может, даже холку трет.

Словно подтверждая догадку Осадчего, рыжая вдруг подломилась ноги и упала в борозду. Гапка бросилась к ней. Прикрикнула. Подтолкнула ногой. — Вставай! Ну же! Хватит дурить! Вставай, говорю!

Корова не шевелилась. Гапка достала из кармана юбки корку хлеба и сунула под нос корове.

— Съешь, Золотушка! Подкормишь немножко и поднимайся. Ишо трошки помаямся. Ну же, роденькая!

Корова продолжала неподвижно лежать, вытянув шею и полузакрыв глаза. Спрятав хлеб в карман, Гапка присела перед ней и, обняв за морду, голо-систо запричитала:

— Да что ж это с тобой, касатка? Уже не захворала ли, милая? И что ж я тоды буду делать, красавица?

Осадчий подошел к корове, сунул руку под ярмо, потом выдернул прут и высобачил ее из ярма. Корова тут же встала, мелко затрясла шейю. Осадчий потрогал холку, сказал:

— Побита. Работать не будет. Отправить домой. Гапка дотронулась до потертой шеи и зло завывала:

— Анчутки проклятые! Срубили корову!

— Ничего с ней не будет, — сказал Осадчий. — Потертость пустячная. Попроси у ветеринара мазь, и ранка быстро заживет.

Мы двинулись дальше, а расстроенная Гапка продолжала голосить; уговоры Осадчего не урезонили ее.

Мы остановились в конце поля. Гога подогнал машину и выключил мотор. Осадчий и Лагунов закурили и долго с молчаливым усердием smoked. Потом Осадчий сказал мне:

— Побудь тут до вечера. А вечером приезжай в колхозотдел. Надо поговорить...

Наташа еще сидела в «пригожей» и бойко стучала на машинке. Мне кивнула золотистыми кудряшками.

Я спросил, у себя ли Осадчий. Не отрываясь от машинки, она сказала:

— И Гусаров там, спорят о чем-то...

Я вошел в кабинет.

— Очень хорошо,— проговорил Осадчий, словно ждал меня.— Мы как раз о тебе вспоминали...— И покрывал, причитай горло.— Такое дело... Иван Алексеич против пахоты на коровах.

Я глянул на Гусарова:

— Почему?

— Компрометация колхозной системы,— невозмутимо ответил тот.— Даже дискредитация. Политическая ошибка. До колхозов на коровах не пахали. А в колхозах запрягли, взнуздали. Вот так прогресс! Лучшей агитации против колхозного строительства и не придумаешь!

Достав портсигар, он принялся неторопливо свертывать папироску. Я в растерянности глянул на сумрачного Осадчего, снова перевел взгляд на Гусарова.

— А вам известно, Иван Алексеич, почему тут до колхозов на коровах не пахали?

Проведя кончиком языка по краю бумаги, Гусаров старательно заклеил папироску и взял со стола зажигалку Осадчего.

— Конечно, известно,— ответил он, прикуривая и с наслаждением затягиваясь.— Потому, что коровы совсем для другого дела сотворены природой.

— Нет, не потому,— возразил я.— Не было коров у тех, кому не на чем было пахать. Я говорю о бедняках. Зато они, бедняки, до колхозов часто пахали на себе. Целыми семьями впрягались в соху.

Гусаров раскрыл глаза, будто удивившись услышанному. Но тут же снова сощурил их и насмешливо спросил:

— Это где же такое было?

— Да хотя бы в тех же Вязниках,— ответил я,— где сейчас пахнут на коровах. Можете поехать и удостовериться. Если хотите, фамилии назову.

— Ты говоришь, Иван Алексеич, пахать на коровах — компрометация колхозов,— сказал Осадчий.— А если колхоз не выполнит план сева и оставит колхозников без хлеба, разве это не будет компрометацией колхозов?

— Тогда они сами будут виноваты, что сорвали сев,— ответил Гусаров.

— Только и всего? — спросил Осадчий, и на губах у него дрогнула усмешка.— А что они останутся без хлеба, разве это не важно? А по-моему, надо из двух зол выбирать наименьшее: при помощи коров закончить посевную.

— Это — примиренчество, Леонид Романыч! — возразил Гусаров.— Нельзя высокие идеи приносить в жертву потребностям живота.

Осадчий покраснел.

— Знаешь что, Иван Алексеич! Если нас с тобой оставить без хлеба, мы тоже недолго будем довольствоваться одними идеями, потому что одними идеями человек сыт не будет.

— А по-моему,— сказал я,— тут пахнет бездушным формализмом. Настоящий коммунист не может так формально относиться к людям.

Лицо Гусарова покрылось рыжими пятнами. Но он все же растянул губы в снисходительной усмешке и покровительственно сказал:

— Значит, по-твоему, я не настоящий коммунист? Кто же я тогда, по-твоему?

Осадчий взял карандаш и постучал им по столу. — Прошу вас, товарищи! — строго сказал он.— Спорить спорьте, но уважайте друг друга. А что до коров... Я думаю, следует поддержать вязниковцев и распространить их опыт. Кстати, в других селах тоже готовятся применить эту меру.

Гусаров откинулся на спинку стула и заметил с наигранной покорностью:

— Смотри, Леонид Романыч! Ты начальник — тебе и решать. А наше дело — подчиняться.

— Не понимаю тебя, Иван Алексеич! — с нескрываемым раздражением сказал Осадчий.— Почему ты упираешься? И райком партии поддерживает.

— Райком нам не указ,— выпрямился Гусаров,— в своей зоне мы хозяева.

— Но райком-то не упреждает,— стоял на своем Осадчий.— И по уставу отвечает за районную партийную организацию. Нам же лучше всего не кичиться своим особым положением, а прислушиваться к местным товарищам.— И остановил Гусарова жестом: — Кончим на этом. Я принимаю решение: рекомендовать использование коров на пахоте как крайнюю и временную меру. И вот еще что,— добавил он,— безусловная добровольность, ни малейшего принуждения...

В «пригожей» политотдела меня обласкал Аркадий Лукашов. И так стиснул железными ручищами, что я застонал.

— Вот тебе, чертяка! — с нарочитой сердитостью сказал он.— За то, чтобы не мариновать материал! Не понял, о чем шла речь. Это привело Аркадия почти в иступление.

— Слышишь, Наташа? — обратился он к нашей секретарше.— Он делает вид, что не знает, какой материал! — И снова повернул ко мне разгневанное лицо.— Ко-ро-вы! — раздельно произнес он.— Бу-рен-ки! Это же сенсация! На первую полосу.

Я невольно усмехнулся. О многотиражке он говорил так, словно это была центральная газета. Но восторженный Аркадий не заметил моей улыбки. Вцепившись в пуговку на моей гимнастерке, он принялся крутить ее, пока не оборвал совсем.

— Извини, дорогой! — с притворным смущением произнес он.— Нечаянно. Зайди сегодня. Анжелика пришлет.

Наташа поднялась из-за стола, достала иголку с ниткой:

— Давай пришью,— сказала она.— Только возьми в рот что-нибудь, чтобы память не пришла.

Я взял кончик ее косы и прикусил его. Наташа улыбаясь и с наигранным страхом сказала:

— Ой, боюсь! Так пришью и твою и свою память. И пришла пуговка. Аркадий осмотрел ее работу и недовольно поморщился:

— Чего астрала, спрашивается? Я же нарочно открутил, чтобы хоть как-нибудь застать его к нам. А ты разрушила всю мою стратегию. Ну, да ладно! — смирился он.— Как-нибудь я все-таки заведу тебя. А сейчас дуй домой и садись за переписку. Пиши, как родилась и осуществлялась идея. К утру материал должен быть готов. В десять «отчаливаю» в райцентр печатать газету.

Нам было по пути, и мы вместе вышли из политотдела. Улица уже затягивалась сумерками. Но небо на западе все еще пылало заревом. В селе бегали овцы, истошно визжал поросенок, кудахтали перепуганные куры.

Мы медленно брели вдоль улицы, ведя за руль велосипеды. Лукашов рассказывал о многотиражке. Он

был влюблен в свое дело и мог часами говорить о нем.

— А ты почему мало пишешь? — внезапно перебил он сам себя.— За все время полдюжины замечаний, да и те коротко заячьего хвоста.

— Ты же говорил, чтобы коротко и ясно,— напомнил я.— Вот я и выполняю твое указание.

— Не так понял,— поморщился он.— Коротко и ясно — не значит скупо и невразумительно. Пиши, как Тургенев стихи в прозе. Даже коротко и ярче.

И стал рассказывать, как следует писать в многотиражку.

«И что ты разглагольствуешь? — мысленно спрашивал я Лукашова.— Как будто я ничего этого не знаю. Зря, что ли, меня три года в институте учили? Ты бы лучше позвал меня домой, накормил бы чем-нибудь. И без всякой пуговки...»

Я чувствовал подступающую к горлу тошноту — очень хотелось есть. Со вчерашнего вечера, если не считать кружки молока, которая дала мне Марфа в полдень, у меня маковой росинки во рту не было. И теперь я чувствовал, как в глазах рябило от слабости.

Но Аркадий ни о чем не догадывался. У хаты Грачевых он снова облизнул меня:

— Ну, валяй пиши! Да постарайся, чтобы и разум тронуло и чувства задело. Одним словом, пиши о коровах, а думай о поэзии...

Проводив Лукашова глазами до переулочка, я втащил велосипед в сени. И, зайдя к себе в комнату, свалился, как был, на неразобранную постель. В голове и мысли не было о газете.

До чего ж плохо в нашей зоне с питанием! Ни в лавках селю, ни в кладовых колхозов купить нечего. А колхозники и сами перебивались с хлеба на воду.

Послышался скрип двери — в комнату вошла Юлия.

— Можно? Ты чего такой?

Я недружелюбно посмотрел на нее.

— Какой такой?

— Вроде бы хворый? — И склонилась, чтобы лучше рассмотреть.

— Не хворый,— ответил я.— Голодный.

С минуту она постояла, словно о чем-то раздумывая. Потом молча вышла, прикрыв за собой скрипучую дверь.

Я подумал: «Надо бы смазать чем-нибудь петли, чтобы не так скрипели. Еще крючок бы прибить или задвижку какую приспособить», чтобы дверь запирается. А то они сперва входят, а потом спрашивают разрешения».

Юлия вернулась скоро. Плотно притворила за собой дверь и протянула мне ломоть хлеба и кусок сала.

— Поешь,— сказала она, никак меня не называя.— Потом молочка принеси.

Я сбросил ноги на земляной пол, взял хлеб и, едва сдерживая себя, принялся за еду. Юлия присела на табурет.

— Посидеть с тобой можно? — И, когда я кивнул, заинтересовалась: — Отчего ж ты голодный?

С усердием разжевывая хлеб и сало, я ответил: — Оттого, что есть там нечего.

— Где ж это «там»?

— В Вязниках и Никольском. В селах, к которым я прикреплен.

Юлия вздохнула:

— С едой и у нас, в Молчановке, у многих плохо. Уже давно еле перебиваются. Непресеянный хлеб пекут, картошку в муку прибавляют.— И вдруг спросила: — А когда вы сажать нас начнете?

От неожиданности я чуть не поперхнулся. И хрипло переспросил:

— Как сажать? Куда сажать?

— В острог, известное дело, в тюрьму, стало быть,— сказала Юлия.

— За что?

— За то, что плохо работаем.

Я с усилием проглотил кусок.

— Кто это так говорит?

— Люди,— уклончиво ответила Юлия,— народ то есть.

— Мы не собирались и не собираемся никого сажать.

Юлия недоверчиво сощурила глаза.

— Зачем же вы тогда приехали?

— Помогать вам,— горячо сказал я.— Чтобы лучше работали. И хорошо жили.

Юлия рассмеялась. Но, подавив смех, потупилась: — Чудно уж больно. Стоило из-за этого ехать сюда из города?

— Стоило! — сказал я.— Кулаков ликвидировали, колхозы организовали, а крестьяне живут не лучше, чем жили. А кое-где даже хуже. Куда ж такое годится?

Юлия подумала и вдруг наклонилась ко мне:

— А ежели так,— проговорила она, переходя на заговорщический полусеппет,— ежели мы станем хорошо работать, вы уедете отсюда?

— Конечно,— не задумываясь, ответил я.— Станете хорошо работать, будете лучше жить. Обязательства свои перед государством начнете аккуратно выполнять. И политотдел тут нечего будет делать.

— И у нас опять тут будет своя власть?

— Она и сейчас ваша. Только не будет тогда политотдела.

Юлия помолчала, потом встала:

— Пойду молочка принесу.

И, неслышно ступая, вышла. А я, проглотив последний кусок, прошелся по комнате и подумал: «Кто распустил зловредный слух? И почему таким, как Юлия, хочется, чтобы мы уехали отсюда?»

Юлия принесла кружку молока.

— Запей. Молоко-то вкусное. Коровка у нас породистая,— заботливо сказала она.— Только сверху не проговоришь! Может еще чего подумать! Она у нас такая...

Я попросил какую-нибудь лампу.

— Завтра достану керосину,— пообещал я, вспоминая, что с керосином в деревне нелегко.— А сейчас прошу в долг — неотложная работа.

Юлия принесла маленькую «трехлинейку». Зажгла ее.

— Ишо что?

Поблагодарив, я сказал, что больше ничего не требуется. И, не откладывая дела в долгий ящик, уселся за стол. Раскрыл чистую тетрадь. Зачинил карандаш.

Нужно было написать заметку о коровах. Короткую, яркую. Даже поэтичную.

Ну что же, можно попробовать.



Разбудил меня шум. В горнице громко разговаривали. Нет, не разговаривали, а спорили. Похоже, даже ругались.

Всего я не расслышал, но смысл спора был ясен. Ругались из-за коровы. Анфиса Капитонова кричала со слезами в голосе, ни за что не хотела отдавать ее. Кирилл стыдил мать за отсталость. А вот что гудел хозяин, чью поддерживал сторону, я так и не разобрал.

Наскоро одевшись, я потихоньку вышел из комна-



ты, в сенях прихватил велосипед. Встречаться с хозяйкой не хотелось: казалось, она обрушит на меня свой гнев. Ведь это я затеял историю с коровами.

После завтрака я зашел в политотдел, надо было передать Лукашovu записку.

Наташа уже была на месте. Удивительная девчонка! Как бы рано ни заглянул в «пригожую», она уже за своим столом, кажется, дремлет и нечует на работе. Мы старались писать как можно меньше бумажек и заседали не так уж часто. Да и то больше без протоколов и резолюций. Помощь на местах и никакой писанины — таков был наш принцип. И все же у нее набиралось немало всякой работы.

Осадчий тоже был у себя. Наташа сказала: появился он в сопровождении председателя молчановского колхоза и парторга. Все выглядели озабоченными, и начполит попросил передать мне, как появилось, чтобы обязательно зашел к нему.

— Так что, валяй туда, — сказала Наташа, кивнув на дверь. — Может, они ждут тебя!..

Я зашел. Поздоровался. Осадчий прервал Чеботарева, председателя молчановского колхоза, доказывавшего что-то.

— Давайте послушаем лучше товарища Касаткина. — И уже ко мне: — Расскажи, как в Вязниках решили «коровью проблему».

Я подробно рассказал обо всем, не скрыв трудностей. Умолчал только, как возникла идея пахать на коровах. Да это их особенно и не интересовало. Больше всего распрашивали, как встретили такое предложение люди. Долго ли сопротивлялись? И много ли таких, кто вовсе отказался?

— Понимаешь, Афанасий Иванович, — сказал парторг Дружкин, обратившись к Чеботареву, — у нас в Молчановке люди подомовитей, и урезонить их по трудней. Но все же надо попробовать. Попытка не пытка.

Чеботарев согласно наклонил голову и, повернувшись к Осадчему, добавил:

— Затея взбудоражила народ. Тут бы сразу, по горячему следу! А Гусаров твой встрял за запретом и подгадил.

— Мы, конечно, понимаем, — вставил Дружкин и заморгал глазами, точно в них попала пыль. — Политотдел, приказ. Все это ясно. Но надо все с толком и разумом. И в интересах дела.

— Андрей Павлыч верно говорит, — поддержал парторга Чеботарев. — Мы ж не пешки какие. Мы руководители и тоже отвечаем...

В этот момент и вошел в кабинет Гусаров.

— Что у тебя там с молчановцами вчера случилось, Иван Алексеевич? — спросил Осадчий своего заместителя. — Я говорю про использование коров на вспашке.

Не спеша закуривая, Гусаров спокойно ответил:

— Я запретил это.

— Но мы же вчера решили, — напомнил Осадчий. — Как же ты мог?

Гусаров глубоко затянулся дымом.

— Ты решил это вечером, — сказал он, подчеркивая слово «ты». — А наш разговор состоялся днем. Сейчас я был там. Собирался объявить руководству о твоём решении. Но не застал никого. Вот и пришел

сюда. Только все же не понимаю, зачем вам эта возня с коровами? — обратился он к Чеботареву и Дружинку. — У вас же вся земля будет вспахана тракторами и лошадьми.

— Да нет же, не вся! — возразил Дружинка. — Запасаем недолго. И много не доберем.

— Поднажмите на лошадей, — посоветовал Гусаров. — Я же говорил вам: больно нежничаете с ними. Бойтесь час-другой переработать на скотине.

— Любим их, вот и нежничаем, — признался Чеботарев. — Она ж, лошади-то, первый друг и помощник хлебороба. Оттого и обращается крестьянин с ней не только с умом, а и с сердцем.

— Пережиток, — сказал Гусаров. — Надо ориентировать хлебороба на машину. Прививать ему любовь к технике. А лошади — вчерашний день.

— Не шибко торопитесь! — запротестовал Дружинка. — Пока на машины перейдем, лошадей еще послушают нам!

— А кроме того, — вставил Чеботарев, — одно другому не мешает. Мужик уже полюбил машину. И не шарахается от нее, как недавно. Но и лошадушку пускать себе любит. Хватит у него любви на то и другое. — Он повернулся к молчащему Оседьму. — А чтобы сократить сроки и вовремя закончить пахоту, надо подключить и нам к этому делу корову. Отберем самых крепких. И с согласия хозяев. Силой никого принуждать не станем...



Однажды в тракторную бригаду приехал Терентий Антипов, представитель Никольского колхоза «Грудь». Прошелся по загону, смерил глубину вспашки, потрогал кол с бригадиром Федором Польшаевым, выслушал жалобы бригадной старухи тетки Матрены. И, пообещав приструнить кладовщика, вовремя не подвезшего продукты, взял меня под лопотку.

— Пройдемся, — предложил он. — Дело важное... Мы зашагали по целине. Некоторое время Антипов молчал. Потом хмуро повторил:

— Дело важное, отлагательства не терпит. — И, вздохнув, добавил: — Хлеб у людей кончается. До нового урожая не дотянут. У колхозной кладовой тоже ничего осталось. Даже трактористов кормить нечем. А полеводческим бригадам уже давно ничего не даем. Пахари выбиваются из сил, еле на ногах держатся. А что будет, как наступит проголода? Самая массовая работа. А какая работа от голодных? Сытым и то на таком деле несладко бывает. Вот я и ставлю вопрос перед тобой как перед прикрепленным политотделом: надо принимать меры, пока не поздно.

— А как его решить, этот вопрос? Какие можно принять меры?

Антипов вдруг остановился. Настороженно оглянулся по сторонам.

— В Молчаново есть глубинный хлебопункт, — полушепотом, словно опасаясь, как бы кто не подслушал, сказал он. — В прошлом году мы туда возили рожь. По плану хлебозаготовок. Она и осталась там как страховка. Оттуда надо взять. Хотя и неприкосновенный он, этот фонд, а все же придется к нему прикоснуться. Никакого другого выхода нет.

Несколько минут мы шли молча.

Я представил себе длинное здание на окраине Молчаново — раза два проезжал мимо него на велосипеде. Потом крижистого, немногословного Захара Никитича Грачева, хранителя этого хлебопункта.

Всплыли в памяти и разговоры по селам. Колхозники жаловались на нехватку хлеба, тревожились о том, как доживут до урожая.

— А почему этот фонд называется страховым?

— Да потому, что для подстраховки предназначен, — ответил Антипов. — Не уродись, скажем, в этом году рожь в нашей зоне, получим семена из этого фонда. — И торопливо добавил, словно испугавшись, что пойму не так: — Только ни к чему он нам в этом году. Озимь вон какая вымахала! Без опаски можно сказать: урожай будет богатый. Сами обеспечим себя семенами да и ссуду возвратим сполна, какую сейчас получим из этого фонда.

Антипов изо всех сил старался убедить меня. И это настораживало. Был он с хитрецей, этот председатель.

— А если что случится?

— А что может случиться?

— Мало ли... Засуха... Суховей... Что тогда будем сеять осенью?

Антипов подумал и решительно сказал:

— Никакой засухи не будет. Зелены уже закрыли землю от солнца и ветров. Не дадут высохнуть. Даже если ни одного дождя не выпадет, и тогда урожай получим. А такого, чтобы все лето не было дождя, в наших краях не случалось еще. — И, помолчав, продолжал: — Суховей?... Они у нас случаются. Это глупа. Но не каждый же год! А в это лето по всем признакам их и вовсе не ожидается.

Я не знал, что делать. Конечно, надо советоваться с Оседьмим. Но ведь и он может спросить, что лично я предлагаю. И я сказал Антипову:

— Поехали в село. Хочу сам убедиться...

Антипов бросил на меня недовольный взгляд:

— Что же, поехали, коли не веришь. Убедись своими глазами.



В тракторную бригаду я вернулся под вечер. Польшаев сообщил, что час назад сюда приехал Сажин, директор МТС. Он привез три фанера «летучая мышь», чтобы можно было прихватывать и ночь.

— Понятно, всю ночь работать не удастся, — говорил Федор. — Ребята не выдержат. Спать-то надо. Но и час-два — большое дело.

— А что, если мы с тобой станем ночами работать? Ты на одном тракторе, я на другом. На третий посадим самого надежного плугаря. А трактористы в это время спят. Мы же отоспимся утром, когда сдадим смену.

Польшаев смущенно усмехнулся.

— Я не против, — ответил он. — Даже с охотой. А вот ты как?

— А я что? Думаешь, не выдержу?

— Выдержажь-то, может, и выдержишь, — отозвался Польшаев. — А вот справишься ли? Ты же не знаешь машину.

Я несколько раз садился на трактор и уверенно держал руль. Ребята даже хвалили меня. Польшаев об этом знал. Раза два видел меня на тракторе, слышал и от трактористов. И вот теперь засомневался.

— Да ты не бойся, Федор! Не подведу. Я ж несколько раз пахал и как будто неплохо. Сами ребята говорили.

— То ж было днем, — возразил бригадир. — А тут придется ночью. Да и прав ты не имеешь. Не могу я доверить тебе машину.

— Ну, знаешь! — рассердился я. — Я тут отвечаю за все. Даже за тебя.

Польшаев нахмурился. Слова мои обидели его. Да, я отвечал за работу бригады в целом. Так же, как и за все, что делалось в прикрепленных колхозах. Но он отвечал за машины. И отвечал в первую очередь передо мной. Случись что, я первый должен был потребовать от него отчета. Ну, а если случит-

ся что-то со мной самим? С тем трактором, на котором я стану работать? Кто ответит? Кого в первую очередь привлечет к ответственности тот же политотдел?

— Давай так, Федор!— примирительно предложил я.— Будем работать рядом. Если что — посигналю фонарем. Вверх, вниз.

Дождались трактора. Рассказали трактористу, курносому и чумазому Петьке Малину, о том, что собираемся с Пыхаевым пахать на тракторе ночью.

Петька затею одобрил и даже подбодрил меня.

— Не бойся, справишься! На все сто уверен.— И повернулся к бригадиру.— На машине сидел как влитой, а борозду, как шнуром, отбил. С талантом! Я напустил на себя равнодушный вид, как будто ничего и не слышал. Пусть бригадир мотает на ус. И заранее не пророчит неудачи.

Условились произвести смену, как зайдет солнце. Петька обещал осмотреть трактор, заправить его.

— Я тоже сменю своего в это время,— сказал Пыхаев.— А до этого мы с тобой повечереем, чтобы машины зря не простаивали...

Когда он отправился говорить со своим трактористом, Малин поскреб затылок и с откровенной досадой сказал:

— Эх, ты ж, мать честная! Он же, Федька-то, неделю, как оженился. Жинка молодая, дожидаться будет, а он так и не явится.— И, заметив мое удивление, пояснил:— Ну да, оженился. Никольскую деваху взял, Фроску.

— Как же это!— спросил я, не переставая удивляться.— Без свадьбы, что ли?

— Втихомолку,— подтвердил Малин.— Поселился у них. А свадьба... Не до свадьбы сейчас...



Ночь выдалась темной. Небо заволокли тучи. Они погасили звезды и громадой навалились на землю. На горизонте то и дело вспыхивали молнии. Но грома не было слышно, его заглушал трактор.

Я крепко держал руль и неотрывно смотрел на борозду, уходящую в темь. По борозде катилось правое переднее колесо. И все время оно должно катиться по ней. Тогда плуг будет прокладывать ровные борозды.

На плуге сидел веснушчатый учетчик Валька Глухов. Был он робким, но делал все проворно, спортивно. Бегом мотался из одной части бригады в другую, вовремя замерял выработку, ежедневно вывешивал показатели, аккуратно вел учет продуктов. Раз в неделю прибывал к бригадному вагончику стенгазету, которую тоже делал сам.

Работать ночами Валька согласился с радостью. У него днем хватало времени и с делами управиться и выпастись. Когда я садился на трактор, Валька прокричал мне на ухо:

— Уморишься, скажи! Подменю!

Я согласно кивнул, скрыв улыбку. И повел трактор. Повел с решимостью просидеть на нем до утра. А что особенного? Подумаешь, ночь не поспать! Да если нужно, смогу обойтись без сна и трое суток подряд.

Могуче движется трактор. Рокот мотора будоражит ночную тишину. Фонарь расплескивает перед машиной жидкий свет, с трудом отсвечивая густую темноту. В стороне сверкают молнии. А перед глазами неотступно стоят страшные картины.

...Мы прошли чуть ли не все Никольское, заходили в каждую хату. И везде одно и то же. Хлеб кончался. Особенно жалко было детей. Они смотрели на нас такими глазами! Есть просили. Не словами — взглядом.



Работать ночью было не так уж и трудно. Машина слушалась беспрекословно, будто я и в самом деле был настоящим трактористом. Я старался, вел трактор прямо и ровно, лишь на поворотах волновался: уж больно мало было света и трудно рассчитать, как вывести трактор на обратный путь. Все казалось, что проехал борозду. Но я ни разу не промахнулся.

После одного такого поворота Валька не выдержал, вскочил на мостик, наклонился надо мной и восторженно прокричал:

— Молодец, политотделец!

Похвала была приятна. Но я опять вернулся к несвежим мыслям о хлебе. А почему бы и впрямь не выдать этот хлеб взаим? На что он, страховой фонд, если посевам ничто не угрожает? И как можно допустить, чтобы люди голодали, когда есть столько хлеба? Нельзя же спокойно смотреть, как пухнут они.

Темнота становилась все плотнее. Она наступала на слабый круг от фонаря, безжалостно стискивала его в своих объятиях. И гул мотора становился все тише и тише. Он уже не стучит по барабанным перепонкам. Он ласкает слух. А жесткое железное сиденье укачивает, как люлька. Я вздрагиваю. Отрываю глаза. Испуганно подуюсь вперед. Нет, колесо не вышло из борозды. Значит, руки не выпустишь руля. А почему не слышно Валентина? Устал? Ну да, устал. Наверняка и ему нелегко приходится.

Гудит, рокочет трактор. Мигает, вздрагивает свет фонаря. Сверкает в стороне молния. Мягкий туман заволакивает сознание. Все куда-то отступает, отдаляется. Я мотаю головой. Поднимаю тяжелые веки. Нет, так нельзя! Надо остановиться. Хотя бы на минуту. На одну только минуту. Я выключаю скорость. Сбавляю газ. Скрежещаю на руле руки. И роняю на них непослушную голову. Только на одну минуту.

И тут же чувствую толчок в плечо. С усилием выпрямляюсь. Протираю глаза. И слышу позади голос: — Вот это сон! Можно сказать, богатырский!

Федор Полыхаев? Как оказался он здесь? Ведь я только что прикурнул. Наверное, минуты не прошло. Усилием воли я прогоняю остатки сна. Полыхаев наклоняется надо мной — только глаза сверкают в темноте.

— Проснулся или нет?

Окончательно прихожу в себя. И отвечаю, Будто и не спал:

— А нечего было и проспать. Ты же не дал даже вздремнуть.

Полыхаев весело и громко смеется.

— Не дал вздремнуть! — Он присаживается на крыло. — Минут пять возился с тобой, все никак не мог разбудить.

Минут пять возился! Значит, я по-настоящему храпел? Поворачиваюсь к бригадиру и различаю его улыбающееся лицо.

— И долго я дышал?

— Да часа два, считай, как остановился, — отвечает тот. — Я все ждал. Вот сейчас двинется! Вот сейчас!.. А трактор все стоит. И сигналов никаких. Ну, я и примчался.

— Скажи, пожалуйста! — почесал я в затылке. — А мне показалось... И что за это положено?

Полыхаев опять рассмеялся:

— Все зависит от обстановки.

— А какая тут обстановка?

— Самая неблагоприятная. Мотор не выключен. Трактор холостую работал два часа. Потеря времени. И перерасход горючего.

— И что положено за такой проступок?

— На первый раз — выговор. И вычет из зарплаты стоимости горючего.

— В таком случае объявляй выговор, — предложил я. — И пиши в политотдел, чтобы удержали за перерасход горючего.

Полыхаев поднялся и сказал все так же шутя:

— Заменяю на первый раз. Время неурочное. Перерасход невелик: мотор работал на малых оборотах. Покроем за счет бригадной экономии. А сейчас слезай. И айда в вагончик. Спать.

Я вспомнил, что Полыхаев недавно женился. Ему бы теперь в объимку с женой. А он сидит на тракторе. Да еще возится со мной.

— А ты сам-то как? Также остановишь? И домой? Полыхаев отвел глаза. Ему словно неловко было за что-то:

— Буду работать до утра, как договорились. Когда сдам трактор, сосну часок-другой, а после этого помчусь в Вязники. Надо и там подумать о ночной работе. Это может здорово нас выручить.

Я слез с трактора, растолкал спавшего на плуге Вальку.

— Вставай, дружок! Поспал немного — и хватит! Будем продолжать работу.

Валька вскочил как ужаленный. Покрутил головой, словно разгоняя сон. Испуганно глянул на меня, потом на бригадира. И, заикаясь, спросил:

— Я, что? Никак уснул?

— Немного, — успокоил я его. — Самую малость. — И посоветовал: — Попрыгай на одной ноге, совсем проснешься. И потом не уснешь.

Валька поверил и принялся прыгать. Сначала на левой ноге, потом на правой. А попрыгав, радостно рассмеялся. И, шмыгая носом, сказал:

— А и правда прошло. Спать совсем расхотелось. Чес-слово!

Я повернулся к Полыхаеву:

— Разрши продолжать, товарищ бригадир!

— А если опять уснешь за рулем? — спросил тот. — Как тогда быть?

— Можешь не беспокоиться, — заверил я. — Будем работать до утра, как договорились.

Полыхаев в знак согласия кивнул, отступил в темноту и растворился в ней. Но, отойдя недалеко, остановился. И, повернувшись к нам, замер. Нет, я ничего этого не увидел и не услышал. Сам не знаю, каким-то чутьем угадал. Стоит и ждет, когда трактор тронется. Чтобы удостовериться, все ли у нас ладно. Но я не торопился. Обошел машину. Попрывил над радиатором фонарь. И только потом взобрался на сиденье. Прибавил газ, включил скорость. Трактор вздрогнул всем корпусом и двинулся вперед. Двинулся легко, плавно. Правое переднее колесо его весело покатило по борозде. Так будет оно катиться до самого утра. И никакая сила не вывернет его из борозды.



Утром, едва мы с Полыхаевым сдали тракторы сменичкам, в бригаду на Буланом, запряженном в двуколку, прикатил Осадчий. Он привез свежие газеты, в том числе и политотдельскую многотиражку. На первой полосе красовалась заметка о лахоте на коровах в Вязниках. И был напечатан вызов колхозников «Победы» другим колхозам.

Мне Осадчий вручил письмо. Оно было из дому. Знакомый витиеватый почерк отца. Я сунул письмо в карман — прочтитаю потом, в свободную минуту.

Вместе с нами Осадчий прошелся по полю. Полосы глянцевого чернозема чередовались с зелеными полосками целины, которые с каждым днем становились все уже и теперь походили на вытянутые изумрудные лоскуты. Пройдет еще несколько дней,

и они тоже перевернутся внутри молодым пыреем. Тогда бригада переберется на другое место. А тут севялки в конных упряжках начнут заделку яровых культур.

Осадчий часто останавливался, осматривал пахоту. То и дело брал в горсть сырую землю, мля ее пальцами, нюхал. Время от времени доставал из-за голенища кирзового сапога складной метр и вымерял показавшуюся мелкой борозду.

— Передай трактористам,— сказал он бригадир, когда мы вернулись к вагончику,— политотдел доволен их работой. И благодарит за ударный труд!

— Есть передать трактористам! — отчеканил Полыхаев, стоя перед Осадчим навзятжку. — Бригада и впредь не подкачет. И в соревнованиях не отстанет от других!... Он рассказал о нашей ночной работе. — Сейчас отправляюсь в вязниковскую половину. Собираемся и там организовать ночную пахоту.

Осадчий крепко пожал бригадире руку. А меня стиснул за плечи.

— Спасибо вам, товарищи! — взволнованно произнес он. — Я расскажу о вашем подвиге в других бригадах. И уверен, ваш пример найдет последователей...

У меня от стыда загорелись уши. Заснуть на тракторе!.. Но Осадчий не заметил этого. А может, и заметил, но понял по-своему.

Мне нужно было поговорить с ним. Я даже собирался ехать в политотдел. И теперь сказал ему об этом. Он взял меня под руку, и мы медленно двинулись по меже.

— Вера Гусаров с Лукашовым повздорили,— сказал Осадчий. — И все из-за коров несчастных. Прочитал твою статью в многотражке и напустился на Лукашова. Почему тот напечатал такой материал. Грубая, дескать, политическая ошибка. Идеи не домыслил. Не обо всем, говорит, что делается, можно и нужно трубить в печати. Не пойму я его, Ивана Алексича,— продолжал Осадчий с сожалением. — Умный ведь мужик, а в простых вещах путается!... И спросил меня: — Так о чем ты хотел поговорить?

Я рассказал о Никольском. Рассказал обо всем, что видел, ничего не утаил и не преувеличил. Осадчий молча выслушал. А потом глухо спросил:

— И что же делать?

Не колеблясь, я ответил:

— Выдать людям хлеб.

— А где его взять?

— В молчановском хлебопункте. — И заговорил, еле сдерживая волнение: — Понимаете, Леонид Романыч, люди голодают! А страфхонд этот может и не понадобиться. Уже теперь можно сказать, что озимым ничто не угрожает. Колхозы сами обеспечат себя семенами к осеннему севу. И сполна вернут ссуду, какую получат сейчас.

— Это не простой страфхонд,— заметил Осадчий. — Это госсстрафхонд. Тебе это ясно, Касаткин?

— Ясно, Леонид Романыч! — ответил я. — И все же предлагаю взять из этого фонда займы.

— На это мы не имеем права.

— А обречь людей на голод имеем право?

Осадчий напустил густые, клочковатые брови. — Госсстрафхондом этим распоряжается Москва. И без разрешения центра никто не имеет права взять из него ни одного килограмма.

— Пишите в центр,— предложил я. — Просите разрешения.

— Райком партии уже писал в обком. А обком ходатайствовал перед Москвой. И получил отказ. Комитет заготовок не разрешает расходование госзапасов... — И вдруг как-то обмяк, потупился: — Да я и сам думал... И в других селах не легче... А случись что, мне первому достанется!... — И отмахнулся ру-

кой: — Да я беспокоюсь не за себя. За людей опасюсь. Что с ними будет?

Меня трясло, как в лихорадке.

— Надо действовать, Леонид Романыч! — продолжал я прерывающимся голосом. — И добиваться. Всеми силами и средствами. Это наша обязанность. И не только как политотдельцев, а и как коммунистов...

Осадчий слушал и молчал. Выглядел он удрученным. Даже растерянным. Никогда еще я не видел его таким.

— Да, надо действовать,— наконец сказал он, точно отвечая себе. — И действовать немедленно. Иначе будет поздно...

Мы подошли к двужолке, в которой сидел Михеич. Осадчий протиснулся ко мной. И, взобравшись на сиденье, кивнул кучеру:

— Трогай!..

Михеич подобрал вожжи. И вопросительно глянул на сумрачного напочита.

— В Березовку, Леонид Романыч?

— Домой,— сказал Осадчий. — В Молчановку. Срочное дело...

Михеич развернул Буланого. И двужолка весело зарокотала по дороге. А я стоял на месте и с тяжелым чувством смотрел вслед. Что предпримет Осадчий? Напишет в политуправление? Но достаточно ли будет этого? И как скоро придет ответ?

Когда двужолка выкатилась на тракт, я вернулся в вагончик. Полыхаев лежал на своем топчане. Покрасневшие веки его уже смыкались.

— Постиг часок,— предложил он, силясь улыбнуться. — А то мочи никакой нет. Глаза сами слипаются.

— Задавай хвалака, бригадир! — ответил я. — А мне надо в Никольское. По неотложному делу...

Воспиед стоял возле вагончика. Я выкатил его на дорожку. Разогнавшись, вскочил в седло и изо всех сил заработал ногами.



Макар Лихоносов, секретарь никольской райчейки, оказался дома. Он венником подметал земляной пол. А в постели лежала больная, с отчетным лицом мать. Она безразлично смотрела в потолок. И никак не отзывалась на появление неожиданного гостя.

— Надо поговорить,— обратился я к Макару, невольно переходя на полусепог. — По важному вопросу...

Макар молча взял меня под локоть и вывел во двор. Там мы присели на завалинку. Макар, оправдываясь, сказал:

— Мама больна. Лучше не беспокоить ее. — И со вздохом продолжал: — Все держалась. Даже по дому кое-что делала. А теперь вот слегла, приходится все делать самому...

Я спросил, есть ли в селе семьи, у которых имеется хлеб. Макар подумал и ответил:

— Конечно, есть. По самим людям видно. Облиचे нормально. Стало бы так, нормально и едят. Нечего есть, были бы, как другие, больные и пухлые. Я заглянул ему в хмурое лицо.

— А что, если пойти по дворам? По тем, у которых есть хлеб? Пойти и попросить поделиться с другими. С теми, у кого хлеба нет. Как думаешь?

Макар откудженно посмотрел куда-то. Потом полукрылся глаза, помолчал. И только после этого с прежним безразличием произнес:

— Пойти-то можно. Отчего не пойти? Вот только будет ли толк? Может, у них, у тех, значит, кто пока не заболел, осталось его всего ничего, хлеба-то. Чем они станут делиться с другими? Последнее все одно

не отдают. Как ни жалко других, самому из-за них голодать не хочется. Да и не только о самих речь. Ребятишки у каждого в доме имеются. А они же у всех родные, ребятишки-то. А родные, они всегда ближе к сердцу. Даже у самых добрых людей. И даже у самых сознательных.

Я сказал, что политотдел принимает меры, что наваренный хлеб будет получен из молчановского госстрафонда.

— Можно так и говорить людям,— продолжал я.— Политотдел не ждет манны с неба, а принимает энергичные меры. И обязательно добьется своего. Без помощи люди не останутся. Пройдет несколько дней, и хлеб будет.

Макар посмотрел на меня долгим взглядом, и в запавших глазах его вспыхнули искорки.

— Ежели так, можно попробовать. Пойдем сами по дворам и будем просить поделиться. Тебе поверят...

За плетнем показалась женская голова с венцом льняных кос. Макар равнодушно глянул на нее:

— Фроська Ломанина, жинка Федюки Полыхаева. Недавно поменялся, а сельсовет зарегистрировать отказался: двух месяцев до восемнадцати не хватило ей. Так и осталась пока при своей фамилии.

Фроська, невысокая девушка с голубыми глазами и вздернутым носом, вошла во двор и певуче поздоровалась.

— К тебе, товарищ Лихомосов! Насчет комсомола. Желано записаться. И прошу, как надо, оформить.

Макар отодвинулся и показал ей на завалинку между нами. Фрося присела, разгладила на коленях серенькую заштопанную юбку.

— А на что тебе комсомол?— спросил Макар.— Какой интерес к нему заимела?

— Хочу, как и Федя, стать комсомолкой, чтобы вместе идти, а одну ногу. А кроме того... Хочу, чтобы комсомол помог. Я два лета, сам знаешь, на тракторах плугатарил. А в плугатарки подавался, чтобы к трактору поближе. Два лета к нему приглядывался. Ребят на нем подменяла. Вникала, когда они в моторах ковырялись. Все постигала, чтобы трактористой стать. И Федя обещал, когда сватался, что в бригаду возьмет, ежели выйду за него. Я вышла, а он обратное запел. Говорит, не все покамест уразумела. И курсов каких-то дожидаться советует. А мне от этого большая обида. Сколько плугатаркой старалась. Труд не жалела и временем ради того не дорожила. А выходит— все понапрасну.— Фроська глубоко вздохнула.— Вот и хочу, чтобы комсомол заступился и заставил Федю сдержать слово. Может, я и замуж за него не пошла бы, ежели б не это слово?— И вдруг смутилась.— Нет, ты не подумай. Я люблю его. Парень он стойкий. Но ежели б не обещал взять в бригаду, может, и не пошла бы. В девках ишо погуляла бы. Спешить некуда— не старуха. Вот за тем и пришла к тебе, Макар!— Она свела на переносице темные брови.— Прими в комсомол! И помоги стать трактористой! Страсть как хочу!

— Ты вот с ним познакомься.— Макар показал на меня.— Это наш помполит. Стало быть, помощник начальника политотдела по комсомолу. К тому же прикрепленный от политотдела к нашим селам. И за все тут отвечает. И за тракторную бригаду, между прочим. Вот ты и попроси его. Если он решит, Федор возьмет тебя.

Фрося повернулась ко мне, окинула пытливым взглядом, а потом серьезно сказала:

— Так ты и есть вождь нашего комсомола?

— Е слова повергли меня в смущение:

— Какой я тебе вождь! Что ты ерунду мелешь? Вождь комсомола у нас — партия.

— Это я понимаю,— не без достоинства сказала Фрося.— Партия— это всенародный вождь. А ты, стало быть, местный, тутешний...

— Должно, ты хотела сказать, вожак?— помог Фросе Лихомосов.— Вожак нашей тутешней молодежи. Если так, то все правильно.

— Пуцый вожак,— согласилась Фрося.— Мне все одно.— И снова осмотрела меня, словно оценивала мои силы.— Прошу тебя как вожака, а заодно и как помполита: приструнь Федьку, то есть бригадир Польшаева. И пристиди. Нехорошо обещание не выполнять. Обман же получается! А за обман разве ж можно любить?

— А ты что ж?— спросил я, в свою очередь оглядев ее.— Уверена, что сможешь работать трактористой?

— А ты проверь,— предложила Фрося.— Возьми и проверь. И узнаешь, смогу или не смогу. А коль сам не в силах проверить, назначь комиссию, пуцый она разберется.

Я пообещал помочь. И Фроська сразу же повеселела. А потом, зардевшись, сказала:

— Буду тебе благодарна. Даже очень-очень!

Макар пообещал выдать ей анкету, написать от себя рекомендацию. И, взглянув ей в глаза, неожиданно спросил:

— Хлеб у вас есть?

— Какой хлеб?— не поняла Фрося. И когда Макар объяснил, призналась:— Да, покамест есть. Правда, непресынный печем. Ну, значит, с отрубями. Но без хлеба покуда не сидим. А что?

Макар положил темную ладонь на ее плечо и тихо, словно опасаясь, как бы кто не услышал, сказал:

— За большое дело собираемся взяться. И ты первой должна начать такое дело. Как будущая комсомолка. Уговоры родителей хлебом поделиться с другими. С теми, у кого уже нет и кто уже голодует. Знаю!— остановил он ее.— Мало его у вас. Самим до урожая не хватит. Так никто ж у нас тут до урожая не продержится. Или почти никто. Вот политотдел и обещает помощь всем, кто нуждается. И будет это в самый короткий срок. Только этот короткий срок надо всем продержаться. А чтобы продержаться, надо поделиться. Вот и начини первой, уговоры родителей выручит соседям. А мы ваш пример всем покажем. И других к примеру вашему призовем. А тебя сразу в комсомол примем.

Фрося долго молчала, потом встала, отряхнула юбочку и, глядя перед собой, сказала:

— Пойду потоплужу с мамкой и папкой. Может, и сагитирую. А вы ждите тут. Ждите, покада не возвратнусь...

(Продолжение следует.)

Валентин Берестов



К братишке на базаре
Гадалка подошла,
По волосам кудрявым
Рукою провела:

«Пойдешь ли, кучерявенький,
В мой табор кочевой!»
А мне и не сказала
Цыганка ничего.

Брат — вечный непоседа,
Но сердцем домосед.
Он будет рядом с мамой
И через сорок лет.

Меня ж, тихоно, ждали
Тугой палатки кров,
Дороги без дороги,
Ночлеги у костров.

Гадалка недогадлива,
Наверное, была
И главного бродягу
С собой не позвала.

А может, догадалась,
Но звать не стала в путь:
«Побудь еще с брагишкой!
У матери побудь!»

Свадебное шествие

Как в приволжском городке
Петухи из жесты
На ворота взобрались,
Дрались собралась.
А по улице ведут
Женника к невесте.
Эй, машины, сторонись!
Люди, расступись!

У серьезных мужиков
Выпернуты губы.
Тянет дядя за собой
Детский пулемет.
Мини-юбки на парнях,
Выкрашены губы.
Бабка в тапках с решетом
Пляшет и поет:

«Я — девчонка ничего,
Не боюсь я ничего.
Если я и пропаду,
Все равно не пропаду!»

На миру и смерть красна,
Ну а жизнь тем более.
На том свете не грешат,
Так пошутим тут.
Жениха звать Колею,
А невесту Олею,
А ребеночка охи
Сами назывут!



Борису Заходеру

По блюдечку ключом стучит он звонко
И на вершину дерева глядит.
«Краш! Краш!» — Он выкликает вороненка.
Краш отозвался, каркнул и летит.

Вот он уже на крыше, к нам поближе,
Разинув клюв, орет на целый свет:
«Я гостя твоего боюсь. Лети же
Ко мне! Скорей! Я есть хочу, поэт!»

Слежу за их беседой удивленно.
Будь это полугай или орел,
А то сидит на дереве ворона,
Но звонкий ключ и к ней поэт нашел.

Огромны буквы и прочны страницы
Его веселых разноцветных книг.
И можно написать об этой птице
И покорить читателей своих.

Известен он потомству, то есть детям,
Заботиться о славе ни к чему.
И вот [такое мы не часто встретим]
Слетела птица на руку к нему.

Первая учительница

Что важно для старших,
для маленьких — нет.
Мы думать не думали,
сколько вам лет.
Какой у вас муж и какая получка,
И есть у вас дочка, а может, и внучка.
Легко и охотно входили вы в класс,
Любили работу, а значит, и нас.
А мы забывали о папе и маме
В часы, отведенные школьной программе.

Для чего собирал я гербарий

Для чего собирал я гербарий!
Медуница с иваном-да-марьей,
Грустный ландыш с веселюю кашком
И фиалка с высокой ромашкой,
Мать-и-мачеха с чертополохом
И подснежник с мышиным горохом
Хоть в одной расцветали округе,
Да не знали совсем друг о друге.
Дождь осенний за окнами хлынул.
Я сухие растения вынул,
Положил на листы полукругом
И цветы познакомил друг с другом.

Владимир Жилин



Плач Былихи

Былиха
в конце двора отлучилась,
а тут случилось
лихо.

Печка разгорелась,
а кошка в духовке грелась,
теплолюбива
на диво.

Мечтала, будто за ухом чесали,
подушечки лапок розовые
развертывала лепестками —
растягивала удовольствие.

Огнем уже прорастала —
мурлыкать не перестала.
Выскочила, как солнышко,
и завопила тошно,
и шасть на окошко!

Занавеси с кружевами
охнули, забушевали,
поплыл карниз —
и другой за ним.

Как на бомбежку, выла,
форточку разбила —
и в палисадник, в сугробы,
чтобы
жалели ее, тушили
белыми подолами!..

А огонь все шире
разводил руками.

Бравые фотографии
Федьки да Павлушки
вспыхнули и сгорели.
И пуховые подушки
пирамидой на кровати —
фукнули и сгорели.

Раскричалась машина —
тут пожарная дружина
развернулась, как пружина,—
угли тушила.

— Так за что же наказание —
за терпенье, за старанье,
что в дому не сыро,
ни соринки сора,
коврики с оленями,
полы недавно крашены,
дорожками застелены —
это что ж, по-вашему,
порядок неаккуратный!

Телевизор — и тот деревянный...

Плачет Былиха, плачет,
не утихает,
а соседи, значит,
хором утешают.

Ей про страховку —
она про духовку.

— Эх, бестолковая,
из райисполкома я,
дадут вам отдельную секцию!..

А ей, видать, не по сердцу.

— Добрые люди, нету и кошки —
пожара виновницы.
Поразлетались мои племянки,
двойняшки сестры-покойницы.

Федя и Паша
у мачехи жили сначала,
а после у мачехи с отчимом.
Не я ли их отняла, воспитала —
один в ракетном, другой в летческом.

Ни матери, ни отца не видали
ни даже во снах.
И, мало, сгорели их штатские вещи —
еще и модели
все ихние действующие,
и книжки,
и удочки в сенях...

Не строчите в протоколе.
Это ж я не про такое,
запишите najитое,
оно дешевле.



Юрий
АДАМОВ



ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

РАССКАЗ



Рисунок
И. ХОХЛОВА.

Васька был ушастый паренек с круглыми, широко открытыми голубыми глазами и мягкими светлыми волосами. Волосы стояли ежиком, голова его казалась большой и круглой, как шар. Шар сидел на узких, худых, вздернутых вверх плечах, и Васька производил впечатление озабоченного, делового мужичка, тем более что он был молчалив. И только взгляд его голубых глаз говорил, что к людям и жизни он относится ласково, серьезно и чуть печально. Эти глаза жили, казалось, отдельной от Васьки жизнью, радовались и грустили о чем-то своем и имели свой особый взгляд на вещи.

В электроцех его привела мать, молодая белолицая женщина в пальто из синей диагонали, с серым каракулевым воротником и в темном пуховом платке. Пока она ждала начальника цеха, рабочие доброжелательно разглядывали ее, и только токарь Дмитрий, работавший отдельно от бригады, не оборачиваясь, возился с чем-то около своего токарного станка.

Женщина стояла посередине цеха, изредка взглядывая на широкую спину токаря, и видно было, что эта спина ее смущает. Она улыбнулась, но не кому-то в отдельности, а всем вместе, словно извиняясь перед рабочими за то, что из-за нее, чужого человека, их товарищ проявил неучтивость.

Женщина понимала, что хотя по-человечески она, может быть, и лучше и добрее Дмитрия, но она пришла и уйдет, а он останется, и от этого он им ближе и нужнее. «Я знаю,— говорила, казалось, эта улыбка, не открывавшая зубов, а делавшая только ямки на щеках,— я знаю, что я вам посторонняя, а токарь свой, но все же он видит, как мне неловко и трудно среди незнакомых людей, и мог бы быть внимательней».

Васька независимо стоял в двух шагах от матери и держал в руках шапку. Он задрал голову и изучал плакат с длинным перечнем социалистических обязательств, принятых цехом на четвертый квартал. Прочитал, задумался, словно примеривая эти обязательства к себе и соображая, сможет ли он их выполнить.

Наконец из кабинета вышел начальник цеха. Лицо у него было круглое, свежее, мальчишеское. Он подошел к Васькиной матери, и та, снова улыбнувшись, стала ему что-то говорить, показывая на Ваську. Начальник тоже улыбнулся, потому что не мог не ответить на улыбку молодой, румяной от мороза женщины. Он слушал ее, стараясь быть серьезным, склонив голову набок, но лицо у него было оживленное, глаза весело поблескивали.

— Пойдемте в кабинет,— сказал он и сделал рукой движение, будто хотел взять женщину под локоть.

С приходом начальника она почувствовала себя уверенней: теперь ее улыбка предназначалась не всему цеху, а одному человеку; человек этот стоял перед ней в учтивой позе, и она чувствовала, что нравится ему. Теперь глаза ее видели уже не расплывчатую массу лиц, а приветливый взгляд молодого, симпатичного мужчины. Она перестала смущаться, ощутила свою молодость и привлекательность. Походка ее, хотя она и не старалась, стала упругой, плавной. Начальник толкнул дверь в кабинет, и она прошла туда, не оглянувшись.

Начальник цеха был неплохой человек. Рабочие его любили и уважали. Он был добр, мягок, но умел быть и принципиальным, особенно если в чем-то ущемляли его рабочих. В цехе это создало атмосферу доверия и некоторого панибратства. Рабо-

чие позволяли себе спорить с начальником, не соглашаясь с ним; он же, в свою очередь, обращался на «ты» даже к старикам, и это их не обижало. Но сейчас всех почему-то покорило то, что он так улыбался этой впервые увиденной женщине, покорило его жест, когда он собрался было взять ее под локоть. И хотя ни у улыбки, ни в жесте не было ничего нарочитого или неискреннего, рабочие вдруг почувствовали, что это не их начальник разговаривает о деле с пришедшей женщиной, а молодой мужчина говорит с молодой женщиной и им обоим это приятно. Рабочие вдруг поняли, что у начальника могут быть и какие-то свои интересы и желания, независимые от цеха, от его работы, от них, и это их насторожило. Никогда раньше они не видели у него такого оживленного лица, хотя с ним работали долго и, что называется, съели вместе пуд соли.

— Ишь, повел... — сказал длинный, худой парень, гоняя папиросу из одного угла рта в другой.

— А чего ж? — задумался за начальника бригадир. И добавил вполне серьезно: — Молчи, парнишка слышишь — нехорошо. Бригадир подошел и присел перед ним на корточки. — Тебя как звать-то?

— Васька.

— И чего ж ты? Работать, что ли, пришел?

— Работать. А мать вот боится, не возмуг.

— Теперь возмуг, — прогудел от станка токарь Дмитрий, ни к кому не обращаясь. — Уговорил...

Васька не отозвался, но его большая голова, казалось, еще глубже ушла в плечи, и лишь по напряженной, неподвижной спине было заметно, что он слышал эти слова.

Бригадир осуждающе взглянул на токаря из-под локматых седых бровей.

— Ну ладно, — разрешил он Ваське. — Работай.

Через несколько минут из кабинета вышел Васькин мать и начальник цеха. Начальник подошел к мальчику и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Ну вот, будешь у нас работать. — На токаря хочешь учиться? — мотнул он головой в сторону Дмитрия.

Васька посмотрел своими круглыми голубыми глазами сначала на начальника, потом на довольную мать и равнодушно сказал:

— Ладно.

— Будешь у него учиться, — повторил начальник. — Он токарь классный, он тебя научит. Понял?

— Чего ж не понять?

— Я ж говорила, он у меня серьезный! — засмеялась мать, а Васька подумал, что ничего в этом смешного нет, что смеяться матери вовсе не хочется. А говорит она о нем и гладит по голове только затем, чтобы не смотреть на начальника.

Это обидело Ваську, и он, минув взгляд матери, поднял глаза на начальника. Секунду они смотрели друг на друга, потом начальник подмигнул и сказал:

— Ничего, брат!

Слова не имели смысла, но глаза его говорили что-то такое, что было понятно только им двоим. И Васька почувствовал, что между ним и этим неизвестным мужчиной начались какие-то особые отношения.

Потом начальник снова заговорил с матерью:

— Мальчика мы берем. Записку в отдел кадров я вам дам. Паренек пускай тут пообострится, а вы зайдите туда. Я их предупредил. — И Вася пожал протянутую женской рукой. — Всего доброго!

Начальник цеха вспомнил, как позавчера ему позвонил знакомый и попросил принять мальчика в цех учеником. «Мальчишка после восьмилетки», — сказал приятель, — ты не смотри, что он маленький,

он шустрый, прими его». «Пускай в ПТУ идет, — вяло возразил тогда начальник. — У меня не детский сад». Приятель долго объяснял ему обстоятельство, вынуждающее мать отдать сына на завод. Начальник не очень в них вникал: в сущности, он мог принять мальчика в цех учеником и сопротивляться больше для вида, чтобы не выглядело, будто он берет мальшину после того, как приятель в шутку упомянул, что мать у того красивая, молодая вдова. В конце концов согласился и, к своему удивлению, два дня провел в ожидании прихода этой незнакомой молодой женщины.

Сейчас он уже не понимал, что ему так понравилось в ней всего несколько минут назад. На протяжении он еще раз окинул взглядом ее старенькое пальто с плешивым воронком и лоснящимися на локтях рукавами, большие красные кисти рук, совмещающиеся из этих рук, и невольно поморщился от какой-то неприятной жалости, представив одинокую и нелегкую жизнь, которая, по словам знакомого, выпала на ее долю.

— Ну, я пошла, — сказала Ваське мать и снова погладила сына по голове.

— Иди, — кивнул он и, не дожидаясь, пока она выйдет из цеха, направился в раздевалку.

Он чувствовал: мать сделала что-то не так; наоборот, ей не следовало идти в кабинет к начальнику. Он не знал, в чем именно мать была не права, но сразу же ощутил, как изменилось отношение к ней рабочих, и, ни минуты не сомневаясь, инстинктивно признал правоту рабочих и неправоту матери. Грубые слова токаря лишь подтвердили это. Васька не понял смысла его слов, но уловил, что это высокий, широкоплечий парень намекает на что-то нехорошее, и внутренне вздрогнул, и еще сильнее сжился, словно от удара.

Васька считал мать робкой и беззащитной, и чувство это усиливалось именно в те моменты, когда она, наоборот, старелась быть веселой. Он считал — мать не умеет разговаривать с людьми, и постоянно боялся, что она скажет или сделает что-нибудь не то и ее станут осуждать. Ему хотелось жить с матерью вдвоем, и чтобы вокруг них не было ни одного человека, но он понимал: так не бывает.

Его отец погиб на стройке... После этой внезапной смерти мать как-то сразу изменилась, стала потерянной, бояливой, и мальчику казалось, что она даже ходит осторожно — чтобы не споткнуться, не упасть. Он привык вернуть на мать, выговаривать ей за те ошибки, которые она, по его мнению, совершала, и искренне считал, что руководит матерью и что она без его руководства будет беспомощна, как маленькая девочка.

В раздевалке Васька повесил на вешалку пальто и шапку и принялся рыться в большом ящике, где лежали сапоги, отыскивая среди них поменьше размер. Он вытащил старую, разбитую пару, которая оказалась ему подходящей, присел на скамеечку и, достав из кармана пиджака чистые белые портянки, ловко обернул ими свои маленькие, узкие ступни. Потом всунул ноги в сапоги и задумчиво прошелся по раздевалке, проверяя, не трут ли портянки. Он знал, что плохо намотанная портянка может в момент стереть ногу до крови. Покачал головой, снял пиджак и, вывернув его наизнанку, чтобы не испачкался, повесил рядом с пальто.

Заметив его неторопливые, спорные движения, в которых чувствовалось не старание, а привычка, бригадир пробормотал себе под нос: «Хозяйственный паренек», — и почему-то вздохнул.

Васька отыскал себе и комбинезон, выпачканный на спине белой масляной краской, критически ос-

мотрел его, держа на вытянутых руках, проверил, не дырявые ли карманы, потом натянул сапоги, подползаясь обрывком электропровода и вышел в цех.

Там он подошел к Дмитрию, считая, что его рабочее место находится теперь где-то поблизости от токаря. Тот остановил станок, вытер свои широкие замасленные ладони концами и глянул сверху вниз на тихого мальчишку.

— Чего смотришь, сопля! — бросил он. — Ты и до ручки не достанешь! Иди... будешь концами станок вытирать. — Он махнул рукой, давая понять, что этим Васюшкины обязанности как ученике исчерпываются.

В обед рабочие обступили Васюку в раздевалке. — Чо ж тебя, маленького такого, — работать? — спросил старый монтер Андрей Семенчук, глядя на мальчишка, как на диковинку.

— Рот маленький, а есть просит, — серьезно ответил Васюка, разворачивая газетный сверток с обедом.

— Это верно, — согласился Андрей Семенчук, ставил с головы промасленную кепку и, погладив лысину, повторил: — Это так-то...

Рабочие молча сидели вокруг и глядели на мальчишка, смутно чувствуя какую-то свою вину перед ним за то, что он очутился среди них — такой маленький и слабый.

— Эх, братяг!.. — вздохнул бригадир и провел своей кривой ладонью по Васюшкиной голове. — Головка белая...

Васюка прижился в бригаде. На токаря его пока не учили — Дмитрий станок ему не доверял. Но паренек выполнял в цехе множество нужных дел: всем помогал по мелочам, убирал верстаки, подметал пол, складывал инструменты.

Он успел побывать на собраниях, профсоюзном и комсомольском, и каждый раз забирался куда-нибудь подальше, за спины, словно боясь, что кто-то увидит его и скажет: «А ты что здесь делаешь?»

На первый взгляд он ничего не делал, но работа его была нужна, и не практическими результатами, потому что он ничего не производил, а чем-то гораздо более тонким и невидимым, как воздух, но без чего, как и без воздуха, обходиться люди не могут. И, глядя на его постоянно суетящуюся по цеху фигуру, рабочие оттаивали, и на их лицах появлялись одинаковые улыбки.

К концу дня рабочие уставляли и иной раз покрикивали на Васюку. Он не обижался, чувствовал, что кричит в них не злость, а усталость.

Однажды при Васюке поругались Андрей Семенчук и молодой парень — монтакан. Парень был профсоюзом и утверждал, что Андрей Семенчук не заплатил за два месяца членские взносы.

— Что ж мне теперь, из своего кармана выкладывать! — спрашивал он. — На вас всех не напасешься!

— А я тут при чем? — стараясь быть спокойным, говорил старик. — Я эти самые взносы платил, когда тебя, сопляка, на свете не было... и никогда ничего... А теперь — здравствуйте! Нет, друг ситный, ты деньги получиш. Давай ведомость, а я распишусь. А то почему я знаю, может, ты их пропил?

— Пропил! Я пропил!.. А тебе, папаше, на пенсию не пора!

Они долго препирались, а Васюка удивленно слушал: говорит друг другу злые слова, а в них все неправда — парень с Андреем Семенчуком дружит, любят работать вместе. Васюка видел, что ругаться

то им и не хочется, и не понимал, что заставляет их говорить друг другу обидные вещи. Ссора то затихала, то разгоралась с новой силой. Стояли в раздевалке, глядя прямо перед собой круглыми от злости глазами, пока вдруг не поймали удивленный взгляд Васюки. И сразу же оба опустили головы, быстро переоделись и, не глядя друг на друга, вышли на улицу.

На другой день парень извинился перед Андреем Семенчуком.

— Да чего... — сказал тот, шмыгая сизым, широким, как туфля, носом. — Поруемся другой раз и помирился. Чего нам делить? А вот парнишка слушал, как мы матюкаемся, — это нехорошо...

Васюка видел, что рабочие были в чем-то как большие дети, и незаметно для себя усвоил с ними тот же ворчливый тон, каким говорил с матерью.

— ...Насвистывали, черти! — бормотал он, обметая верстаки волосяной щеткой. — А убирать что? Васюка? — Или, собирая разбросанный инструмент, тихо брюзжал: — Ишь, накидали! Знают, небось, Васюка уберет!

Иногда кто-то из рабочих садился около него и, положив тяжелую руку на его худые, острые плечи, угощал конфетой. В такие моменты Васюка ненадолго превращался в мальчишку, застенчиво улыбаясь, разворачивал бумажку и целиком закипавал конфету в рот. Но почти сразу, словно спохватываясь, говорил:

— Это ты, что ль, настругал у наковальни? Смотри: начальник увидит — задст!

— Ладно, Вас, не ворчи, сейчас уберу.

— Да я уж убрал, — сердито говорил мальчик. — Не бойся.

— ...И в кого ты такой серьезный? — спросил его как-то Андрей Семенчук. — Ты ж пацан, тебе еще играть надо...

— Я — в отца! — объяснил Васюка.

— А отец у тебя кто?

— У меня отца нет, — сказал мальчик. — Я с матерью живу.

— А где ж он, отец?

— Погиб отец, в аварии погиб.

— Вон оно что, — огорчился старик. — Ну, что ж делать, это бывает. Да... А по глазам ты вроде в мать?

— Не, — протянул Васюка, — мать у меня веселая.

В день получи Васюка отозвал Андрея Семенчука в сторону и, заговорщицки оглядываясь, сказал:

— Семенчук, пойдом со мной в магазин сходим? Я красного хочу купить — боюсь, не дадут мне... Надо ребят угостить — с получи-то, бригаду нашу.

— Куда тебе угощать? — умилился старик. — Неси мамке деньги.

— Не, она мне сама сказала, чтоб угостил... Говорит: не угощу — обижать будут.

— Обижать... Глупая у тебя мамка, — огорченно сказал монтер. — Кто ж тебя обидит!.. А на вино не траться, сынок, не надо это...

— Она не глупая, — вздохнул Васюка, — она боится за меня.

— Чего бояться-то? Везде ж люди... Мы тебя рады. — Старик подумел, пожевал губами и сказал: — А Митрий — бог с ним, он тоже не злой. Он строгий. Такой уж характер...

Дмитрий, может, был и не злой, но Васюке от него изрядно доставало. Он не терпел, когда мальчишка помогал кому-нибудь, кроме него самого, и всегда находил ему занятие: протирать резцы, убирать стружку, чистить станок, или еще что-ни-

будь. Зато когда Васяка сидел у него за спиной и следил, как он работает, Дмитрий, казалось, был доволен и злился, если мальчишку отвлекали. Он и сам затруднялся определить, что чувствовал к Васке. С одной стороны, хуленская, сутулая фигурка в широком, не по размеру комбинезоне постоянно вызывала у него жалость, с другой — он относился к мальчишке, как к взрослому, обижаясь и ревнуя его, как равного. Он заметил, что не может почему-то так же естественно и легко приласкать Васку, как другие, и в те моменты, когда ему этого хочется, он, наоборот, бывает с ним резок и груб. Но ничего не мог с собой поделать. И из-за этого совсем по-детски злился и на Васку, и на бригаду, и на себя.

Васяка же любил наблюдать за токарем во время работы, любил его купные, уверенные и будто сердитые движения, когда тот включал и отключал станок, зажимал резец и переводил скорости. Когда же резец приближался вплотную к бешено вращающейся заготовке, движения эти менялись — откуды-то бралась в них кошачья ласковость, чуткость и нежность. Блестящий остренький кончик резца придвигался все ближе и ближе к заготовке, которая, как знал Васяка, была корявая и грубая, но в таинственный миг их соприкосновения раздавался легкий свист, весело завывалась и шелестела стружка, и на грубом куске металла обозначивалась узенькая сверкающая полоска. По мере движения резца полоска ширилась, переливалась бликами — и вот уже вместо шершавого куска металла вращался зажатый в шпинделе сверкающий цилиндр, такой ровный и гладкий, что даже и незаметно было само его вращение.

Дмитрий выключал станок, осматривал цилиндр, щупал его пальцами. Потом шел к точилу править резец.

Но главное чудо было в конце, когда он отрезал готовые детали и в жестяное корыто под станком, негромко звывая, падали тускло-блестящие, пахнущие маслом, теплые болты и гайки. Настоящие болты и настоящие гайки — шестигранные, со скругленными головками, с резьбой.

Когда у Дмитрия бывало хорошее настроение, он, не оборачиваясь, бормотал, зная, что Васяка стоит сзади и слушает:

— Масло не желей, станок масло любит... Или учил: — Нержавеюк режешь — скорость уменьшай; резец сожгешь.

Васяка и в мыслях никогда не смел ставить себя на место Дмитрия. Он не мог даже вообразить себя за станком — это было слишком нереально. Однажды, набравшись храбрости, он задал токароу вопрос, который его давно мучил:

— Резец такой тоненький, а железо его не ломает. Почему?

Токарь неожиданно улыбнулся, и из уголков глаз у него разбежались добрые морщинки.

— Вот гляди. — И он показал Васке резец, в режущую часть которого была впаяна какая-то пластинка. — Видишь — победитовая пластинка? А победит не сломаешь: он твердый.

Васяка не задумываясь над тем, что делает эти резцы. В его представлении они не соединялись с такими же, как у Дмитрия, сильными, перепалканными маслом руками. Но то, что резец оказался даже более уной вещью, чем он вначале предполагал, и то, что у него было такое гордое название — победитовый, — это укрепило чувство почти благоговейного уважения ко всему, связанному с токарным станком.

Получив после обеда зарплату, рабочие спонялись по цеху, покуривали, занимались всякими пустяками, создавая видимость работы. К серьезному делу настроения уже не было. План предписывали выгонять за счет более напряженной работы в другие дни. Все ждали, когда можно будет набиться в раздевалку и там коротать минуты, оставшиеся до звонка. Васяка тоже бездельничал.

Неожиданно тот самый высокий парень, осудивший начальника цеха за Васкину мать, крикнул:

— Васяка, денежки получил, а работать — дядя!.. Кто верстаки-то будет убирать?

Он крикнул это просто так, от нечего делать, и Васяка именно так и воспринял. Нисколько не обидевшись, а, наоборот, весело помахивая щеткой, он направился к верстакам. Но в это время Дмитрий, оторвавшись от станка, шагнул к парню.

— Ну ты, Оглобля! Он тебе что! — злобно выкрикнул токарь, видимо, совершенно не владея собой и не слыша, что говорит. У него кривились губы и будто сами собой сжимались пудовые кулаки. — Он чей ученик — мой или твой!

— Ты что, ты что? — испуганно забормотал парень и под нос проворчал: — Вот псих-то! Совсем очумел!..

Дмитрий постоял немного, набившись и глядя в пол, успокоился и мрачно сказал:

— Сам уберешь, не маленький. Он тебе не подчиняется. — И отвернулся к станку.

Васяка быстро подошел к нему и стал говорить, что, мол, ничего особенного, уберу, но тот, не глядя, оттолкнул его. Мальчик оступился, упал и ударился плечом об угол стены. Рабочие возмущенно загудели, но Васяка не обиделся на токаря, встал, потер ушибленное плечо и, слабо улыбаясь, покачал головой. Озираясь, он все же прибрал верстаки. Его гладили чьи-то руки, ему говорили ласковые слова, а он молча улыбался чему-то своему.

Васяка все же уговорил Андрея Семенychа сходиться с ним за вином, чтобы отметить первую получку. И в магазине, незаметно дергая его за рукав, он шептал:

— Семенych, а двух-то хватит?.. Может, три?

— Хватит, хватит! Мы ж не напиваясь, а так, по обычаю... и нехорошо, на работе-то.

— Семенych, а начальника звать?

— Да ведь он, поди, ушел уж домой... У него недавно сын родился.

На улице стемнело. Из заводских окон лился во двор свет. Андрей Семенych пожегся от холодного ветра и поднял воротник пальто. То же сделал и Васяка.

Запорошенные снегом и покрашенные от мороза, вернулись они в цех.

— Куда это, стар да мал, таскались? — спросил бригадир.

— По важному делу, — коротко ответил Андрей Семенych и подмигнул Васке.

Васяка опять вспомнил, что сегодня получил первую получку, и пришел в тихое, восторженное состояние. Он иногда дотрагивался до нагрудного кармана, где лежали его первые заработанные тридцать рублей, и новые бумажки негромко похрустывали в ответ, будто говоря: мы здесь.

Он представил, как придет домой, отдаст матери получку, потом развалится за столом, как это делал отец, а мать станет вокруг него хлопотать и кормить обедом. Он будет зарабатывать много денег и все их отдавать матери. Тогда им никто не будет нужен, и они по-прежнему будут жить вдвоем.



Размечтавшись, Васька не обратил внимания, что через некоторое время человек семь куда-то скрылись, и очнулся только, когда Андрей Семеныч выскочил из раздевалки и поманил его пальцем. Васька кивнул и пошел было к нему, но около двери потоптался и отправился обратно.

В цехе было тихо и пусто, только Дмитрий, как всегда, стоял около станка. Васька подошел к токарю и, глядя ему в бедро, сказал:

— Митя, идем в раздевалку. А?

Дмитрий окинул цех подозрительным взглядом. Цех был пуст.

— Не пойду,— сухо сказал он.— Незачем... У вас там и без меня весело будет.

Васька не нашелся что ответить. С одной стороны, он чувствовал, что токарь прав и что в раздевалке будет весело даже и без него; с другой стороны, понимал, что Дмитрий поступает так назло Ваське и рабочим. «Что же сказать?— думал он.— Сказать, что весело не будет, значит, соврать...»

— Ну, все равно пойдем,— сказал он, ничего не придумав.

— Сказано, не пойду.— И токарь, широко шагая, пошел вон из цеха.

Мальчик посмотрел ему вслед, вздохнул и, покачав своей круглой, светлой головой, направился в раздевалку. Он чувствовал себя виноватым перед токарем, хотя и не знал, в чем. Может, нздо было угостить только его? Дмитрий обиделся, а рабочие, может, и не обиделись бы. Он-то один, а их много. И вдруг подумалось, что он стал причиной странных отношений между токарем и бригадой.

Васька прислонился к стене и задумался. В цехе стояла сонная тишина, только под потолком потрескивала люминесцентная лампа. Рабочий день кончился, цех был пуст. В длинный ряд вытянулись неживые станки. Потом кто-то выключил свет, и цех погрузился в полумрак. Васькина фигурка совершенно потерялась среди станков и верстаков; она почти слилась с уходящей в пятиметровую высь стеной.

Он робко вошел в раздевалку, и там его снова охватило чувство радостного удивления. Посредине сумрачной, тесной, завешанной телогрейками раздевалки стоял ящик из-под обуви, покрытый чистой газетой. На газете стояли знакомые ему бутылки с вином, а на бумажках были аккуратно разложены сыр, колбаса и хлеб.

Рабочие сидели вокруг ящика и негромко переговаривались. Похоже было, что Васька и его первая получка оказались для них только предлогом, чтобы собраться и в спокойной обстановке обсудить насущные, неотложные вопросы. Они словно бы и забыли про Ваську, и когда он вошел, только Андрей Семеныч, прерывая разговор с бригадиром, торопливо бросил ему:

— Садись,— и указал на свободную табуретку рядом с собой.

Андрей Семеныч рассказывал, как уговаривал смежного мастера разрешить выпить в раздевалке и какой тот молодец: разобравшись, что у них не пьянка, а случай особый, так сказать, посвящение в рабочий класс, разрешил и не разводил никакой бюрократии.

«Закуску-то они сами сообразили,— подумал Васька. Он глубоко вздохнул и сел на указанное место, поглядывая вокруг себя сияющими глазами. В сумраке раздевалки, освещенной только тусклым желтым пламенем под потолком, между темными фигурами его светлая голова и блестящие, широко раскрытые глаза казались пришедшими из какого-то праздничного мира детства.

Наконец разговоры утихли. Бригадир разлил бу-

тылку по стаканам и Ваське тоже плеснул, но осторожно так, на дышечко.

— Ну, ребята, выпьем,— сказал он, посмотрел на Ваську и погладил его по голове.

Все строго молчали, держась за стаканы, и Васька чувствовал, что сейчас происходит нечто неизменно более важное и значительное, чем выпивка. Что именно происходит, он не знал, но понимал, что это вечер уводит его из детства в мир взрослых и возвращает назад не будет. Понимал и завывался этому. Он плотно сжал губы, словно задерживая просачивающуюся наружу улыбку, и строго и требовательно поглядывал на окружающих, будто спрашивая, понимают ли они, что сейчас надо быть очень серьезным.

Все молчали и без улыбки глядели на Ваську. Он выпил вино, крякнул и спрятал нос в рукав комбинезона, как это делал раньше отец. После него выпили все.

— Ты, Вась, закусайвай,— поучительно сказал ему Андрей Семеныч, и голос его показался Ваське delicateм и слабым.— Вот колбаски возьми,— повторил, и положил руку Ваське на плечо.

Эта тяжелая, грубая рука показала Ваське такой надежной и крепкой, что он с облегчением прижался к ней щекой и неожиданно всхлипнул.

— Ох ты, милый мой!— растергался старик.— Забрало паренка.

И все вдруг увидели, что с ними, взрослыми мужчинами, сидит мальчишка, которому надо бы учиться в школе и играть с ребятами во дворе; увидели какую-то ошибку, несправедливость, случившуюся с этим мальчиком, в которой никто не виноват.

Васька сидел молча, плотно сжав губы. Его блестящие, широко раскрытые глаза потухли, взгляд их сделался неподвижным и сосредоточенным, и казалось, был направлен в глубь себя. Его тормощили, задавали вопросы, но он не двигался и не отвечал; похоже было, он ничего не слышит. Слово происходящего вокруг было неважно и несущественно по сравнению с тем серьезным и значительным, что совершалось в нем и на что был Васька устремлен его пристальный, изучающий взгляд.

— Ну вот, Васька, ты теперь вполне настоящий рабочий,— сказал Андрей Семеныч.

— Да, Васька, ты теперь... вот!— подтвердил бригадир и, не находя больше слов, потряс сжатым кулаком.

Все жевали, и Васька тоже двумя руками пихал в рот толстый ломтик хлеба с колбасой.

Бригадир разлил вторую бутылку, и Васька крепко зажал в руке стакан. Рука у него была не такая широкая, темная и узловатая, как у других, но и на ней он с радостью замечал ссадины и царапины, полученные за работу.

А подушечку большого пальца пересекала тоненький розовый шрам: в этом месте он пропорол палец отверткой.

Он помнил, как ему было больно и как он давил слезами, пока Андрей Семеныч смазывал палец йодом и замазывал изюльцой. Спросил:

— Семеныч, а шрам-то будет?

Старик достал очки и, держа их в руке перед глазами, строго осмотрел палец.

— Будет,— уверенно сказал он.— Глубоко прокнул. Первый шрам-то! Ничего, у тебя теперь все первое. Получку вот тоже первую дадут...

Сейчас Васька сидел, поглядывая на свой шрам и думал, что у него теперь настоящие рабочие руки и ради этого стоило потерпеть.

— Ну, лайте,— разрешил всем Андрей Семеныч и поднял руку со стаканом.— А ты, паренек,— обр-
ратился он к Ваське,— как сейчас выпьешь, так

больше не пей. Не привыкай. Это уж нынче день у тебя такой, а потом если когда на Октябрьские или на Новый год выпей маленько — и все! Не привыкай. Мы, старики, выпиваем — верно, а ты молодой, тебе не надо. А на работе — тем более.

— Васька! — раздался из цеха сердитый крик товарища. — Иди сюда, сукин кот!

Мальчишка вздрогнул и растерянно поставил стакан. Потом обвел всех печальными глазами, словно извиняясь перед рабочими за грубость своего наставника, и, покорно склонив большую голову с оттопыренными ушами, вышел из раздевалки. Рабочие загудели, заговорили враз, осуждая Дмитрия.

— Ты бы, Саш, сказал все же начальнику, — предложил Андрей Семенич бригадир. — Пусть оформит пацана, чтоб при нас был. Чего это мучит его? — Да куда ж ты его оформишь-то — салажонка? — сказал бригадир. — Он ведь и так только Христа ради и числится у нас. Кто его возьмет-то? Ни квалификации, ни силы, ничего... Вы вот, комсомол, — он взглянул на Оглоблю, жующего мундштук папиросы, — устройте собрание, вложите Митрию строгача — он сразу хвост подожмет!

— Он подожмет... — обижено сказал профорг, на секунду оставив папиросу и судорожно сглотнув, отчего на его худой шее сканулся острый кадык.

— Какой-то ты неактивный! — осудил его бригадир. — У вас сила, а вы — телки!..

— Хороший ведь парень был, — задумчиво сказал Андрей Семенич. — И чего с ним сделалось? Совсем спятил. Наверсе же игрушка: думает, небось, мы парнишку обидим.

— А когда мать-то его приходила, так брякнул при мальчонке, аж и я покраснел. Из откуда он у нас такой бирик?

— Я думаю, может, это он от работы своей? Мы-то вместе, бригадой, а он один точит, точит. На нас работает, всякие там гаики да болты делает, а мы его вроде как и не принимаем... Может, ему обидно, а? Все одинак... Теперь вот Ваську к нему приставили, он и боится, что мы мальчонку перемажем? — Может, и так, — вздохнул бригадир. — Видать, и наша вина есть.

А тем временем Васька вернулся. Раздался взрыв хохота: физиономия парня из белой и румяной стала почти черной. Казалось, что в раздевалку вошел негритенок — светловолосый, с печальными голубыми глазами.

— Ты чего, Васька, вымарался? — спросили его, но тут же оскелели, и наступила тишина: глаза у Васьки наполнились слезами, пухлая нижняя губа обижено оттопырилась — было видно, что он готов заплакать.

Дмитрий — концами, — объяснил он, утираясь рукавом. — Загулял я тут с вами, а станок небруаный на место. — Во дела... Он покачал головой, усаживаясь на место.

— Что ж ты не плачешь-то? — с отчаянием в голосе спросил Андрей Семенич.

— Э-э... бывалым тоном сказал Васька. — Плачь, не плачь... А Дмитрий — он не по злобе...

— Ладно! — решительно сказал бригадир. — Мы тебя в обиду не дадим! — Он стукнул кулаком по ящику так, что подпрыгнули стаканы. — За такие дела Митрия — с доски почета к чертовой матери! Работашь хорошо — ладно... Нет, брат, ты еще человеком буди!.. Слабого не биди...

— Да он не обижает, — убежденно сказал Васька и пожал плечами, словно удивляясь, что взрослые люди не замечают такой очевидной вещи. — Он ничего...

— Да как же ничего?! — загорячился Андрей Семенич. — Как же ничего, когда он тебя туда-сюда шурует?! И концами, вишь, вымарал!

Вася морщил лоб и решал, видимо, в уме нелегкую задачу: как объяснить то, что было очевидно для него, всем этим людям, которые говорят теми же словами, смотрят такими же, как у него, глазами, но не видят и не понимают, что происходит вокруг них. А может, они просто не хотят видеть?

— Дмитрий — ничего, — повторил он.

— Ну вот, — разочарованно протянул Андрей Семенич, — мы тебя хотели к нам определить, чтобы ты при нас был... А ты...

Вася растерянно захлопал длинными, пушистыми ресницами, которые стали особенно заметными на потемневшем лице.

— Да я ж и так при вас, — жалобно сказал он, и всем на мгновение показалось, что он просит: не мучайте меня.

— Не хочешь, что ли?... Мы бы тебе звание выхлопотали, был бы настоящим рабочим, а не учеником.

— Я и так настоящий! — тонко сказал Васяка.

— Это верно, — вздохнул старик, погладил по голове и добавил: — Что верно, то верно.

Через некоторое время рабочие разошлись, и Васяка остался один. Он не спеша переоделся, сунул деньги во внутренний карман пальто и вышел на улицу. Народу было много, и он, улыбаясь, шел в толпе, чувствуя себя ее частью. Это все были рабочие, такие же, как и он, и Васяка снова почувствовал близость и общность с ними. Он шел, не замечая ничего вокруг. У него впервые лежало в кармане столько денег, к тому же заработанных им самим.

Стемнело. Короткий зимний день кончился, наступил вечер. Зажглись фонари, и от этого казалось, что сумрак еще более сгустился. В мутных, плавающих над улицей облачках белого света висела мелкая снежная пыль.

На остановке трамвая толпа с боем брала подходывшие вагоны.

Васяка попытался сесть, но какая-то толстая тетка отпихнула его хозяйственной сумкой и вклинилась в вагон. Он услышал ее хрипловатый, сердитый голос.

— Мужичье! — кричала она. — Вот лезут, вот лезут! Да пропусти, тебе говорят! Думаешь, тебе нужней?! Всем нужней!

— Пойду пешком, — решил Васяка. — Чего толкаться? — И бодро зашагал по хлюпающей жиже, уже опущенной свежим, нетающим снегом.

Подумал, неплохо бы купить матери с получки какой-нибудь подарок, и стал прикидывать, что купить. У него было такое чувство, будто как только он что-нибудь купит, вещь сразу же разонравится. И не потому, что будет плохая или ненужная, а просто на эти деньги можно было бы купить другую вещь — и лучше и нужнее. А деньги уже не вернуть. «Нет», вздохнув, решил он, — отдам все матери. Как она хочет... А то купишь, а она заругает. Их, женщин, разве поймешь?..»

Густо пошел снег, крупные его хлопья плавно качались в неверном, слабом свете редких фонарей, опускались и покрывали землю.

Сам не зная почему, он остановился у ярко освещенной витрины винного магазина. В магазин вели три ступеньки, и над входом матово светился стеклянный шар.

— Парень, закурить есть? — услышал он сзади сплюсванный голос.

Васька похлопал себя по карманам, хотя знал, что у него нет, и сказал басом:

— Нету, — давая понять, что курево у него было, но все вышло.

Он повернулся и увидел, что сзади стоят три парня в накиннутых на плечи демисезонных пальто и без шапок. Парни терли руками уши и тягивали шеи в воротники пальто. Видимо, на минуту выскочили из дома за вином.

Васька не понимал, почему они топчутся на морозе, вместо того чтобы зайти в магазин. Потом он краем глаза увидел, как парни за его спиной переглянулись и двинулись ближе к нему. Он потянулся было рукой к левому внутреннему карману пальто, но почти сразу руку отдернул, сам еще толком не понимая почему. Предчувствие чего-то нехорошего заставило его скжаться. Парни стояли молча. Потом один — длинноносый и угреватый — наклонился к Ваське и, обдавая его теплым винным дыханием, сказал:

— Чего ж ты на вино-то смотришь? Тебе пить равно. Ты бы лучше нас угостил.

— Денег, что ль, нет? — грубовато спросил Васька. — Получку-то получишь, небось?

— Мы-то? — усмехнулся сзади другой. — Получили... да вся уж вышла. А у тебя еще есть.

— Вы рабочие? — с надеждой спросил Васька.

— Мы-то? — так же странно усмехаясь, переспросил парень. — Мы — рабочие...

И снова все замолчали. Васька тоже замолчал и впился взглядом в витрину, подставив парням сутулую беззащитную спину. Этой спиной он как бы видел все, что делалось сзади него: как топчутся в нерешительности парни, чего-то выжидая, видел, как они переглядываются, может быть, решаясь на что-то страшное.

Вдруг он почувствовал, что те, сзади, отодвинулись. Он не оборачивался и не видел их, но какое-то чувство свободы за спиной точно сказало ему, что хотя они и не ушли совсем, но отделились и уже не угрожают. Еще ничего не произошло, а он уже чувствовал, что ничего и не случится.

— Васька! — неожиданно услышал он знакомый хрипловатый голос. — Ты чего здесь?

Васька оглянулся. Перед ним стоял токарь Дмитрий. Черный его чуб лез из-под шапки на глаза, они поблескивали не то зло, не то весело.

— Чего вам от него надо? — угрожающе спросил он, темной глыбой надвигаясь на парней, которые вдруг показались Ваське маленькими, худыми и слабыми.

— Ну чё ты, чё ты? — растерянно забормotal один из них. — Закурить спросили... Нельзя, что ли?

— Чего? — спросил Дмитрий, словно удивляясь их наглости. — Закурить? А ну, дайте отсюда!..

Парни растворились в темноте, словно их и не было.

— Они чего, деньги у тебя отнимали? — спросил токарь.

— Да я не знаю. Курить спросили... Потом один говорит — вином угости... Не знаю...

Ему вдруг показалось, что и впрямь ничего не произошло. Подошли ребята, попросили закурить. Ну и что из того?

Токарь и Васька быстро шли по темной улице. Потом Дмитрий сбавил шаг и сказал:

— Думаешь, что я тебя провожаю? Мы живем рядом, понял? И не думай ничего такого, ясно?

— Ясно, — ответил Васька.

Токарь немного подождял и снова заговорил:

— Чего тебе ясно? Я-ясно... Я пива зашел выпить, вот и задержался. Так-то. А не зашел бы — и не увидел тебя, и получка твоя — ты-то! Что матери-то сказал бы... Вот так-то, молодой человек! — Потом спросил: — Где ж твои собутельнички-то? А? По щелям, как тараканы... Во-во, как тараканы... Ничего, сходи завтра с ними, еще поддай! Только учти! — сердито глянул он. — Выпивать будешь — до станка не дотронешься!.. Понял? Не допущу.

— Я пить не буду, — виновато сказал Васька, — и с ними тоже не буду.

— Да мне-то что, пей с кем хочешь! — раздраженно сказал Дмитрий, хлопая себя по карманам в поисках папирос.

— Не, я не буду... погоди... — Он взял токаря за рукав. — Я живу здесь...

— Ну и живи, — буркнул тот, видимо, не понимая смысла этих слов. Потом он остановился, стал закуривать. Несколько раз сильно затащил и сказал: — Ну, дуй домой! Чего стоишь? Ладно, не на месяц расстаемся. Завтра увидимся... Опять тебя строгать и шабрить буду.

— Ага, — счастливо улыбаясь, сказал мальчик. — Строгий и шабрий.

— Ну, и ты это... не обижайшься? — трудно проговорил токарь.

— Не обижаясь, — ответил Васька, заглядывая ему в лицо. — Не обижаясь! — Он засмеялся. — А где твой дом-то?

— Да там! — Дмитрий неопределенно махнул рукой в том направлении, откуда они пришли. — Соседи.

— А я тебя раньше не видел.

— Это ничего, — рассеянно сказал токарь, думая, видимо, о другом. — Я переехал недавно.

На улице было темно и так тихо, что слышно было легкое шуршание падающего снега. Противоположный ряд домов пропал в темноте. Недалеко горел фонарь; на тротуаре и мостовой лежало желтое пятно, а над улицей, в густой черноте, плавало маленькое светящееся облачко, выхватывая из темноты часть карниза дома.

Дмитрий курил. Лица его Васька не видел, и только вспыхивающий время от времени уголек папиросы освещал багровым мерцающим светом плотно сжатые губы, складки на щеках.

— Ладно, иди, — сказал наконец Дмитрий. — Я тебя завтра, может, к станку допущу. Понял?

— Понял, — ответил Васька. С минуту постоял, вздохнул и зашел в подъезд. Там он прислонился к окну, устался на улицу.

Токарь последний раз затащил, и Васька увидел, как его папироска, прочертив в темноте красную дугу, упала куда-то в снег и погасла. Потом темная фигура растаяла в снежной мгле. А ведь я сегодня получку получил! — вспомнил Васька, глядя на туманный круг от своего дыхания на грязном стекле.

Павло Мовчан



Перевел
с украинского
Ю. РЯШЕНЦЕВ.

Май

Пускай календарь начинается с мая —
Земное ли дело, мечта ль неземная
Отныне творится по нашей охоте
Новейшим потомком в извечной природе.
Пускай, как и прежде, с зеленым покровом
Все сущее явится с именем новым.
Пусть громкое эхо таят страны света —
Ничто на земле не звучит без ответа!
Огромен наш мир, но смутимся ли этим:
Земной горизонт огоньками пометим.
Бегущую воду замкнут наши срубы,
Летающую воду замкнут наши губы,
И в детях продлимся, в ином поколеньи,
И снова и снова начнем исчисленье.

Весной

Простерлась птица над водой,
По-над водою голубою,
И реял лист немолодой
И заслонял весну собою.
Вода печальная была
И взбаламучена дождями.
В ней мокли сникших два крыла,
Полнеба срезавших над нами.
День, сморщившийся от дождя,
Глядел на лица и обличья,
Нигде вокруг не находя
Былого зимнего величья:
Погнулись копыта камыша,
Щит солнца раздроблен на блики.
И вместо мавок, не дыша,
Таятся в дуплах зовы, клики.
И лишь из мглы, из глубины,
Где в рост крапива водяная,
На нас, и дивны и страшны,
Два ока смотрят, не мигая

Воспоминания об эвакуации

В тот полдень, лишенный и сути и формы,
Срываясь с землею —
не стало платформ.
И поезд размытый пылтел, надрывался,
И грохот колесный в ушах отдавался.

В дождливом пространстве разбухшее тело
Болело и вздрагивало то и дело,
Как будто в него постепенно, помалу
Вгоняли костыль, прижимающий шпалу.
Блуждающий плач, в пятнах явленных

белых,
Все жаждал приюта в устах опустелых.
Наивный, простой аромат георгина
Протиснулся в щелку сквозь облако дыма.
И с криком хотелось нам кинуться

к маме:
— Что будет, скажи нам! Что станется
с нами!

Вот мяч — он не скачет, когда это было!
Вот глобус — два пса его лжнут уныло;
Земля на оси наклонилась нетвердо,
И место, где дом наш, с лица ее стерто.
И тычется палец в неяркую воду:

— Вот дом наш, вот здесь он, поближе
к маме:
Подсолнух там желт, как медовые соты...

Все странно... А глобус вершит повороты...
И странно, что «мессеры» выются на свете,
Что мы и не взрослые, но и не дети...

Виктор Широков



Неясно над Пушкиным небо.
Опять фонари не горят.
И словно в бездонные недра,
ушел металлический взгляд.

Но скажешь ли, что безучастен
сейчас он к стихии людской,
вне споров, удач и несчастий
навек вознесен над толпой!!

Затем ли все шире дорога
к нему, и по ней мы идем,
что скрыта живая тревога
за этим обветренным лбом!!

В любую эпоху и эру
поэт не боится свинца.
К барьеру, к барьеру, к барьеру
доносчика и подлеца!..

Пока не окончена дума,
пока еще тесно в груди...
И вечности черное дуло,
как слава, еще впереди!



Как только тронулся состав
и побегал проворней,
ты вмиг уменьшилась, отстав
на городской платформе.

Но вместе с массою людей
вослед перемещалась
и кистью узкою своей
прощала и прощалась.

Я что-то важное кричал,
слова не выбирая.
Ты, может, слышала печаль,
слова не разбирая.

Догадываясь, ты сама
досказывала речи.
Так было проще для ума
да и для сердца легче.

Казался ниточкою бус
тебе ушедший поезд.
Казалось, я сейчас вернусь,
о том же беспокоясь.

А у меня плыла в глазах
вокзала панорама,
когда не повернуть назад
и возвращаться рано.



Знакома ль вам ладонь залива
в морщинах трепетной воды!
О, как влечет неодолимо
потребность сохранять следы!

Так, вспоминая руки трудовые
с застывшей сеткою морщин,
задумавшись не впервые:
откуда ты и чей ты сын!

Унять бы сердца тайный ропот,
но вот почудилось на миг,
что вдруг услышал смутный шепот
отца и матери моих.

Шли низко над водою тучи.
Таили летнюю грозу.
И ветер рукавом колючим
мне вытер первую слезу.

Владимир Калиниченко



Серенада в заливе Шуберта

В заливе Шуберта не слышно серенад,
и в час ночной светло над Карским морем.
Лишь горизонта край сиренева —
там толщей льдов суровый остров сморен.

До навигации еще недели две.
Полярный день жемучжно-перламутров.
И все перемешалось в голове:
а может, на Земле повсюду утро!

Но наш радист, суровый реалист,
крутнул настройку опытной рукою,
и сквозь разряды, сквозь морзянки писк
к нам тихий голос прилетел с мольбою.

Он никому ничем не угрожал.
Казался голос этот слабым, робким,
но — колдовал,
но — волновал,
но — звал —
над морем птицы замерли и сопки!

Как будто заниматься стал рассвет...
Пел «Серенаду» Шуберта Козловский...
Пилот — и не жуир и не аскет —
покрепче затянулся папироской

и, помолчав, задумчиво сказал,
не обращая ни к кому, поналу:
«Простая песня, а берет слеза,
и чувствуешь к себе и к миру жалость...»

На слово не мастак, полярный ас,
он цену знал и дому и причалу...
Летели мы на юг,
и долго в нас
все «Серенада» Шуберта звучала...

1. Начало



Р. РОМА

ДВА РАССКАЗА О РАЙКИНЕ



Десятилетним ребенком он убежал в Александринский театр. Он проскальзывал в толпе под руками контролеров. Его вылавливали, тащили к выходу, но в глазах мальчишки горела такая мольба, он так широко открывал рот, готовясь к воплю, что контролеры оставляли его в покое. А потом привыкли и стали пускать на галерку.

Его черная голова с начала до конца спектакля торчала над бархатным барьером последнего яруса. Он навсегда запомнил манеру игры, интонации, облик прекрасных актеров Александринского театра: Певцова, Горин-Горяинова, Юрьева, Вольф-Израэль, Вивьена и Корчагиной-Александровской.

Однажды Юрий Михайлович Юрьев, уже в преклонном возрасте, был на спектакле у Райкина и зашел за кулисы поздравить его с успехом. Аркадий, тогда уже известный актер, стал вспоминать Юрьева в какой-то пьесе. Тот, изумленно подняв брови, сказал своим бархатным голосом:

— Помилуйте, друг мой, вы не могли этого видеть, вы тогда были ребенком!

— Да, мне было десять лет,— ответил Райкин,— но я видел почти все спектакли вашего театра, начиная с 1921 года.

Когда мальчик, потрясенный, ошарашенный, поздним вечером возвращался из театра один, со страхом пробираясь по переулкам, вдоль остывших стен домов, к себе, на Троицкую улицу, там его ждали неприятности. Отец драл за уши, не раз хватался за ремень, пытаясь отучить ребенка от такой ранней и непонятной страсти. Когда это не помогло, не велел опираться. Мальчик торчал на лестнице, пока дверь, наконец, не открывалась и тяжелый отцовский податальник не вталкивал его внутрь темного, душного коридора.

В комнате на кроватях сидели младшие сестры и молча глядели на него круглыми черными глазами, полными сна и страха. Мать, всегда сдержанная и молчаливая, бесшумно двигаясь по комнате, робко обнимала его, гладила жесткие волосы, поила молоком, укладывала спать.

Он долго не мог заснуть: все вспоминал и вспоминал стремительную походку, властный баритон, длинные, узкие глаза Певцова и двой страх за него, и радость, и восхищение его искусством. Он тогда не мог разобраться в своих впечатлениях, все делал на простейшее: этот плохой, этот хороший. И только позже он понял, что в раннем возрасте прошел настоящую школу вкуса и мастерства. Все, что делал впоследствии, он интуитивно примеривал к далекой вершине, открывшейся ему в детстве.

А однажды в Театр миниатюр пришла знаменитая Екатерина Павловна Корчагина-Александровская. Ее привели под руки, она уже плохо ходила, усадили в ложу, и Аркадий объявил публике:

— Сегодня у нас на спектакле присутствует Екатерина Павловна Корчагина-Александровская.

Весь зал встал и устроил ей овацию. Старая актриса медленно поднялась, низко поклонилась людям и произнесла тихим, но звучным голосом:

— Спасибо, родные, а я думала, что вы меня уже забыли. Спасибо, Аркаша, спасибо, дружок.

Она не знала, сколько раз заставляла плакать и смеяться маленького мальчика, следившего с галер-

ки Александринского театра за каждым ее словом и каждым жестом.

Вообще увлечение театром началось еще в Рыбинске, куда семья Райкиных переехала в 1916 году из Риги. Аркадию исполнилось пять лет, его сестрам Белле и Софье — два и три, а брата Максима тогда вообще не было. Они были беженцы. В то время не знали трудного иностранного слова «заквированные», знали горькое, точное слово «беженцы».

Они бежали во время первой мировой войны из Риги, где отец работал бракером по лесному делу в рижском порту на огромных лесных складах.

В Рыбинске первое время спали на полу вповалку и жили трудно, пока отец не устроился на работу под Рыбинском на лесопильный завод.

Все дети быстро перезнакомились, их было много вокруг.

Развлечений было мало, и кому-то из старших ребят пришла в голову мысль играть в театр.

Оборудовали сцену в дворцовом сарае. Занавес из старых мешков обшили елочными игрушками, сохранившимися у кого-то из мирного времени.

Блестящие шишки, сердца, бусы, звериные фигурки, шары и гирлянды сверкали, звенели, шелестели и побрякивали, когда раздвигался занавес. Было ошеломляюще красиво.

Шестилетний Аркаша приходил раньше всех, он вертелся среди участников, всюду совал свой нос, на все тарачил блестящие, любопытные глаза, без конца задавал вопросы и даже советовал. Он тоже хотел участвовать и все время просил принять его в игру.

Наконец, не выдержав натиска, ребята дали ему роль убитого купца в какой-то горбуновской пьесе. Никто эту роль не хотел играть, и Аркаша, счастливей, лежал на полу с кинжалом под мышкой. Вокруг кипели страсти, а убитый купец внимательно следил за действием широко раскрытыми глазами.

Спектакль заканчивался шумовым эффектом: на ниточке был привязан боевой винтовочный патрон, под ним ставилась свечка. К концу спектакля ее зажигали, раздавался громкий выстрел. Все — и актеры и зрители — сначала разбегались, а потом возвращались и искали дырку от пули, но так ни разу ее и не нашли.

В Рыбинске впервые Аркадий пошел в театр. Это было большое здание с многоярусным залом. Первый спектакль, который он увидел в жизни, был «Шантеклер» Ростана. Но больше поразило его то, что на сцене среди артистов, изображающих петухов и кур, сидел его друг Витя Голохвастов и, ни на кого не глядя, спокойно строгал паучок. Тогда впервые у Аркадия зародилась мысль, что он тоже так может. Он завидовал Вите из всех сил. Ему очень хотелось сидеть у всех на виду и строгать паучок.

Воображение Аркаши разыгралось. Ему хотелось играть петухов и кур, которые между собой разговаривали стихами, захотелось побывать там, где все необычно, странно интересно. У Вити во дворе жили две актрисы этого театра. Они и предложили ему строгать паучок.

Во время первой мировой войны театр в Рыбинске сгорел, несмотря на то, что стоял на берегу реки, впадающей в Волгу, и напротив городской канализации.

Рыбинск был театральным городом, и после пожара появилось много любительских трупп. Они играли в разных залах, и однажды Аркаша, подхватив сестер, отправился на детский спектакль. Две его крошечные сестры тоже были большими теат-

ралками. Дети ушли к пяти часам. Спектакль начинался в семь, а в девять вернулся с работы отец и, не застав дома детей, в ужасном волнении отправился на поиски.

Во время какой-то веселой песенки зрители услышали выстрелы и грохот. Время было тревожное, все повскакало с мест, кто-то завизжал, кто-то заплакал.

Дверь распахнулась, и в зал влетел отец Аркадия. Это он грохотал в дверь своими мощными кулаками, создавая впечатление выстрелов.

— Где мои дети? — кричал он.— Мыслимое ли дело играть в пьесы с пяти часов до девяти? Это же можно и взрослым людям задурить голову! Кто это выдумал балаболить четыре часа не сходя с места! А ну, марш домой!

Он схватил своих ревущих детей за руки, младшую взял под мышку и, возмущенный, ушел.

В 1922 году семья Райкиных переехала в Петроград. И когда Аркадию исполнилось тринадцать лет, с ним случилось несчастье.

Он любил кататься на коньках, и мать всегда тщательно проверяла, достаточно ли он тепло одет.

Покорно надевая все, что она велела, он на катке разогревался, постепенно снимал пальто, шарф, свитер и, наконец, оставался в легкой рубашке. Однажды он сильно простудился. Началась тяжелая ангина.

Потом все прошло.

Но через несколько дней острые боли в опухших суставах снова уложили мальчика в постель. Он бредил. Ему казалось, что кто-то черный, чужой все время стоит у его постели. Потом сдало сердце. Оно болело и замирало, как у глубокого старика. Мальчик спал, сидя в кресле: лежать он задохнулся. Мать подолгу смотрела на его желтое, исхудавшее лицо.

Врачи считали его обреченным. Но родители, шушукая и плача по ночам, приглашали все новых и новых врачей, лучших профессоров города. Вокруг исчезали вещи: в одной из двух комнат остался только шкаф среди голых стен. Больного надо было усиленно кормить, профессорам, которых приглашали на шестой этаж, надо было платить, а работал один отец. Работал с утра до вечера в двух местах, чтобы прокормить семью и спасти сына. Он был родом из города Полоцка, вырос в многодетной семье, где братья и сестры поднимались, как дубы, одним здоровей другого. Дед Аркадия дожил до девяноста лет и умер, танцуя на свадьбе. А отец Аркадия был широкоплечий, приземистый, с крупными, жесткими руками. Одним ударом открытой ладони он вдребезги колот грецкие орехи.

— Нечего болеть,— бывало, говорил он.— Надо встать и работать, тогда не будешь болеть.

Он считал больных ленивыми и виноватыми в своей болезни. Он был уверен, что болезни полностью зависят от самого человека.

И вдруг болезнь ворвалась в дом, как хозяйка. Всегда веселый и подвижный, мальчик лежал, боясь пошевелиться, чтобы не растрепожить боль, притихшую в суставах. Он много думал по ночам, сидя в темноте с открытыми глазами. И днем он думал, наблюдая за пауком, и не разрешал снимать в углу паутину. А паучок деловито строил вокруг себя маленькое серое солнце, коварно притаившись на самом виду, в центре своей страшной прозрачной ловушки. И Аркадий представлял себе, что его суставы опутал паутиной боли маленький злой паучок, что он подбирается к сердцу, трогая его своими мохнатыми лапами.



И тут он снова заговорил.

— Я помню английские стихи,— сказал он и начал читать Байрона и Бернса, очень твердо, не запынаясь. Потом глубоко вздохнул и умолк. Он устал.

Когда мы возвращались, Аркадий сказал мне:

— Какая беда! И какое тяжкое ощущение болезни! Ты знаешь, я вспомнил, как в детстве болезнь держала меня в постели. Я не мог пошевелиться от ужасной боли в суставах, сердце останавливалось. Я чувствовал, как оно останавливалось, понимаешь? И в это время ко мне приходили ребята из школы и хотели меня рассмешить. Но они не могли этого сделать, потому что не могли скрыть от меня свой страх и сочувствие.

Он никогда не забывал того далекого времени. Болезнь отложила отпечаток на всю его жизнь. Он сильно изменился. Много читал. Научился сосредоточенно думать. Неподвижно работать, когда трудоспособен только мозг, изобретающие целые спектакли, диалоги, монологи, когда мысль заменяет движение. Память воспроизводит самое яркое из того, что увидел и услышал, когда был здоров. Часто вспоминался Рыбинск. Лесопильный завод, куда отец однажды возил его, чтобы показать свою работу. Надо было ехать полтора часа на маленьком поезде, состоящем из паровоза и одного вагона. Аркадий запомнил громадные стройные бревна, рабочих в высоких сапогах с раструбами, вооруженных баграми с крючьями на концах. Они, как древние рыцари, двигались между бревен, подхватывали их крючьями и валили на конвейер, ползущий к блестящим на солнце круглым пилам. Пилы пели и фыркали, плескались белесыми опилками. Из круглых бревен получались плоские, гибкие доски.

Все это гремело, жужжало, повизгивало и шипело. Звуки были ритмичны, сливаясь в неслышащую шумную музыку. Пахло лесом, смолой, грибами, дождем... Вспомнил Аркадий, как ему захотелось показать все это сестрам. Он всегда любил делиться радостью. В один прекрасный день он повел обеих девочек на дощатую платформу заводской ветки, усадил в вагончик, и через полтора часа дети вышли из него к неширокому мосту. По нему надо было пройти над рекой, чтобы попасть на завод. Сестры устали, а маленькая все время присаживалась и пыталась заснуть. Она не привыкла к таким далеким прогулкам. Старшая была гораздо бодрее, но и она начала спрашивать через каждые десять шагов: «Скоро мы придем?», «А это далеко?». И наконец началось неизбежное: «Хочу домой».

Но вот закричала заводская калитка, и сторож спросил:

— Вы куда?

— Мы дети Райкина. Мы к папе, мы хотим посмотреть.

— Папы вашего здесь нет: он уже месяц, как работает в Рыбинске. А посмотреть, пожалуйста,— сказал сторож,— но только без прыготи, стойте на месте, а то разрежет вас пила на доски, будете звать.

Девочки громко заплакали: слово «разрежет» показалось им очень страшным.

Аркаша вспоминал, как успокаивал их, а самому было страшно из-за того, что отца не оказалось, а денег нет: ведь он рассчитывал обратно ехать с отцом. Подавляя грев, он сказал сестрам:

— Да что вы, дядя шути! Перестаньте реветь! Вы что, маленькие, что ли?

Он потащил их, всхлиplyвающих, дальше, туда,

Всю зиму приходили товарищи по школе. Они приносили книги, рассказывали об уроках и учителях. Они жалели своего друга, удивляясь перемене в его характере. Ни смеха, ни шуток, ни споров. Серьезно, без улыбки слушал он своих товарищей, как бы отгороженный от них какой-то стеной, только изредка задавал вопросы.

...Через много лет, сидя у постели искалеченного академика Ландау, Райкин пытался развеселить его. Но острое чувство горькой, непоправимой потери мешало ему. Ландау, недавно еще полный могучей энергии, ума и жизнелюбия, сейчас лежал на своей последней постели, не улыбаясь, изредка поводя глазами, бесконечно грустный, погруженный в себя, замкнувшийся.

Аркадий останавливался, у него перехватывало дыхание, он не мог взять себя в руки.

И вдруг Ландау, не поворачивая головы, глядя перед собой, спросил:

— Вы помните эти стихи? — и начал читать стихотворение Симонова «Жди меня».

Жди меня, и я вернусь,
только очень жди...
Жди, когда наводят грусть
жесткие дожди.
Жди, когда снега метут,
жди, когда жары...
Жди, когда других не ждут,
пожавив вчера...

Он прочел стихотворение до конца. Потом с трудом встал и вышел из комнаты неровной, прихрамывающей походкой. Все молчали. И жена Ландау, измученная Кора, и доктор Симонов, и Райкин, и я, рассказывающая это.

Через несколько минут Ландау вернулся и снова лег. Молчание длилось, и никто не в силах был его прервать.

где ходили рыцари с баграми, где гремели бревна и звонко визжала пила.

Девочки остолбенели, захлопнули рты, слезы их высохли...

Обратно шли, когда уже смеркалось. Маленькую пришлось тащить на руках. И тяжесть ее тела, и цепкость рук, обвивавших шею, и теплое, сонное дыхание у самого уха — все это явственно помнилось, как будто было сейчас.

Старшая все время отставала, ноги ее цеплялись одна за другую, глаза туманились, ее приходилось окликать. Тогда она, хмыка, догоняла брата.

Так они наконец дошли до платформы, и оказалось, что заводская ветка уже кончила работу, теперь первый рейс только утром. Аркадий явственно помнил ужас, охвативший его, когда он понял, что сегодня не сможет вернуться домой, а главное, привезти сестер. Что придется где-то в неизвестной черноте провести ночь и спать, может быть, здесь, на траве, у паровоза, похожего на самовар с трубой, что девочек нечем накормить! А они уже отчаянно голодные и все время просят хлеба.

Он понимал, что отец накажет его так, как никогда не наказывал.

И это будет справедливо.

Машинист оказался на паровозике. Мальчик стал умолять его ответить их обратно в Рыбинск. Слизывая слезы с губ, он уговаривал и уговаривал, поддерживаемый испуганным плачем сестер, пока машинист не сказал:

— Ну что с вами делать, садитесь.— И увез их в Рыбинск.

Так, лежа, он вспоминал и вспоминал. В неподвижности воображал себя скачущим на лошади или бегущим наперегонки с товарищами. Но стоило войти в комнату кому-нибудь из близких, он вскрикивал от боли, просил уйти—его нервы, поврежденные болезнью, делали его раздражительным, резким, нетерпимым. Он привык к одиночеству.

Но постепенно, медленно он начал поправляться. К весне, когда боль ушла, он, шатаясь, встал и оказался на голову выше матери. Ходить он не мог: за девять месяцев болезни ослабел.

Отец сажал его как маленького на спину и сносил вниз с шестого этажа во двор. Дети сбегались к нему, выросшему, а он пытался ходить на своих неповных, непривычно длинных, кахих-то новых ногах.

Когда уходило солнце, отец опять звал его на спину и нес обратно на шестой этаж, тяжело отдуваясь и останавливаясь на площадках.

Летом Аркадий почувствовал, как каждый день прибавляет ему здоровья. Он окреп и поправился. Осенью пошел в школу.

Уже взрослым человеком он встретил на Невском знаменитого профессора Ланга, который лечил его когда-то и считал безнадёжным.

— Неужели это вы? — с удивлением спросил старый профессор и, не удержавшись, добавил: — Неужели живы?

Аркадий был не только жив, он кончал в то время театральный институт, женился, чувствовал себя здоровым, был полон надежд, уже сыграл в театре при Эрмитаже роль глухонемого слуги в опере «Служанка-госпожа» Перголези, уже его учитель Владимир Николаевич Соловьев ждал от него многого и прочил ему большое будущее.

Жизнь продолжалась.

2. Как Райкин был официантом

Однажды, когда готовилась программа «Любовь и три апельсина», Райкин пришел в гостиницу «Астория» к писателю Массу и Червинскому, и они сразу же заспорили о будущем спектакле. В этом споре они затронули тему актерского перевоплощения: Райкин должен был играть, как всегда, несколько ролей. Пока они спорили, дверь острожно приоткрылась, и вошел официант Николай Иванович — пора было обедать.

Тогда Владимир Захарович Масс, сощурился хитроватыми, веселыми глазами, шутовски сказал:

— Аркадий, а вы могли бы сыграть официанта?

— Конечно,— ответил Райкин.

— Нет, не на сцене, а в жизни.

— Конечно, смог бы,— так же шутя повторил Райкин.

Неожиданно для всех официант снял свой белый форменный пиджак и сказал:

— Пожалуйста, попробуйте...

Райкин охотно надел пиджак, нащупал в кармане штопор и открывалку, перекинул через локоть салфетку, расчесал волосы на прямую пробору, выпустил на лоб черный чубчик, чуть-чуть задрал брови и, подойдя к зеркалу, стал себя разглядывать. По мере того, как он всматривался в свое странное отражение, ощущение легкой шутки прошло и его охватила тревожная неуверенность.

«Что же это я делаю? — думал он.— Ведь в театре, приподнятый над зрителем на полтора метра, я живу условной жизнью. Зритель верит мне лишь в условности театра. Но, играя не на сцене, а на одном уровне со зрителем, то есть в жизни, я должен быть достоверным безусловно. Я должен быть безусловно профессиональным официантом, точным до мельчайших деталей. А если меня видели по телевизору или на сцене! И вдруг узнают? Я буду выглядеть просто идиотом».

Он стал лихорадочно вспоминать официантов, которые его обслуживали, их характерную походку, ловкие движения, обычные вопросы. Он оглянулся. Все молча смотрели на него. Отступать было поздно, и он взялся за ручку двери. В коридоре Николай Иванович, посмеявшись, дал Райкину меню и назвал номер, который надо было обслужить.

Аркадий бодро проследовал по коридору, остановился у нужной двери и, хотя очень хотел повернуть обратно, все-таки заставил себя постучаться. Постылся: «Войдите».

Он сжал кулаки, чтобы успокоиться, потом решительно вошел, поздоровался, стал кончиком салфетки сбивать со скатерти крошки, поставил на стол прибор с солью, перцем и горчицей. Больше делать было нечего, и он остановился у стола в почтительной позе.

На диване сидели две пожилые дамы, живописно освещенные законным солнцем. Райкин протянул им меню, что-то посоветовал, чего-то не посоветовал. Они были увлечены беседой, обед заказывали небрежно. Правда, одна из них, сначала скользя по его лицу безразличными глазами, сразу снова посмотрела на него, на этот раз с интересом.

Его бросило в жар... Но через секунду глаза старой дамы потухли, и она о чем-то тихо заговорила со своей подругой. Да, они его не узнали... А возможно, им и в голову не пришло, что это



Райкин — могучая формула «этого не может быть» взяла верх.

Он принял заказ, не торопясь, с достоинством вышел и только в коридоре перевел дух. Там его уже ждали с веселым любопытством оба автора и официант, который сразу убежал на кухню заказывать обед.

Масс и Червинский с Аркадием вернулись в номер.

— Ну как? Кто там был? Узнали вас?

— Было очень страшно, — ответил Райкин. — Я весь дрожал.

Пока он рассказывал, официант сбегал на кухню и снова вернулся.

— Аркадий Исаакович, — сказал он, входя, — раз начали, давайте уж и несите обед, а то мне придется объяснять, что вы с лестницы свалились.

Он дал Райкину тяжелый поднос с обедом, и тот снова очутился в номере у двух пожилых дам.

Аккуратно разложив приборы и салфеточки, он разлил по тарелкам первое, прикрыл крышками второе, откупорил минеральную воду, забрал с окна пустую бутылку из-под кефира, поставил на стол хлеб, спросил, не надо ли чего еще, получил отрицательный ответ: «Спасибо, голубчик, не надо», — и вышел.

На этот раз он чувствовал себя более уверенным. «Кажется, все в порядке», — подумал он.

В коридоре у двери стояли уже трое официантов.

Странный поступок Райкина был для них развлечением. Они весело улыбались и переглядывались.

— Не хотите ли еще один номер обслужить? — спросил Николай Иванович и оглядел присутствующих, как бы присоединяя их к своей просьбе.

На Райкине еще был надет пиджак официанта, в котором звенели штопор и открывалка. Все сошло благополучно, и он расхрипелся.

— Давайте, попробую. Ведь кое-чему я уже научился.

Во втором номере все было иначе. По комнате

ходил высокий полный человек восточного типа. Когда вошел официант, человек остановился, удивленно и внимательно посмотрел на вошедшего черными гипнотическими глазами. Толстые брови его приподнялись, усы под круто загнутым носом зашевелились.

«Э-э-э», — подумал Райкин, с трудом сохраняя невозмутимый вид, — здесь будет труднее...» — и сразу оробел, но взял себя в руки.

— Вы меня вызывали? — спросил он, как Мефистофель у Фауста, и подошел к столу самой независимой походкой, на которую был способен в эту минуту.

— Вас? — переспросил клиент и сел за стол, не сводя изумленных глаз с бледного райкинского лица.

Между тем Райкин, все время чувствуя на себе пристальный взгляд, проделал те же пассы, что и в предыдущем номере: смахнул салфеткой со скатерти, хотя на столе и так было чисто, установил посередине поставец с солью, перцем и горчицей, взял с пола у батареи пустые бутылки из-под боржоми и одну из-под сухого вина.

Усатый неподвижно сидел за столом и провожал каждое движение официанта своими яркими медленными глазами.

— Что будете заказывать? — обмирая, спросил Аркадий, и ему показалось, что слова его застряли в глотке.

Человек молчал.

Райкин откашлялся и повторил свой вопрос, протыгивая меню.

— Простите, дорогой, но вам никто не говорил, что вы паразитично похожи на...

— Да, говорили, говорили, как же. Меня здесь все так и называют.

Человек смотрел серьезно, недоверчиво и не давал бедному «официанту» ни секунды передышки.

— Но голос, голос! Это удивительно! Скажите, дорогой, а вы сами его видели? — спросил незнакомец, продолжая как бы ощупывать лицо Райкина цепким взглядом слегка прищуренных глаз.

— Нет, на сцене не видал никогда, — ответил Райкин и сказал сущую правду. — Нет никакой возможности, — добавил он и тоже не солгал.

— Обязательно посмотрите, обязательно!

— Постараюсь, — ответил Райкин и пошел к двери, чтобы скрыть неуместную улыбку: он все время чувствовал на себе сверлящий спину острый взгляд усатого клиента.

Потом он принес заказанный обед, и усатый снова завел свою волюнку про сходство:

— Вы себе представить не можете, как вы на него похожи! И черные волосы, и седеющая прядь, и глаза, и выражение лица, и голос у него такой своеобразный, и у вас, понимаете, тоже...

Райкин заметил, что переминается с ноги на ногу, как в школе у доски, когда плохо выучен урок, такое далекое воспоминание вдруг промелькнуло у него в голове.

Наконец клиент опустил глаза в тарелку и с выражением голодного нетерпения стал резать бифштекс.

Райкин понял, что победил, быстро повернулся, чтобы уйти, но голос за спиной остановил его:

— Дорогой, давайте рассчитаемся, а то я спешу. — Он рассчитался, щедро дал на чай и добавил: — Вот вам еще деньги на два билета, обязательно пойдите, посмотрите, я вас уверяю, дорогой, просто со стула упадете, когда увидите.

— Спасибо, — ответил Райкин, — денег мне не надо. Я обещаю вам, что обязательно буду на первом же представлении.

И опять он был честен и сказал правду.

В коридоре Райкина ждали все официанты и оба писателя.

Молча отдал он пиджак с открывалкой, штопором и деньгами.

Только в номере у Массы и Червинского он смог произнести:

— Это была просто пытка.

На другой день вечером на спектакле, привычно распахнув занавес, Райкин быстро вышел на авансцену, начал говорить, но, как бы поперхнувшись, на секунду остановился, снова взял дыхание и продолжал свой монолог.

В первом ряду он сразу увидел знакомые усы и пристальные черные глаза. Его вчерашний клиент сидел, скрестив руки на груди, и смотрел на него, не мигая.

Весь спектакль Аркадий старался, чтобы взгляды их не встретились. Предупрежденные актеры прильнули к дырочкам и щелкам, следя за этой дуэлью.

На последнем поклоне Райкин не выдержал и, так же пристально глядя в глаза усатому, заговорщицки крепко ему подмигнул, отчего тот откинулся на спинку стула, открыл рот, вскопился, стал что-то быстро рассказывать своим соседям, и те, в свою очередь, усталились на Райкина.

А зрители так и не поняли, почему артист вдруг подмигнул и засмеялся.

Вот какой был странный случай.

Михаил Пляцковский



Голос

Сложил я трубочкой ладони,
Я крикнул в гулкой тишине —
И трижды эхо молодое
Мой голос возвратило мне.
Три повторенья, три оскопка
Упали рядышком в траву.
Я не узнал себя нисколько,
Вновь бросил голос в синеву.
Он над рекою покачался
И, прилетев, как бумеранг,
Чужим опять мне показался,
Чужим — и загремел в овраг.
Охотно откликались даги.
А звуки горла моего
Других людей напоминали,
Собой не знача ничего.
Вот снова эхо раскололось,
Рассыпалось над головой...
Мне так найти хотелось голос —
Неповторимый. Личный. Свой.



Электрички спящие фары
Промелькнули за чащей лесной.
Голубое свечение Стожары
Опрокинули надо мною.

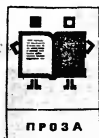
Так же доски на мостике шатки,
Те же бабки сидят у ворот.
И опять с танцевальной площадки
Вальс «Амурские волны» плывет.

Не случилось особого чуда —
В гости к юности вновь угодил,
Сам ушел ведь когда-то отсюда,
А как будто бы не уходил.



Неравнодушен я к баяну,
Кривить душою нет нужды.
Вовек слушать не устану
Его певучие лады.

Баяная тьма по всей России,
Встречаю их и там и тут:
Как будто соловьи шальные
Под каждой кнопочкой живут!



Анатолий
ГОЛУБЕВ

ЧУЖОЙ ПАТРОН

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

15

Дверной звонок почти не работал. Но даже когда раздавались его жидкие вавизги, квартира не подавала никаких признаков жизни. И если бы сегодня утром Воронов лично не договорился с Мельниковым о встрече и тот не предложил прийти к нему, четко, словно на уроке по фонетике, продиктовал адрес, Алексей мог бы подумать, что ошибся.

Он, начиная злиться, уже хотел повернуть обратно, когда мягкий голос хозяина раздался на лестничной площадке.

— Тысячу извинений, товарищ Воронов! В магазин решил сбегать, а то в холодильнике шаром покати! Долго ждете?

Мельников, подхватив покупки под мышку, ловко открыл скрипучий замок и первым нырнул в квартиру.

Из прихожей, заставленной коробками, футлярами, рамами двух старых велосипедов, увешанной по стенам вымпелами всех цветов и размеров, они перешли в такую же захламленную комнату, служившую одновременно и спальней и ружейной мастерской. В отличие от других известных Алексею домов спортивных знаменитостей — и это удивило Воронова — нигде не было никаких спортивных трофеев. Если не считать с полдюжины подарочных ружей, живописно развешенных на стене вокруг небольшой, но с густым длинным ворсом медвежьей шкуры.

Пока хозяин относил покупки на кухню, Воронов внимательно осмотрелся. Ружья, висевшие на стене, при ближайшем рассмотрении оказались совсем не однородными — среди гладкоствольных стендовых экземпляров висело два нарезных карабина и в изумительном состоянии «Бартель» с двумя — что ныне немалая редкость — нарезными стволами.

«Калибр 9,3 миллиметра. Да еще, судя по всему, патрон самый мощный, — прикинул Воронов. — Дорогая вещь! А вот почему верхний крюк, на котором тоже висело ружье, пуст? Можно мимоходом и спросить!»

Все оружие объединили разноформатные дарственные наклейки, на которых фамилия «Мельников» с различными эпитетами бросалась в глаза даже издали.

Игорь Александрович вернулся в комнату возбужденным. Увидев, что Воронов рассматривает ружья, одобрительно крикнул.

— Да! Старая любовь — собираю достойные железки. Тройничок вы уже непременно отметили!

Воронов кивнул.

— Сделано еще до первой мировой войны! Пока штуцера в обиход не вошли. Всего штук двести пятьдесят по миру таких наберется. Состояние — будто вчера мастер клеймо поставил. Этот карабин любопытен калибром — «222 Ремингтон Магнум». Новое увлечение — малый калибр, помноженный на высокую скорость пули. — Мельников сбросил с дивана кучу нестиравших рубашек, видно, приготовленных для прачечной, и развалился. — В теле зевря



Рисунки
Г. НОВОЖИЛОВА

Окончание. Начало см. в № 9 за 1974 г.

срабатывает так называемый эффект опрокидывающей пары. Зверя, независимо от веса, валит болевым шоком, да и дыру прошибает с блюдец...

Воронов отметил, что в голосе Мельникова прозвучал жестокий восторг перед убойной силой оружия. Алексей, наверное, не мог скрыть своей реакции. Мельников стучался.

— Ну, а там стандартный «Браунинг»... Это десятизарядный тульский карабин. Любопытен номер — «0001», — самодовольно закончил Мельников.

Воронов, продолжая рассматривать развешанное оружие, внезапно спросил:

— На свободном крюке не «Меркель» ли висел случайно? Тот, что вы Глушко подарили? Кстати, Игорь Александрович, вы с ней недавно крупно повздорили?

Воронов ждал любой реакции, кроме этой, — Мельников, будто удар грома настиг его в открытой степи, инстинктивно втянул голову в плечи, но лишь на мгновение, потом удивительно спокойно спросил:

— Алексей... Простите, запомятовал ваше отчество?

— Дмитриевич...

— Так вот, Алексей Дмитриевич, будьте добры ответить и вы мне теперь на один вопрос: сколько раз мы с вами обстоятельно беседовали?

Воронов понимал, что отвечать не стоит, поскольку за таким странным поворотом разговора совершенно явно скрывались подвохи.

Но обычное человеческое любопытство — а что выкинет Игорь Мельников теперь — победило, и Алексей ответил:

— По меньшей мере трижды. Считая охоту в Лексатие.

— И каждый раз спрашивали вы А я безропотно отвечал...

— Положим...

— Так вот, уважаемый Алексей Дмитриевич. Мне надоело удовлетворять ваше любопытство. Слова эти, хамские по сути, были произнесены самым изысканным тоном. — Я ответил вам на все ваши вопросы, касающиеся Мамлеева. И даже больше. Но я — и запомните это, пожалуйста, — наотрез отказываюсь комментировать измышления, которые, по моему мнению, не имеют никакого отношения к мамлеевскому делу.

Воронов собрался было возразить, но Мельников не дал ему открыть рта, повысив голос почти незаметно, но властно. От прежней вежливости и даже изысканности не осталось и следа.

— Да! Высказываете из пальца! Что здесь висело? Куда ушло? Как отшучусь к Глушко? Простите, я считаю это своим личным делом. Понимаю, что веду себя, быть может, не так уважительно, как того требует закон, но мое терпение во времена первых наших встреч дает мне право сказать, что вы перешли границы допустимого. Мне, наверное, надлежало вам это сказать по телефону, когда улавливались о встрече, но я не знал причин вашего появления. — Мельников пожал плечами и посмотрел прямо в глаза Воронову.

Алексей резко встал.

— Это ваше право. До свидания.

— И еще один совет. Не тратьте время зря и не тревожьте людей напраслину...

— А вот это уж мое право. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы установить подлинную причину трагической смерти вашего друга. Если после всего вами сказанного вы еще можете называть себя другом Мамлеева...

Воронов открыл дверь и медленно стал спускаться по лестнице.

Уже по выражению лица майора Кириченко было ясно, что оперативка не предвещает ничего хорошего. Кроме общепризнанного тягостного характера заместителя начальника отдела, все знали, что оперативки, которые он проводит в отсутствие своего начальника, отличаются особой остротой и резкостью.

Воронов проскользнул в кабинет начальника в последнюю минуту.

Майор Кириченко посмотрел на него осуждающе, и Воронов понял, что сегодня именинником будет он.

Пока Кириченко принимал общие оперативные доклады, Алексей пытался собраться с мыслями, сосредоточиться, сделать из всего виденного и услышанного достойный вывод с солидными аргументами. Но достойного не получалось — гущая обстановку, как иногда любил делать сам Кириченко, если порученное дело не вытцовывалось, Воронов считал унизительным для себя и вредным для службы.

— Товарищ Воронов! — как ни ждал Алексей прямого обращения, оно прозвучало для него совершенно неожиданно и застало врасплох. — Доложите по вашему разбирательству!

— По делу Мамлеева... — начал он.

— Формулируйте свои мысли точнее. Поясните — не все товарищи в курсе: «Дело об убийстве Мамлеева»...

— Я не готов утверждать столь категорично...

Но Кириченко опять не дал договорить:

— Когда же вы будете готовы, товарищ Воронов? Сколько дней прошло?

— Сегодня восьмой день...

— И что же? А то же, сам себе ответил Кириченко, — никакого результата!

— Я еще не готов ответить по существу точно и определено. Дело... — он поправился, — случай... по комнате прошелся смехом, — весьма запутанный.

— У нас не бывает распутанных случаев. Задача же ваша проста до предела: вас просили разобратись, несчастный ли это случай или убийство. Сегодня уже восьмой день, а вы... Зайдите ко мне после оперативки вместе со Стуковым, поговорим... Он сказал это тоном ученика старшего класса, который с пренебрежением объявил первоклашке, что поможет ему решить трудную задачу.

Воронов вскинулся, но сдержался. Сел, даже забыв ответить «слушаюсь». Стуков протянул под столом руку и тихо шепотом коленом Воронова. От этого жеста Стукова Алексею стало еще более не по себе. И только голос Петра Петровича несколько успокоил: «Удивительный человек. Обладает исключительным даром, ничего не решив, обидеть человека ни за что ни про что!»

Сидя в приемной после оперативки, они не обмолвились ни словом. Стуков, предвещавший всю сложность разговора, хмурился, тер свой большой открытый лоб и только у самой двери кабинета Воронов:

— Ты посмелее... Докладывай, как есть...

Не считая двух срочных звонков по внутреннему телефону, отвлечших Кириченко, он прослушал сообщение Воронова внимательно, не перебивая. Алексей рассказал о возможных подходах к решению проблемы, о сложном сплетении человеческих характеров, наличии разных версий о причине смерти... Рассказывал спокойно и обстоятельно.

— Ерундой занимаетесь. Ваше мнение, товарищ Стуков? — заместитель начальника отдела повернулся к Стукову вместе с креслом.

— Не согласен с вами, товарищ майор,— спокойно, словно и не возражая, ответил тот.

Лицо Кириченко вспыхнуло — больше всего он не любил, когда подчиненные не разделяли его точку зрения. Об этом знали в отделе и старались не делать быка красной тряпкой: находили такие формы выражения несогласия, которые поначалу выглядели как бы подтверждением точки зрения Кириченко. Хотя бы внешне.

Воронов взглянул на Петра Петровича.

«Зачем дразнить? И так понятно, что начальство во гневе. Эх, Петр Петрович!»

— Объяснитесь,— глухо приказал Кириченко.

— Мне кажется, Воронов провел очень большую работу. Гораздо большую по объему, чем можно было выполнить за это время.

— Вы достаточно хорошо знакомы с работой товарища Воронова, чтобы утверждать столь категорично! — И без того маленькие, глубоко сидящие глаза Кириченко как бы закрылись совсем.

— Достаточно. Мы неоднократно советовались. Вместе обсуждали детали. И потому беру на себя смелость утверждать, что история на стенде «Локомотива» не простая случайность.

— Так определенно не высказывается даже работник, которому поручено вести расследование.

— Очевидно, он основывается лишь на полностью проверенных и подтвержденных данных. Я же больше на интуиции.

— Ах, на интуиции! — Кириченко даже не пытался скрыть иронию. — Зарплату у нас начисляют не за интуицию. И ответственно перед народом мы тоже несем не интуитивную, а вполне реальную...

— Одно с другим в противоречие не входит, Иван Петрович,— упрямо повторил Стуков.

Воронову стало не по себе, поскольку причиной этого спора был сам.

— Иван Петрович, я хотел попросить руководство дать мне довести расследование до конца. Жизнь человека, как бы хорош или плох он ни был, стоит того, чтобы живые разобрались в ней как следует.— Воронов просительно посмотрел на заместителя начальника отдела.

— Вы меня не агитируете. Здесь не избирательный участок! И не благотворительное учреждение. Нам совершенно не безразлично, чем занимается сотрудник столько времени. Кстати, опыт уже поручавшихся товарищу Воронову дел показывает, что он не всегда с пользой тратит отведенное время. Кириченко сделал паузу, упиваясь произведенным эффектом. Намек на прошлые неудачи Воронов воспринял болезненно и поморщился: увы, упрек был справедливым.

Когда они вышли в коридор, Стуков сказал:

— Надо дотянуть до прихода начальника отдела. С этим каши не сваришь.

Воронов, подавленный и растерянный, только пожал плечами.

— Странно, вы совсем не п-похожи на сыщика. Я бы принял вас за обыкновенного автора.— Он крепко пожал руку.— И я вас п-прошу немногого п-подождать, п-побегаю, п-пошарю где-нибудь свободный уголок. Ведь разговор, наверно, должен б-быть совершенно секретным?

Он вернулся почти тотчас.

— П-порядок... Нашел...

Воронов поднялся за Бочаровым на четвертый этаж в маленькую комнату, едва вмещающую два стола. На полу валялись обрывки газетных полос, столы были завалены гранками, перечеркнутыми вдоль и поперек рукописями. На окне стоял пузатый графин с водой. Стены сплошь заклеены аппликациями из различных журналов, заголовками и рисунками.

— Не обращайте внимания на беспорядок,— махнул рукой Бочаров.— И простите нас. Всегда авралы...

— Я хотел поговорить с вами о Мамлееве,— начал Воронов.— Что вы думаете об этой истории? Лицо Бочарова сразу стало серьезным. Перед Вороновым теперь сидел совсем не такой уж весельчак и балагур, как показалось на первый взгляд, а человек собранный, рассудительный, такой, каким Алексей представлял его себе, читая в спортивной газете яркие, полные психологической динамики очерки, подписанные «С. Бочаров».

— Ну, слушайте,— начал Бочаров, будто готовился к разговору давно и долго.— С журналистской точки зрения история занятная... если бы не смерть Александра. Куда более занятная, чем сам Мамлеев. Я его знаю давно. Отношусь к немногим из числа пишущей братии, которые любят этот довольно громкий на слух, но зрелищно мало привлекающий вид спорта. Когда-то намеревался о Мамлееве писать книгу. Словы у него хватят, чтобы сразу же двухтомник выпустить, а вот человеческих ценностей, как оказалось, трудновато набрать на обычную информацию. Случается в спортивной жизни и такое.

— Вы помните случай с Прокофьевым, который привел его в больницу?

— Имеете в виду чужой патрон? Нащупываете параллели! А почему бы и нет? — У Бочарова была привычка говорить вслух с самим собой, как бы игнорируя собеседника. Манера эта выработалась долгими часами работы за письменным столом, когда человек остается один на один с бумагой.— Но ведь если чужой патрон, то обязательно должен быть не только человек, кому это выгодно, но и человек, который подложил его Александру. Впрочем, это может быть одно и то же лицо.

— Вы логично рассуждаете, Сергей Абрамович. Мне бы хотелось узнать, кто подложил патрон Прокофьеву.

— Свиридов. Был такой стрелок. Сейчас работает на кафедре физкультуры одного московского вуза. То была глупая и злая штука. Шутка — и не более.

— Меня подмывает спросить: кто мог бы выполнить роль Свиридова на этот раз? Скажем, тоже ради шутки.

— Не спрашивайте, не знаю. Но признаюсь — думал. И ничего не придумал. А вот приношу, почему никак не могу нащупать концы, пожалуй, открою. Все дело в Мамлееве. Человек он был странный.

— О чем вы говорили с ним в канун отборочных? — Естественно, о самих отборочных, о планах на Игры, о шансах Мамлеева, высоких, как никогда. Практически, по моему разумению, соперник с именем у него только один — Родони. Человек честный и очень спортивный, хотя и из Казахстана.

17

Портретный журналист Сергей Бочаров был последним, кто виделся с Мамлеевым вечером накануне несчастья. Это Воронов знал точно. Сама по себе фигура Бочарова казалась малоперспективной для расследования. И если он в данный момент интересовал Воронова, то лишь потому, что его упоминал Стуков: именно Бочаров рассказывал о случае с чужим патроном, ранившим в свое время Прокофьева.

Бочаров встретил Воронова у входа в редакцию «Советского спорта».

— Кое-что о Родони слышан.
— Американец,— продолжал Бочаров,— которого Александр всегда остерегался, плюнул на изуродованный, однообразный труд стрельки и окунулся в сладкую жизнь. Кончил выступать. И так, остался Родони. Весь вечер на кухне у Мамлеева мы сочиняли интервью. Хотелось написать так, чтобы не обидеть Родони, но и показать, что мы совсем не боимся соперника.

— Как оценивал свои шансы в дуэли с Родони сам Мамлеев?

— Незмеримо выше, чем я. И даже выше, чем Родони. Надо сказать, что они относились друг к другу с симпатией. Родони сам признавал Сашкино высокое мастерство. И первым поздравил его с олимпийским серебром.

— В тот вечер не показалось ли в настроении Мамлеева, в его поведении что-нибудь подозрительное?

— Отнюдь. Он, наоборот, был в хорошем настроении. Я могу судить хотя бы по тому, как охотничье с ним редко случалось, он рассказывал о поезде в Америку... Я не следовал... Но тем не менее я склонен думать, что Прокофьев к этой трагедии как-то причастен. Вам не кажется смешным мое пинкертонство?

— Отнюдь нет,— откликнулся Алексей.— Более того, ваше заявление весьма интересно. Пожалуй, вы единственный, кто что-то утверждает конкретно...

— Не утверждаю, а высказываю предположение! Прошу принять с поправкой,— шутливо закончил Бочаров.

Воронов поддержал шутку.

— Принимается с поправкой.

Оба рассмеялись.

— А в каком состоянии интервью с Мамлеевым о Родони?

Бочаров пожал плечами.

— Я выполнил свой долг перед Александром. Материал сделан и сдан в секретариат. Добавлю врезку о смерти, и последний разговор будет рассматриваться как добрая память о парне.

— Неплохая идея,— согласился Воронов.

Проговорили еще полчаса, и Алексей убедился, что Бочаров — человек действительно толковый и он, Воронов, может располагать им в случае, если понадобится какая-то специфическая информация.

— Не возражаю. Боюсь только, что вы сами не согласитесь,— сказал Бочаров, когда они вновь вышли из редакции.

— Почему же? — поинтересовался Воронов.

— Инициатором шуточки с Прокофьевым по зеленой глупости был начинающий спортивный журналист Сергей Бочаров.

Боту начальнику отдела обстановку, тот с самым заинтересованным видом выслушал, одобрил и, главное, поддержал все более кристаллизовавшуюся версию с чужим патроном.

Воронов произвел тщательный подсчет боеприпасов, привезенных в последний раз Карди, и его насторожило несоответствие их количества. По прикидке оказывались лишими две пачки. Целых пятьдесят патронов. Последние три дня он только и делал, что разбрасывал по клеточкам разграфленного листа номера пачек с патронами да стрелкой отмечал пути, от кого к кому они ушли.

В последнем разговоре с Глушко он узнал, что Галина почти рассорилась с Мельниковым из-за одной пачки патронов. Мельников требовал издать пачку патронов, которые, по словам Глушко, он якобы ошибочно отдал ей. И когда она сказала, что передала эту пачку Иосику, Мельников взорвался. Он требовал, чтобы Глушко немедленно отдал пачку с Иосику и забрала у него пачку. Немедленно! Самое любопытное, что свою настойчивость и плохо скрытое волнение, не оставшиеся без внимания Глушко, он прикрывал его, вороновским, именем: «Нужно для следствия!»

«Правильно. Нужно,— рассуждал Воронов.— Но почему именно эта пачка так необходима Мельникову?»

Мельников был куда спокойнее в других случаях, когда нервничал Воронов, понимая, что с каждым днем патроны распыляются и все меньше шансов собрать остатки.

Иосик не отрицал, что пачку действительно отдал ему Глушко. Не отрицал и то, что патроны продавал Савельеву, который уезжал на охоту в Нальчик и хотел пополнить свой боезапас. Домашний телефон Савельева долго не отвечал, пока однажды тихий старушечий голос не объяснил, что Андрей Семенович улетел сегодня утром на Кавказ. Вот почему Воронов оказался в этом самолете. Завтра начиналась охота, и, если она будет удачной, Воронов недосчитается многих зеленых цилиндров.

Самолет пошел на посадку в начале третьего ночи. Воронов был измотан не только болтанкой и ночным перелетом, но и тревогами, которые сменяли одна другую: «Вдруг Савельев уже на охоте и совсем не на Белой реке, а в последнюю минуту передумал! Вдруг он истратил эти патроны раньше, хотя времени оставалось обрез, или уступил их кому-нибудь из своих многочисленных знакомых?»

У трапа его никто не встретил, но едва он вошел в забитое людьми здание аэропорта — погода здорово перетряхнула утвержденное расписание, — в динамики раздалось:

— Пассажира Воронова, прибывшего рейсом 776 из Москвы, просят зайти в комнату дежурного по аэровокзалу.

В комнате его ждал капитан милиции.

— Капитан Савченко. Как долетели, товарищ лейтенант?

— Извините, что заставил ждать. Авиация! — Воронов виновато развел руками.

Савченко понимающе улыбнулся.

— Знакомая картина. По три дня отсюда улететь иногда не можем... Машина ждет. Установлено, что профессор Савельев на Белой реке. Охота назначена на завтра... Он поправился, посмотрев на часы: — На сегодня! Выезд в шесть.

«Волга» стремительно проскочила улицы города, потом вылетела на шоссе и, обогнав редкие, запоздалые такси, понеслась на большой скорости.

От Нальчика до Белой реки оказалось рукой подать — километров десять. Заложив несколько ли-

18

Самолет нещадно бросало, словно его испытывали на прочность. Воронов вообще относился к авиации с опаской и недоверием, предпочитая купе скорого поезда. Но тут был особый случай: счет времени шел на минуты.

Рейс был поздний. Самолет прибывал в Минеральные Воды по расписанию в час ночи, однако, судя по тому, как далеко начали обходить грозовой фронт, опоздания не миновать. Если прибавить задержку во Внукове, как раз и получится, что Алексей может не успеть к началу охоты.

Пожалуй, Воронов никогда не летал на охоту так далеко, так спешно да еще без всякой амуниции. Когда после обеда он должен был выдвигаться на ра-



хих выраженья на поднимающейся серпантином дорожке, «Волга» замерла у входа в большой, альпийского типа охотничий дом. Все окна глухо темнели, лишь в одном светилась настольная лампа. У входа их встретил высокий грузный мужчина в охотничьей куртке и сапогах.

— Начальник хозяйства Шота Лабжанидзе, — сказал он с грузинским акцентом. — Прощу вас. Комната приготовлена.

Они вошли в большой холл, в центре которого стояло огромное чучело кавказского зубра и висели по стенам отлично выделанные головы туров, косуль и оленей.

— Скажите, Савельев сегодня не стреляя?

— Нет. Сегодня легли поздно. Андрей Семенович к нам иногда заезжает. Дорогой гость. Было бы вспомнить. Он нашего бухгалтера, можно сказать, от смерти спас. Великий хирург! — Спохватившись, что говорит лишнее, спросил: — А вы с нами завтра в горы пойдете? Мы на всякий случай экипировку приготовили.

— Спасибо. Заманчивое предложение. Раз уж пошел к вам...

Попрошавшись с Савченко и Шота, Воронов, прежде чем лечь спать, примерил сапоги, куртку и штаны и остался доволен, что все оказалось впору. Вставать утром для Воронова — всегда мучение. Рано — двойное. Он просыпался без будильника, и вставал с легкой дрожью нетерпения, лишь когда предстояла охота. Но в этот раз его разбудили.

— Подъем! — громким басом скандовал Шота. — Все уже за столом.

Быстро одевшись в охотничий костюм, Воронов спустился вниз, в большой зал, целиком занятый длинным широким столом. За ним сидело человек пять. Двое то подходили, то уходили куда-то в задние комнаты.

Воронов громко поздоровался со всеми. Шота пригласил к столу. Напротив оказался Савельев — Воронов легко узнал профессора по точному описанию Мельникова и Иосика. Савельев, видно, рассказывал какую-то веселую историю, и приход Воронова прервал его.

— Так вот я и говорю, — продолжал Савельев, — гость — это как перелетная утка, ее бьешь-бьешь, а она все валом валит!

Когда закончили завтрак, Шота подошел к Воронову.

— Как поступать дальше?

— Как планировали. Ломать ничего не надо. Я только переговорю с Савельевым... Андрей Семенович, можно вас на минутку? — Воронов выбрал момент, когда остальные охотники принялись за подготовку снаряжения. — Я из московского уголовного розыска. Прилетел специально к вам. По делу Мамлеева.

Белесые брови Савельева вздернулись.

— Да, я его оперировал.

— Я не по поводу операции, Андрей Семенович. Я по поводу патронов «Родони». Вы брали в четверг патроны у Иосика?

— Брал, — удивленно согласился Савельев. — Что-нибудь неладно?

— Как вам сказать... Есть подозрение, что патроны «Родони» послужили причиной несчастья...

— Думаю, скорее оружие, — убежденно произнес Савельев, — впрочем, вам виднее. А что, собственно, вы хотите от меня?

— Хочу, чтобы отдали мне «Родони», которые взяли у Иосика.

— А стрелять сегодня чем я буду? Пальцем? — воскликнул он, но, видя невозмутимое лицо Воронова, спохватился. — Э, да что я говорю! Конечно,

раз для дела надо. Только вот одну пачку я подарил Шота...

— Надо взять обратно.

— Подарок-то? — Савельев напустился. — Ладно уж! Как я не хотел ехать на эту охоту! Чувствовал, что все пойдет кувырком!

— Не пойдет, Андрей Семенович. Отдайте мне патроны и, если не обиделись на меня вконец, возьмите с собой — до вечера поохочусь с вами! Только о причине приезда пусть другие не знают. Договорились?

— Охотиться-то, пожалуйста, с большой радостью! А вот патроны!..

— Андрей Семенович, надо. Только почему у вас две пачки «Родони», когда должна быть одна?

— Одна из старых запасов. Ее и отдал Шота, новая — у меня.

— Откуда такая уверенность?

— Красный картон на обертке стоит. Приметная, — засмеялся Савельев.

Через несколько минут он вернулся в комнату Воронова и положил на стол две зеленые коробки «Родони». Одна из коробок была помечена жирным красным крестом. Воронов смотрел на него и никак не мог вспомнить, где он видел такой же крест и когда. Вошел Шота.

— Прощу вниз. Машины готовы.

Воронов сидел в «газике» рядом с Савельевым. Горная дорога была неровной, и колеса гудко стучали по корням, качаясь проплывавших рядом грабов, пассажиров подбрасывало к брезентовой крыше, и приходилось держаться одной рукой за трубчатые перекрестия, а другой изо всех сил упираться в сиденье.

Когда стрелки вышли на склоне отрога, поросшего вековыми еловыми зарослями грабами, а загонщики отправились в обезд, Савельев взял Воронова под руку.

— Если не секрет, есть у вас какие-нибудь предположения? Все Мамлеев из головы не идет. Мы, хирурги, привыкли к крови... А вот с такими последствиями, сами понимаете, редко приходится иметь дело.

— От вас не скрою, Андрей Семенович. Пока ничего определенного сказать нельзя. Есть мнение, что это не случайность. Экспертиза оружия ничего не дала. Вот, скажем, ваш «Пердеш» может разлететься?

— Ну уж нет. Он сработан на совесть!

— А если вместо пороха взрывчатку заложат?

— Тогда и дом взорвать можно! Что же, Мамлеев глаз не имел или редко патроны хорошие в руках держал? С его барского стола даже мне крохи перепали. Не скрою. Люблю «Родони». По мелкой птице лучше стеновой «восьмерки» ничего не придумаешь...

Шота не дал договорить Савельеву и поманил рукой — надо двигаться по номерам. Первый гай шел по склонам ущелья, там, где грива круто обрывалась к реке. Едва стали по местам, недолгая тишина разорвалась криком трубы и гортанным «О-о-эй-эй!». Потом к голосам прибавился лай собак, что означало — зверь в поле зрения загоня.

Воронов, волнуясь, сжимал цевье ружья, всматриваясь к кусты напротив и изредка кося глазом на Савельева. Кабан выскочил внезапно и на полном ходу пошел на савельевский номер. Его стремительный бег так увлек Воронова, что он не заметил, как два небольших подвинка, мелкой рысцой вышедших напротив, снова юркнули в заросли.

А кабан шел на Савельева. Дважды разрядился «Пердеш», и кабан — потом выяснилось, что это была свинья, — зашуршав листвою, уткнулся в траву прямо у ног Савельева. Профессора шумно поздравил



с почином. Сделав еще три гая, вернулись в гостиницу, добыв трех кабанов. Двух взял Савельев, одного — Шота.

До отправления самолета оставалось мало времени, а дорога предстояла до аэропорта дальняя. Капитан Савченко уже около часа томился на крыльце. Попрощавшись с Савельевым и Шота, Воронов переоделся и, прихватив свой портфель, порядком потяжевший от патронов, сел в машину, когда вышел одетый в пальто Савельев с зачехленным ружьем в руках. За ним шел растрепанный Шота.

— И не уговаривай: ты меня знаешь. Я упрямый, как зубр. Товарищ Воронов, билетик, надеюсь, достать сможете? Мне уже не до охоты. Да и хватит — постарай сегодня славно!

Воронов с благодарностью посмотрел на профессора — ведь он мог понадобиться уже завтра.

...Когда Воронов нес обе пакки на экспертизу, он вспомнил, где видел такой же крест на коробке. Он вернулся и, достав сумку Мамлеева, проверил. Точно. На одной из сложенных пустых коробок из-под «Родони» стоял аналогичный крест.

«Торговая метка? Но ведь патроны никогда не были в магазине. Они доставлены с фабрики, где Родони — хозяин... Право, я становлюсь шизофреником. Подумаешь, крест. А если он стоит на тысячах таких же пачек знаком особого контроля?»

19

Как ни велики были сомнения, осторожность и рассудительность победили. В графе «Особые пожелания» заказа на экспертизу Воронов написал:

«Патроны пронумеровать. Сохранить идентичность каждого с пачкой, в которой находятся».

И снова понес в лабораторию.

— Это еще зачем? Какая разница, в какой он пачке? — скорее по привычке провоцировала Баба Дуса, полная флегматичная женщина-эксперт, занимавшаяся в лаборатории самым что ни на есть мужским делом: баллистикой и отстрелом оружия. Белый халат, белая косынка, приподнятая тяжелыми жгутами кос, полное, щекастое лицо делала Бабу Дусю похожей на образцово-показательную доярку с газетной полосы.

— Блажь! — умиленно произнес Воронов. — Глупую инспектору пришла в голову блажь! Можно хоть раз пойти человеку навстречу?

— Вам блажь, а нам расхлебывай! — Баба, взяв красный карандаш, дважды подчеркнула особое условие.

— Как быстро сделаете, Евдокия Павловна?

— Здесь на два часа работы. Если не считать специальной экспертизы пороха или каких-нибудь неопределенностей.

Баба Дуса достала патрон и повертела в руках:

— Красивые штучки. Жаль потрошить.

— Так я после обеда поотревожу, — пообещал Воронов и отправился к себе.

Стуков был на месте.

Воронов подсел к столу и открыл пухлую папку, помнящую, с пометками на обеих корочках, но по-прежнему без номера. Как в тот первый день. Тяжело вздохнув, Воронов достал развернутую схему размещения родоновских патронов, начал снова считать. Две пакки неизменно оказывались лишними.

Он совсем было собрался идти на обед, поскольку поймав за все утро не удалось ни одной дельной мысли и никакая версия не просматривалась далее экспертизы, когда раздался звонок.

— Внучек! — прозвучал в трубке голос Бабы Ду-

си. — Приходи, готово. — Но потом ей не удалось совладать с волнением, и она добавила горячо, по-бабьи: — Беги, родненький, не знаю, что это тебе даст, а я уж кое-что нашла.

Бросив трубку, Воронов ринулся в лабораторию.

Стол Бабы Дуси был завален аккуратными пронумерованными пакетиками, в каждом из которых отдельно лежал размонтированный патрон. Пакетик тридцать первый был пуст, а его содержимое выложено на широкий лист белой бумаги. Собственно, выкладывать было нечего — два встречных пыжа да порох. И еще какая-то резиновая пробка. Но горка пороха смотрелась настолько внушительно, что на глаз легко определялась — там больше необходимого минимума второе.

— Вот он, голубчик, попался. В порох подмешано какое-то вещество. Отправлю на химическую экспертизу. Но убедена — мелкотертая взрывчатка.

— В какой он был пачке?

Баба Дуса взяла список и убежденно сказала:

— Во второй. С красивым крестом.

— Баба Дуса, можно забрать?

— Погоди! Отдыхай. Хочу в акт вставить название взрывчатки и по формуле высчитать силу возможного взрыва. После обеда, как и обещала, получишь. Не удержалась, порадовать хотелось.

Получить материалы экспертизы он мог только к пяти часам, так как химическая лаборатория была занята срочным анализом, а пока он не знал, куда деваться, и зашел в библиотеку. В минуты сильного напряжения или особого волнения Алексей любил читать стихи: Пушкина, Лермонтова, Есенина. Сейчас он попросил томик Пушкина. Машинно открыл первую попавшуюся страницу, начал читать, но долго не мог сосредоточиться, пушкинские строки как бы проходили сквозь него, не принося пищу ни уму, ни сердцу.

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.

Он пытался настроиться на трагический характер монолога Сальери, но тщетно.

...Я завидую, глубоко,
Мучительно завидую — о небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудом, усердия, молений послан.
А озарит голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Воронов, сам не заметив, оказался в плену стихов, вдруг какой-то второй смысл строк буквально обрушился на него:

Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Познает ли он том искусство? Нет:
Оно падет опять, как он исчезнет.
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем?..

Воронов задумался. Смутная, еще не оформившаяся мысль вертелась в голове. Была она связана с Пушкиным и в то же время самостоятельна. И не к тому далекому времени относился, а ко дню сегодняшнему. Алексей никак не мог ее сформулировать.

«Талант! Он всеисполнен и в то же время слаб своей рзнимостью. Каждое ничтожество может уложить его. Ничтожеством нечего терять — их пруд пруди, их место в человеческой цивилизации неразличимо. А талант — вот он, на ладони, весь открыт будущему, сколько бы веков ни прошломо над ним! Посредственность не может простить таланту! главное — бессмертия. Моцарт... Наверное, у каждого Моцарта есть свой Сальери. Пусть он не сыплет

смертоносный порошок в стакан, пусть не стреляет в спину... Неисчислимо количество способов, какими можно ранить, уничтожить талант. Моцарт? Постой, постой! Почему Мельникова называют Моцартом? Что это, насмешка? Или мистификация? Он скорее Сальери по сравнению с Мамлеевым. Он — Сальери! Так ведь...»

Воронов боялся даже мысленно признаться себе в том, что пришло ему в голову... Он почувствовал, что находится к истине ближе, чем когда-либо...

20

«И так, Моцарт, ставший Сальери! Разница в одаренности — ане сомнения. Характеры у обоих далеки от идеала. И Мамлеев очень мешал жить Мельникову. Может, я не прав? Уж кому он мешал больше, так это Вишняку. Но подойдем к вопросу с другой стороны. Вишняк — талант немногим меньший, чем Мамлеев. И несчастье Вишняка в том, возможно, что он родился не вовремя. Самой судьбой ему было определено идти в кильватере Мамлеева. Сколько в истории спорта примеров, когда звезды почти равной величины горят порознь. Одна затмевает другую, и вот вторая уже не в силах светить и гаснет, гаснет...»

Вряд ли Вишняк не понимал своего положения. Но было ли это достаточным основанием для того, чтобы сойти с нравственной стези, пойти на подлость, преступление? И, как выяснилось теперь, — на убийство? Трудно поверить. Слишком симпатичен этот парень. В нем есть основательность, присущая сильным натурам. Такие не удовлетворяются победой, достигнутой нечестным путем. Им, прежде всего для себя, нужна победа явная, доказательная, безоговорочная. Думается, Вишняк скорее должен был обегать Мамлеева, хотя в душе, возможно, не любил. На Игры он попадал в любом случае. А Игры — еще одна возможность сразиться с человеком, который стоит у него на пути. Другое дело — Мельников...»

Воронов вынул папку и начал вновь тасовать свои записки, документы, пытаясь выстроить новую линию. К его полному недовольству, она выстраивалась слишком легко, чтобы походить на правду. Так или иначе, отложив папку в сторону, он был почти убежден в виновности Мельникова. Алексей как бы слышал тот утренний телефонный звонок, раздавшийся в квартире Мамлеева. И согласие Александра на встречу. Представил себе, как нервно ходит по дорожке бульвара разволнованный Мельников, прижимая под мышкой пакет, завернутый почему-то в желтую бумагу. И как, накинув кожаную куртку, Мамлеев спускается в лифте. Потом идет по бульвару. Как пожимают они друг другу руки и садятся на ближайшую скамейку, окрещенную в желтый опять-таки цвет. Говорят о предстоящих отборочных, и Воронов будто слышит этот разговор...

«— Я принес тебе патроны. Две пачки, которые тебе должен. — Мельников смотрит в сторону.

— Хорошо сделал. А то мои не хватят на обе сени. Старые «Родины», боюсь, ослабли.

— У меня завалась где-то пачка позাপрошлогодня, как лапша, тычется зрядь, — согласно кивает Мельников.

«А утро-то какое! — мечтательно говорит Мамлеев и, закинув голову, смотрит на кучевые облака. И не поворачиваясь к Мельникову, спрашивает: — Что дрожит мелким бесом? Опять ночь в карты проиграл?»

— Не совсем, — уклончиво отвечает Мельников.

— Когда ты только, Игорек, серьезным станешь!!

Смотри, обстреляет тебя сегодня какой-либо сопляк и запасным на Игры не поедешь.

— Может, я сегодня вас всех обстреляю, — насупившись, говорит Мельников.

Мамлеев хмыкает.

— У тебя ведь «Меркель» цел?

— Цел.

— И у меня цел. Так вот, если ты хотя бы Вишняка обстреляешь, мой «Меркель» — твой «Меркель». — Собный ритуал передачи именного оружия, — пытается подхватить шутку Мельников.

Но Мамлеев дожимает:

— Я совершенно серьезно. Обозлился хоть раз, Игорек, покажи, что и в тебе есть гордость. Сколько можно за нами горшки выносить?! Возраст уже...

Мельников хмурится. Лицо бледнеет, и тем контрастнее проступают на щеках пунцовые пятна. Но он молчит. Потом нехотя произносит:

— Где уж мне угнаться за вами! Угораздило родиться в одно время с такими врачами!

Мамлеев громко хохочет.

— Родиться, Игорек, — это от мамы с папой зависело! А ты рад на стариков и собственную ответственность перенести!

Мельников встает и начинает прощаться.

— Пойду, пожалуй, еще ничего не собрано. Ты готов?

Мамлеев кивает.

— Только твои патроны уложить осталось. Ты их, конечно, не осматривал?

— Конечно, нет. Все равно заново осмотришь.

— И то верно, — говорит Мамлеев.

...Звонок телефона на столе беспощадно разрушает иллюзию, созданную воображением Воронова, и он нехотя снимает трубку.

— Кто это? — звучит в трубке грубоватый голос Прокофьева.

Воронов прекрасно узнает его, но отвечает:

— А это кто?

— А-а, — раздается в трубке. — Здравствуйте, Алексей Дмитриевич, Прокофьев говорит...

— Слушаю.

— Алексей Дмитриевич, когда мы с вами беседовали на сборе, вы мне сказали, что вас очень волнует, где провел Александр тот утренний час перед соревнованиями.

Апатия миглом слетает с Воронова, и он, затав дыхание, торопит:

— Ну и что?

— Могу сказать совершенно точно. Телефон запишите... чтобы проверить.

— В чем дело, лучше скажите, Николай Николаевич. Я вам и так верю.

— Хотелось бы... Мрачная пауза повисает в трубке. — Так вот. Этот час Александр просидел на бульваре возле дома...

Испарина немолжно выступает на лбу Воронова.

— ...со своим научным руководителем профессором Шкловским.

Хорошо, что Прокофьев не видит в эту минуту лица Воронова. Но еще лучше, что и сам Алексей не видит своего лица.

— Откуда стало известно? — лишь спрашивает он.

— Профессор рассказал. Он тоже постреливает на стенде. Его, видно, Мамлеев прилек. Он мне сам рассказал вчера на тренировке. Я вам вечером звонил, но телефон не отвечал.

«Все. Вот тебе и Сальери!» — думает Воронов и говорит:

— Спасибо большое, Николай Николаевич. А телефончик дайте, я профессору позвоню, может, он что интересное расскажет о настроении Александра или еще что заметил...

В трубке гудит:

— Вы не стесняйтесь, Алексей Дмитриевич, проворяйте! Разве я не понимаю? Дело не копеечное — жизнь человеческая.

— Спасибо. Еще раз большое спасибо, — говорит Воронов и вешает трубку.

Звонить профессору Шкловскому совсем не хочется. Ясно, что Прокофьев говорит правду. А что же делать теперь? Завтра предстоит трудный, может быть, самый трудный день.

Сегодня утром, войдя в кабинет к начальнику отдела на доклад, Алексей не удержался и почти срывающимся голосом, как ему сейчас кажется, слишком торжественно попросил:

— Товарищ полковник, разрешите начать дело...

Когда сейчас Воронов вспоминает по-доброму насмешливые глаза начальника отдела, ему становится немножко стыдно, и он предпочитает этот момент в своих воспоминаниях поскорее опустить.

Полковник Жигулев слушал так же внимательно, как и Кириченко, только с одной разницей: начальник отдела ни разу не перебил Воронова.

Жигулев в отличие от своего заместителя видел человека, а не смотрел сквозь него. И докладывать ему было одно удовольствие, даже если не все еще было ясно самому, и мучили сомнения, и чувствовал, что мог выполнить поручение лучше и быстрее, но вот не получилось.

— Логика ваших рассуждений мне нравится. Но, честно говоря, плохо себе представляю, как вы заставите Мельникова признаться в совершенном.

— Мне кажется, я настолько хорошо узнал Мельникова, что не должно произойти ошибки, — он не только злодей, он еще и трус.

— А если произойдет?

— Не произойдет, — упрямо повторил Воронов.

— Убеденность — качество хорошее. Но давайте воображим, что Мельников станет все отрицать.

— Товарищ полковник, свидетельские показания! Многие, с кем я осторожно говорил в последние дни, психологически готовы признать виновником именно его. К тому же пусть Мельников попробует показать хотя бы еще один канал, по которому патроны попали к Мамлееву...

— Подобрал на улице, скажем.

Воронов улыбнулся, принимая высказывания начальника отдела как шутку, не более.

— Конечно, я говорю абсурдную вещь. Но и Мельников может сказать что-нибудь подобное. Когда над преступником нависает опасность, он становится особенно изворотливым. Даже дурак, случается, здорово умнеет. Ненадолго, правда.

План таков, товарищ полковник. Внезапно предъявить Мамлееву размонтированный пистолет и пачку с крестом.

— Насчет креста я бы не пережимал. Мистикой попахивает.

— Возможно. Мельников не закоренелый преступник. Это очень странная натура, которую только по ошибке называли Мозарттом. Скорее Сальери.

При этом неожиданном литературном сравнении полковник Жигулев улыбнулся.

— Ну, ну, — прозвучало скорее одобрение.

— Склонен считать, что Мельников не однозначно относился к Мамлееву. Он его по-своему любил. Но муки теснения глушили то хорошее, что было у Мельникова. Неудачник, бесталанный человек может прийти к преступлению, даже если по психологии он не преступник.

— Добро, Алексей Дмитриевич. — Насколько Воронов помнил, полковник впервые обратился к нему по имени и отчеству. — Мне нравятся ваши рассуждения. Но не исключено, что завтра вас ждет неуда-

ча с Мельниковым. Могут добавить: буду огорчен не меньше вашего. На всякий случай я до завтрашнего дня воздержусь докладывать начальнику управления.

Полковник Жигулев лукаво усмехнулся. Еще месяц назад Воронов бы воспринял такую реплику начальника отдела как обиду. Странно, но сейчас он отнесся к ней совершенно спокойно — по-деловому.

— Хорошо, товарищ полковник. Сделаю все, чтобы ваш доклад завтра вечером состоялся.

— Отлично. Кстати, вернется к себе — успокойте старшего следователя Стукова, а то он очень переживает. Мы тут обменялись мнениями с Иваном Петровичем. — Он поморщился, как от зубной боли. — Наши точки зрения несколько не сошлись. И причина в весьма обстоятельной информации, полученной мной от Стукова. Он знает это дело, почти как вы. — Полковник улыбнулся. — Отличный парень. Желаю успеха!

Возвращаясь к себе, Алексей вдруг понял, что и эти волнения и эта загруженность — его настоящая жизнь. Он не мыслит ее себе иначе. И пусть завтра ждет неудача, пусть будут новые бессонные ночи и сомнения, но без этих сложных человеческих взаимоотношений, трудностей, которые жизнь рождает на каждом шагу, он жить уже не может. И если однажды все это уйдет из его жизни, он станет самым бедным человеком на свете.

21

Мельников пришел точно, минута в минуту. На этот раз Воронов принимал его в специальной комнате для допросов — просторном помещении с большим столом и двумя стульями перед ним. Он убрал папку с документами в ящик, а на край стола положил размонтированный чужой пистолет и поставил коробку из-под «Родони». До поры до времени накрыл «ведущим» «Советским спортом». Довольно нелепое сооружение на столе сразу же обратило внимание Мельникова — он сидел, не сводя с него глаз.

Воронов не вышел из-за стола и не подал руки, как обычно, и по колючему взгляду Мельникова понял, что и эта деталь не ускользнула от внимания Мозарта.

— Добрый день, Игорь Александрович, — начал Воронов. — Извините, пришлось побеспокоить. У вас дома прошлый раз разговор не получилось. Наверно, вы были правы: разговор носил совещательный характер. Чтобы у вас не оставалось никаких иллюзий насчет моего извещенного любительства, я подумал, что в наших милицеских стенах вам говорить будет удобнее.

— Мне все равно, где говорить, — Мельников с наигранным равнодушием пожал плечами.

— Я бы попросил вас, Игорь Александрович, припомнить некоторые моменты ваших взаимоотношений с Мамлеевым. Мне далеко не все ясно.

Воронов заметил, как вздрогнул Мельникова. И в это мгновение затрещал телефон.

— Аleshенька, Мельников у тебя! — раздался в трубке голос Стукова.

— Да. Мы уже начали разговор.

— Тогда я потихонечку. Только что звонил Савельев. Вчера вечером его настоятельно атаковал Иосик и требовал назад патроны. Как вы и договорились, он сказал, что патроны в МУР. Иосик признался Савельеву, что патроны он отдал без разрешения Мельникова и тот с угрозами требует их назад.

«Вот и фактологический инструмент. — Сердце Воронова застучало так громко, что ему показалось:

слышит и Мельников.— Теперь мы будем играть иначе, Игорь Александрович».

— Спасибо, Петр Петрович, за сообщение. Оно очень кстати.

Повесив трубку, Воронов посмотрел на Мельникова долгим взглядом. Тот не выдержал и отвернулся. Не говоря ни слова, Воронов снял газету и, аккуратно свернув, положил рядом.

Взглянув на патрон и коробку (особенно внимательно посмотрев почему-то на крест), Игорь Александрович распрямился: как бы спала неимоверная тяжесть, давившая плечи. Мельников облегченно вздохнул, чем немало напугал Воронова.

— Ясно, — сказал он.

— Будем по порядку или задавать вопросы?

— Лучше вопросы... Как-то трудно собраться с мыслями, хотя признаться честно, я ждал этого разговора, ждал и этого... Он ткнул пальцем в стол.

— Со вчерашнего вечера?

— Значительно раньше. Может быть, значительно раньше, чем вы предполагаете.

— В таком случае вопрос. Прошу очень внимательно подумать, прежде чем ответить. Это вы сделали взрывоопасный патрон и подложили его Мамлееву, в результате чего произошел несчастный случай?

— Я, я, — поспешно повторил Мельников, и поспешность эта оказалась Воронову заискивающей.

— Когда вы передали патрон?

— Я подложил патроны в две пачки. И, чтобы не вызвать подозрений, одну вернул ему как долг, а вторую заменил у него в шкафике.

— Для чего вы это сделали?

Мельников пожал плечами.

— Я хотел только одного — осадить зазнайку. Хотел пошутить, как в свое время было с Прокофьевым. У меня не было злого умысла.

— Что вы сделали с патроном?

Мельников метнул быстрый взгляд на разложенные внутренности «чужого патрона», и где-то в подсознании Воронова мелькнуло, что он сделал ошибку, выложив товар лицом.

— Взял два пыжа и поставил их друг против друга. Так называемые «пух пистон», дающие резкий бой. На глазок, сколько вошло, засыпал пороха. Нормы три. Отдача должна быть сильной. И только. Я просто не знал, что пластиковые пыжи срабатывают таким невероятным образом!

— Когда вам пришла идея подложить чужой патрон?

Мельников задумался. По его лицу пробежала легкая тень.

— На этот вопрос мне трудно ответить, поскольку злого умысла я никогда не тайл. Вы знаете, что мы были друзьями. Уверен, что никогда у Мамлеева не было человека более близкого, чем я... Мы жили с ним одной жизнью. Даже пользовались почти одними вещами — стреляли из одних ружей, одними патронами...

— Даже любили одну женщину?

— Даже, — понуро согласился Мельников. — Но это все бредня, что Мамлеев был чудовищно работоспособным. Бредня. Он тренировался не больше, чем обычный любитель попать в воздух. Он был тапантил, безумно талантливым по природе. И бравировал этим, как только мог. Еще характер... Он мог собраться в любую минуту и выступить так, будто месяцами не расставался с ружьем, когда на самом деле месяцами не бывал на stands: коопал над диссертацией по стандартам. А чаще всего под видом работы над диссертацией бездельничал... Мне, наверно, не стоило говорить об этом. — Мельников сделал паузу. — Будь жив Александр, я бы

этого никогда не сказал, но ему уже ничто не повредит. Мамлеев был на грани того, чтобы вообще бросить стрельбу. Уверен, не случись трагедии, благодаря своему характеру он и без тренировок выиграл бы отборочным — вытянул бы на старом багаже. Но на Играх провалился бы с треском, поверьте. И я решил его астронжухе, сбить губительную спесь и вернуть в спорт...

— Хотите сказать, что вы руководствовались благими намерениями?

— Конечно, — довольно искренне удивился Мельников. — Как могло быть иначе?

— Иначе могло быть так: вы попадали в сборную, если бы Мамлеев выбывал совсем, а на первое место выходил Вишняк.

— Абсурд... только и мог сказать Мельников.

— Почему же вы сразу не сообразили?

— Почему всего потому, что смерть Мамлеева для меня тяжелейший удар. И я сам был тому виновником. Мне трудно даже себе представить, что пережил я за это время. Ходил в каком-то шоке...

— Это не помешало вам закончить выступление на отборочных...

— Со страху. Убеден. Чувство собственной вины настолько угнетало меня, что не думал о признании. Вернуть Сашку было уже невозможно. Все остальное не играло роли. Потом, когда вы занялись расследованием, на смену психологическому шоку пришел обычный страх. Я должен признать это, как бы горько мне ни было. Я боялся и сейчас боюсь, что вы не поверите, не поймете меня...

— Именно этого мне хочется больше всего, Игорь Александрович, — понять вас, — задумчиво сказал Воронов. — Кстати, Игорь Александрович, откуда у вас такое странное прозвище — Моцарт?

Мельников вскрикнул.

— Одарил Мамлеев. Лет шесть назад. И приключилось.

— А почему он дал его именно вам?

— Не знаю. Многие, что делал Мамлеев, плохо поддавалось логическим объяснениям.

— Вы никогда не задумывались, почему Мамлеев назвал вас Моцартом, а скажем, не Сальери? Возможно, предчувствовал вашу шутку, которая будет стоить ему жизни?

— Глупости. Истории известно, что Сальери не убивал Моцарта. Пушкин ошибся. Его маленькая трагедия — плод фантазии!

— Может быть... — согласился Воронов. — Не убивал. А смерть Мамлеева тоже фантазия?

Мельников стиснул зубы и, промолчав, отвернулся. Воронов почувствовал, что пережал, что вряд ли сегодня пойдет нужный разговор, надо осмыслить признание, сделанное Мельниковым. Он подвинул ему лист бумаги, ручку и сказал:

— Напишите, пожалуйста, все, что вы мне сообщили. Про Моцарта и Сальери можете опустить.

Мельников закончил писать и подал лист Воронову. Алексей внимательно перечитал написанное. Оно походило на чистосердечное признание человека, раскаявшегося в совершенном преступлении. Воронов снял трубку и набрал номер телефона начальника следственного отдела. Его не было. Пришлось звонить Кириченко.

— Иван Петрович, считаю, что можете запросить у прокурора ордер на арест Мельникова Игоря Александровича. Он сейчас у меня и свою вину полностью признал.

— Хорошо, — после некоторой паузы раздался грубый голос Кириченко, и заместитель начальника отдела сразу же повесил трубку.

«Не поправилось», — подумал Воронов и усмехнулся.



22

— **В**от так,— закончил Воронов свой рассказ Стукову.— Признаться, в глубине души я побаивался, что бой будет куда труднее. Такая легкая победа меня огорчила...

— А меня настораживает,— вдруг сказал Стуков. — Ну, знаешь, Петр Петрович! Так накрутить в воображении можно...

— Постой, Алексей,— Стуков вернулся за свой стол, будто только сидя за ним, мог более четко формулировать свои мысли.— Он гнет на несчастный

случай! Неудачная шутка! Это выглядит слишком отработанным!

— Может быть, так и есть. Но это — убийство.

— Убийство, но не преднамеренное.

— Если убийство было непреднамеренным, то так оно и есть.

— Ты убежден в этом!

— Абсолютно. Хотя не исключаю возможности, что в определенных условиях Мельников мог докатиться и до такого падения.

— Так-так,— неопределенно пробурчал Стуков.

И это последнее «так-так» было хуже всяких доводов. Оно встревожило Воронова, и уже до ко-

Та дня он никак не мог избавиться от навязчивой мысли, что Стуков прав.

Разрабатывая схему последующих допросов, Воронов пришел к выводу, что ответить на стуковские «так-таки» он сможет только, если у него самого будут ответы на все вопросы. И первый: откуда появились две лишние пачки «Родони»? На этот вопрос мог ответить прежде всего Иосиф.

Воронов немедленно вызвал его к себе.

Иосиф явно ждал подвоха и весь напрягся, готовый отразить любую, ждущую его здесь, в следовательском кабинете, опасность. Воронов подумал, что, наверное, это связано с поручением Мельникова к Савельеву, и решил играть в открытую.

— Здравствуйте, Иосиф,—приветствовал его как можно дружелюбнее Воронов и усадил на один из стульев у стола, а сам сел напротив, подчеркивая открытый характер беседы на равных.

— Сколько пачек «Родони» вы утаили, когда передавали их Мамлееву и Вишняку?

— Хотите сказать: «куралы»?

— Хочу сказать.

— Я никогда не украл даже ни одной стреляной гильзы.— Иосиф даже стал шире в плечах от гордости.— Если я что-то покупал и перепродавал — это мой маленький бизнес.

— По статье уголовного кодекса Российской Федерации это квалифицируется как спекуляция и предусматривает наказание сроком... Никогда не читали «Двенадцать стульев»? Бессмертный завет Остапа Бендера — всегда читать уголовный кодекс. Бендер был преступник!

— Вы правильно меня поняли. И думаете, что сам-то честно живете?

— Убежден.

— Ладно. Оставим это пока на вашей совести. Раз она у вас чиста, то выдержит такую нагрузку. Значит, вы патронов не крали?

— Не крал.

— Шкафчик взломал Мельников?

— Конечно. Ему почему-то была позарез нужна пачка с красным крестом. Мельников продал мне три, а среди них оказалась эта проклятая пачка. Он меня замучил. И шкафчик-то взломал — думал, по ошибке отдал Мамлееву. Потом заставил меня отбирать патроны у Савельева. Так я растеряю всех своих клиентов!

— Сколько патронов в последний раз вы взяли у Карди?

— Уже говорил: пятьсот штук. Двадцать пачек по двадцать пять «карандашей».

— Чего-чего?

— «Карандашей». Так мы называем между собой эти штуки.

— Это очень важно, Иосиф. Вот бумага, напишите и распишитесь.

Иосиф спокойно взял лист бумаги и расписался в том, что им у итальянца Карди было взято последний раз пятьсот штук патронов.

— А теперь скажите, не могли ли где-то остаться еще патроны «Родони»? — спросил Воронов.

— Кроме тех, что я вам перечислил,—нет. Последнее время с «Родони» было довольно напряженно. Даже Мамлеев нервничал и боялся, что к отборочным ничего не поступит.

«Итак,—подумал Воронов,—я ошибся. Очень уж верил, что Иосиф прикарманил себе две пачки, а потом пустил в дело... Если он говорит правду, а, судя по всему, это так, излишек надо искать в другом месте... Но где?»

Проводив Иосифа до выхода из управления, Воронов решил пройтись по бульвару. Сунув руки в карманы плаща, Алексей пошел по аллее, несмотря

на редкий дождичек, грозивший, если верить большому сизой туче справа, перейти в сильный ливень.

Он шел медленно. Мысли его все время вертелись вокруг двух лишних пачек...

«Две лишних пачки! Две пачки с крестами! Совпадение или закономерность? Скорее совпадение. Надо проверить. Как? Если отбросить предположение, что патроны остались от прошлых партий (в Комитете дать не могли, я звонил), Карди привез только пятьсот, значит, надо искать нового поставщика. А на кой черт мне нужны эти пачки? Ведь Мельников создался. Ну, скажем, Мамлеев ошибся или по какой другой причине скрыл, что у него в шкафчике еще лежали патроны. А потом Мельников их извлек — вот и избыток».

Рассуждения были шиты белыми нитками и вызвали еще большие сомнения. Алексей решительно прервал прогулку и вернулся к себе.

Акт экспертизы он отложил в сторону и, перекладывая бумаги, натолкнулся на него неожиданно. Даже скорее не на сам акт, а на одну фразу, которая удивительно рельефно выступила из общего текста.

«...все патроны фабричной закатки...»

«То есть как! — Он даже сначала не сообразил, что значит эта фраза. — Если фабричной... Постой! Но ведь Мельников признался, что сделал перезарядку. Значит, что-то напутала Баба Дюся».

Он дважды перечитал акт экспертизы и направился в лабораторию, думая о том, как бы провести разговор помягче, чтобы не обидеть пожилую женщину. Ошибку могут допустить и эксперты, хотя им-то по должности этого делать нельзя.

— Что-нибудь случилось? — встревоженно встретила его Баба Дюся.

— Едочка Павловна, неувязочка небольшая. Хочу у вас выяснить. Вы пишете, что все патроны фабричной закатки. Но Мельников признался, что сделал перезарядку. Вы не ошиблись, когда делали осмотр?

Ему не следовало говорить последней фразы.

Баба Дюся напустилась.

— Врет Мельников,—решительно заявила она.— Я дважды осмотрела патроны, прежде чем начинать их закатки. После осмотра даже подумала, что делаю бессмысленную работу. Наверно, потому и позвонил раньше срока на радость, что нашла. Неожиданно совсем это было.

Итак, казавшиеся столь незыблемыми доказательства рухнули.

Проверочная экспертиза всегда ЧП. Но Баба Дюся настояла на ней решительно. Вскрытие всех патронов было проведено хирургическим методом — вспарыванием гильзы. И сделано было по-женски тщательно. Потому четверо экспертов, привлеченных к проверке, без малейшего сомнения подписали акт, подтверждавший вывод Бабы Дюси. Воронов и сам с мощной лупой циркулярно осматривал венчик патронов и убедился, что он заткан машинной и только едочками.

— Едочка Павловна, извините, пожалуйста,—улученно сказал он.

— Ничего. Бывает. Ты мне скажи, внучек,—к ней снова начало возвращаться обычное благодушное настроение,—что дальше будет? Патрон не вскрывался. Это факт. Признание твоего подследственного — ложь. Значит, здесь что-то гораздо серьезнее, чем он хотел показать. Большого чего-то боится! Ты до фабрики добираться.

— Далековато, Едочка Павловна. Фабрика-то за границей.

— Знаю. Я тебе не ехать туда советую, а умом

добираться. Впрочем, это уже не мое дело. Прости, если глупости говорю.

— Нет, Евдокия Павловна.— Воронов даже замалчивал ружье.— Вы, пожалуй, сами не представляете, как разумны. Что, если...— И схватив анализы, ринулся к Стукову.

— Патрон не перезаряжался.— Бросил Воронов Стукову с порога и поспешно набрал номер.— Ответственного секретаря федерации стрельбы, пожалуйста... Товарищ Карпов? Мне бы получить одну справочку. Когда и куда за границу выезжал в последнее время товарищ Мельников? На память можете сказать? Но это будет точно? Спасибо. Сейчас запишу. Так... Так... Так!! Интересно,— продолжая говорить, Воронов размахисто накидал на листе бумаги несколько цифр и фамилий.— Спасибо большое. Если понадобится, я вас побеспокою. В этих данных вы совершенно уверены? Не обижайтесь, тут дело серьезное. Спасибо.

Воронов повесил трубку и задорно посмотрел на Стукова.

— Как тебе нравится? Товарищ Мельников выезжал за границу в этом году трижды и последний раз — в мае, во Францию на товарищеские соревнования. В них принимал участие Родони...

— Уж не хочешь ли ты сказать...

— Почему бы нет? Разве для Родони менее выгодно, чтобы Мамлеева не было на следующей Олимпиаде? Разве не он сказал, что выиграть олимпийское золото — мечта его жизни? Как и то, что он желает, чтобы его патронами стреляли на Играх все стрелки? Разве эти два желания не независимы друг от друга? Если он, олимпийский чемпион, сам производит патроны, сам ими стреляет, с их помощью выигрывает золото — куда лучше реклама?

Стуков взволнованно встал и заходил по комнате. — Интересно, Лешенька. Но будь осторожен. Дело щепетильное. Пахнет международным скандалом. Вот почему Мельников так охотно признал свою вину! Захотел побыстрее свести все к неудачной шутке...

Стуков присвистнул.

— Подлец, — не удержался Воронов. — Мало того, что он калечил друга, еще и на Играх выводил вперед иностранца.

— Вот что, Леша, посмотри внимательно документы и иди к Виктору Ивановичу. Посоветуйся, как бы дров не наломать.

Полковник Жигулев принял Воронова сразу. Доводы выслушал внимательно, делая записи.

— Хорошо, — удовлетворенно сказал он. — Только с решающим вопросом я бы повременил. Не потому, что обязан доложить начальнику управления. Кстати, звонили из Комитета спорта. Интересовались... Их понять можно — арестован член сборной команды страны, возможный — теперь, правда, уже невозможный — кандидат в олимпийскую сборную. Начальник управления взял дело под личный контроль. Подумайте, Алексей Дмитриевич, может, стоит повременить, скажем, два-три дня? Ничего не действует на преступника так удручающе, как отсутствие информации о возможном ходе расследования. Назначьте допрос на четверг. Задоро и сами несколько поостынете. Я со своим начальством посоветуюсь. Договорились?

— Слушаюсь, Виктор Иванович.

— Желаю успеха. Вы его не только заслужили, но и выиграли.

— Есть нежиконно, — признался Воронов.

Два дня пронеслись в суете, совсем не связанной с мамлеевским делом. И хотя Воронов был в постоянной готовности к вызову начальника отдела,

Стуков предположил, что начальник управления захочет познакомиться с делом более подробно. Однако этого не произошло. Очевидно, доклад полковника Жигулева оказался убедительным. Это всеяло в Воронова бодрость, и сама встреча с Мельниковым, надвигавшаяся неотвратимо, вызвала нетерпение.

Перемена в Мельникове очень удивила Воронова. Если бы он не знал его столь хорошо, то подумал, что сидит перед ним совершенно другой человек, совсем не тот, который когда-то так бесцеремонно выпровадил его из своей квартиры.

Мельников сел на указанный стул и тяжелым взглядом обвел комнату.

— Как камера? Не жалуетесь? — начал Воронов.

— Не жалуюсь, — отрезал Мельников. — Не сам я себе ее выбирал.

— Сами, Игорь Александрович, только сами. Может быть, не именно эту, но что камере — несомненно... Я хочу уточнить несколько фактов. Первое: скажите, почему вы зарядили несколько патронов? Не хотели ли вы подложить такой же, ну, скажем, Вишняку?

— Глупости. Мельников даже фыркнул. — Очень просто объясняется. Я забыл, куда сунул первый, и пришлось делать второй. К тому же подумал: а вдруг не удастся что-нибудь и Мамлеев патрон отбракует? Второй и пригодится.

— А как вы производили перезарядку? Расскажите поподробней.

— Вы же сами имели дело с оружием и знаете, как это делается.

— Простите, Игорь Александрович, мои знания пока останутся при мне. Меня интересуют ваши. Мельников пожал плечами: дескать, можете измысливать, — но объяснил:

— Взял несколько штук. Вскрыл...

— Чем?

— Перочинным ножом. Один из патронов раскатал сверху. Дробь выкинул. Из двух других сыпал порох и загнал два пыха. Закатал.

— Чем?

— Ручкой перочинного ножа. Вот и все.

— Что сделали с пороховым зарядом?

— Ничего. Уложил тройную дозу, думал, что отдача будет достаточно сильной, чтобы встряхнуть Мамлеева. И не предполагал, что «Меркель» окажется таким хлипким. Или бракованным...

— На «Меркеле» стоит клеймо нитропорохового испытания, и запас его прочности намного превышает мощность тройного заряда!

— Не знаю. Очевидно, клеймо липовое. Не соответствует состоянию стволов.

— Если я вас правильно понял, вы только доспали в один патрон три заряда, не так ли?

— Да, так. Брови Мельникова удивленно всплонулись. Настоящность Воронова его насторожила, но он еще никак не мог понять причину такой настойчивости.

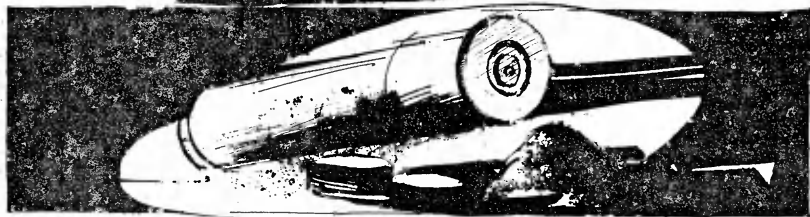
— Вам не показался порох каким-то странным? Мельников мгновение подумал и, все более удивляясь, сказал:

— Не показался. Порох как порох.

Воронов сделал паузу, как рыбак, уставший поклеву, но еще не уверенный, что надвигается многообразие подсеки. Потом сказал быстро и грубо:

— Скажите, гражданин Мельников, когда, где и как вы получили от Альфредо Родони две пачки патронов с красными крестами?

Мельников сдержался, но в голосе его не чувствовалось прежней твердости:



— Чепуха какая-то!

— Вы уже здесь три дня. Разве это похоже на чепуху? Послушайте, Игорь Александрович, после всего сделанного вами второй самой большой вашей глупостью будет дальнейшая ложь. Это бесмысленно. Экспертиза показала, что все до одного патрона, и в том числе второй «чужак», фабричной закатки. Это раз. И никакого перочинного ножа не было. Второе. И об этом вы не могли знать: в состав пороха «чужого патрона» подмешана порошкообразная взрывчатка. Нитронал. В нашей стране, между прочим, такое взрывчатое вещество не производится вообще. Давайте-ка лучше говорить правду.

Мельников хотел что-то возразить, но Воронов неожиданно перебил его:

— Вы получили эти пачки в мае, во время соревнований во Франции?

— Да,— глухо произнес Мельников, и это «да» прозвучало для него как приговор.

— Их передал Альфредо Родони?

— Нет,— устало сказал Мельников.— Карди. Родони оказался больным и не явился на назначенную встречу.

— Вот так-то лучше. А теперь расскажите все по порядку. Поподробнее, пожалуйста, нам сплешить некуда.

23

Вечером, обработав стенограмму допроса, прежде чем уйти домой, Воронов вдруг вспомнил об интервью Мамлеева, которое готовил для печати Сергей Бочаров. Он позвонил ему на работу, но телефон молчал. Воронов набрал номер приемной главного редактора, и секретарша объяснила, что Бочаров сегодня дежурит «свежей головой» в типографии. Узнав, кто звонит, дела туда телефон.

Бочарова на месте не оказалось, но его сразу же нашли, и Сергей встревоженно спросил:

— Случилось непредвиденное?

— Почти, Сергей Абрамович. Во-первых, Мельников арестован.

— Знаю. Вся Москва уже знает.

— Возможно. Во-вторых, хотел вам сказать, чтобы вы из пачкатали интервью Мамлеева.

— Это невозможно. Оно стоит в номере. Я только что вычитал его в полосе.

— Очень жаль, но придется снять.

— Почему? Ведь там не упоминается даже имени Мельникова...

— Зато оно посвящено Родони.

— Он-то не имеет никакого отношения к убийству...

— Как раз наоборот. Он имеет самое непосредственное отношение.

— Вы хотите сказать...

— Я больше ничего не хочу сказать по телефону, Сергей Абрамович. Прошу настоятельно снять интервью из номера. Если это трудно сделать вам самому, я готов позвонить главному редактору.

— Звонить пока не надо, думаю, что мне поверят на слово. Я, кажется, кое-что начинаю понимать. Или по крайней мере догадываюсь.

— Вот и отлично,— весело закончил Воронов.— Об остальном если захотите узнать, приходите завтра ко мне в кабинет. Сообщу кое-что. И вам будет что мне рассказать. На том и порешили!

— Порешили,— без всякого энтузиазма откликнулся Бочаров.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

...Автор предлагает ознакомиться с сокращенной стенограммой чистосердечного признания гражданина, на Мельникова Игоря Александровича, из которого становится ясно, как началась история, закончившаяся трагическим выстрелом на сцене «Локомотива».

«Родони я видел несколько раз — и на чемпионатах мира и на прошлых Олимпийских играх. Несмотря на то, что мы, советские, были ему, человеку другого класса, абсолютно чужды да еще как фавориты доставляли немало неприятностей, он относился к нам с особой симпатией. Думаю, потому еще, что вообще-то он общительный парень. Почему бы ему таким не быть? Даже Карди, говоря о богатстве своего родственника, захлебываясь от восторга и не мог скрыть черной зависти.

Когда ты на соревнованиях с утра и до вечера с людьми молодыми, полными сил, и когда все-таки встает свободное время почестать языки, контакты устанавливаются легко и прочно. А если ты знаешь, что уже через несколько месяцев вновь встретишься — то ли на первенстве Европы, то ли на товарищеских состязаниях в какой-нибудь заморской стране,— естественно, хочется, чтобы тебя окружали знакомые и по возможности симпатичные лица.

По-настоящему мы сблизились с Родони два года назад во Флоренции, во время матча четырех стран на Кубок Родони. Да, Альфредо уредил кубок своего имени и принимал как хозяин. Естественно, сам в соревнованиях не участвовал, но зато здорово преуспел как устроитель. Стреляли мы на сцене Флоренции. Вечером шатались по ее милым улицам, толкались на смешном Понто-Веккио. Глядя на гранитную набережную, ахали, прикидывая на глаз подъем воды во время знаменитого флорентийского наводнения.

Турнир был как турнир. Нового он ничего не принес: Мамлеев выиграл, Вишняк был вторым, а я умудрился выбраться на пятое место. Альфред так радушно меня поздравлял, что я расчувствовался не в меру. Мы крепко выпили по этому поводу в каком-то маленьком полуподвальном кабачке, где было славное вино. В день отдыха Альфредо пригласил нашу команду к себе на ферму. От Флоренции километров шестьдесят.

Среди холмов и виноградников стоял старый, шестнадцатого века, но модернизированный, со всеми удобствами дом.

Приглашая на ферму, Альфредо обещал сюрприз. И сюрприз был действительно королевский. Оказывается, в то воскресенье в Италию открывалась охота. И нас утром подняли рано, дав в руки по хорошему ружью. Родони разрешил стрелять фазанов сколько угодно. До этого Мамлеев на фазаньей охоте не бывал и к шумному взлету птиц не привык. Первое время нещадно пуделял, чем немало веселил Родони. Я же стрелял фазанов у нас на юге и двадцатью выстрелами взял восемнадцать штук. Десятидвухого то ли лязг ударил, то ли промазал, сказать трудно, фазан ушел за склон холма. Мамлеев был страшно зол. Весь обед — блюд на восемь — молчал, а потом взял стакан с виски и ушел в калачку на террасу и там разговаривал с женой Родони...

Мы же с Альфредо прилично налегали на вино, затем перешли в кабинет, где не было ни одного, не имеющего отношения к охоте предмета. Да, это была коллекция! Не чета моей. Альфредо показал новенькую десятизарядную «беретту» с хромированной шейкой. На вопрос: «Сколько же она стоит?» — небрежно бросил: «Что-то около шестистот тысяч лир».

Карди вертелся тут же, давал справки и переводил пояснения Родони. Альфредо много говорил о моем таланте, считая, что я незаслуженно нахожусь в тени. Как-то случилось, что я ему душу и вывернул наизнанку. Ну, не знаю, что он из моих признаний вынес, только одно уловил точно — ненавижу я Мамлеева. И такой мертвой хваткой в горло ахнул, довел меня до такого состояния, что я готов был немедленно проломить Сашке голову садовой лопатой.

И вспомнил ведь, гад, как я рассказывал о «чужом патроне», об истории с Прокофьевым. Вдруг стал серьезным и сказал, что я могу на него рассчитывать в любой ситуации, если сделаю одно и для него и для меня жизненно важное дело. Сказал, что оба мы немолоды. Годы уходят, и держаться в экстраформе все труднее и труднее. И если мы сами себе не поможем, нам никто не поможет. Он предложил сделать заводским способом несколько «чужих патронов» и на самых ответственных соревнованиях подсунуть Мамлееву.

Я сначала воспринял его предложение как шутку. Но потом разговор принял серьезный оборот. Зол я был тогда на Мамлеева нещадно. Вино и успех на охоте — королем был признан — голову мне затушили, и я согласился. Больше потому, что думал: ну, легкой травмой обернется затея, как для Прокофьева. И в голове не было, что может все так печально закончиться.

К разговору о «чужом патроне» в тот вечер больше не возвращались. Казалось, забыли его все. Но во время соревнований во Франции, после того, как Мамлеев засадил сто из ста в первой серии, Родони отвел меня в сторону и напомнил о старом договоре.

Он мне во Флоренции сто тысяч лир дал — десять, разбогатеешь, вернешь, мне не к спеху. Денег, чтобы долг отдать, не было: правда, он и не требовал, но чувствовал я себя гадко, будто продался ему. Потом прикинул: не будь Родони, я бы и сам сыграл с Сашкой такую шутку. Так что и грех на душу не давил. Договорились: перед отъездом я подбегу к гостинице, где жил Карди, в половине седьмого. У Карди будут приготовлены две пачки. На двух пачках Родони сам настоял: вдруг один патрон куда-нибудь запропащется, другой на подстраховку останется. Альфредо клялся, что разницу в патронах даже специальная лаборатория установит — не сможет.

Когда я пришел на назначенное место, встретил меня Карди, провел к себе в номер и передал патроны, сказав, что Альфредо занемог и был вынужден раньше уехать в Италию. Передавал привет. И помню, настойчиво твердил: если с первого раза будет достигнут нужный успех, вторую пачку целиком — на них специальные кресты — поставлены — надо уничтожить. А мне жалко стало — все-таки «Родони»! Да и не думал тогда о смысле «успехов». Знал бы, в морду плюнул, на весь мир ославил! Да теперь что говорить — Сашку назад не вернешь.

Передал я патроны Мамлееву просто. Когда не хватало боеприпасов, я иногда у него одолживал. Появлялись — отдавал. Вот так и сделал. Вместо одной пачки крапленую сунул. Ну, а остальное вы знаете.

Так что умысла против жизни Мамлеева у меня никогда не было, и случилась смерть против моей воли, что и прошу внести в протокол как самое чистосердечное и искреннее признание. Страшная получилась штука! Все бы отдал, чтобы назад отыграть.

А что теперь со мной будет?

Николай Грачев



На бывшей «ничейной» земле

На ней в старых шрамах стоят тополя,
Она от воронок чербаты,
И трудно поверить, что эта земля
«Ничейной» звалась когда-то.
Тогда, как и нынче,
Ромашки цвели,
Цвет вербы летел на откосы,
Семь раз, поднимаясь с оплошшей земли,
Ходили в атаку матросы.
Боец, час назад еще бредивший: — Пить!..
Вставал, шел в атаку,
шатаясь,

жизнью своей прилепится
К исконной, родимой пытаюсь...
Немало навек здесь уснуло ребят,
Высотку залил своей кровью.

Здесь ветры
То тихо и грустно свисают,
То впроголос плачут по-вдовьи...



Сосенки цветут шишками,
Каштаны цветут свечками,
Сирени цветут шапками.
Над старенькими крыльчечками.
Цветут деревья и растения,
Течет по столам смола.
От века пора цветения
Для каждого сердца мила.
Цветут клевера, подорожники,—
Какое раздолье художнику!
В легендах в какой-то год
И папоротник цветет.
Цветет на задворках крапива
И, надо сказать, красиво!..
В цветочках «спелые кукушкины»,
В сереньках березы зыбные,
В репейниках рыцари местные —
Широкие лопухи...
А люди цветут веснушкам,
А люди цветут улыбкам,
Цветут задушевыми песнями
И пишут стихи.



«ИСТОКИ ХАМСТВА — НЕ В КРАСКЕ ДЛЯ РЕСНИЦ...»

*«Письма июля»,
напечатанные в журнале «Юность» № 7,
и ответ на них писателя Георгия Гуля
«О вкусах и прочем»,
опубликованный в том же номере,
привлекли внимание
широкого круга наших читателей.
Речь шла об отношении к моде,
о «праве» молодых людей одеваться,
причесываться и танцевать
по собственному вкусу и о том,
следует ли судить о человеке
и его внутреннем мире только
по внешнему облику.
Редакция
получила множество новых писем.
Одно из них мы публикуем.
Редакция предполагает
вернуться к этому разговору
в одном из ближайших
номеров журнала.*

Здравствуйте, дорогие товарищи из «Юности»! Пишет вам вчерашняя абитуриентка, а ныне студентка Московского института железнодорожного транспорта. Мне семнадцать лет.

Только что я прочла опубликованные в 7-м номере «Юности» письма Люды Лапко, Аркадия Лесного и Виталия Раслова. Они не случайно привлекли мое внимание. Замечая, что далеко не все сверстники похожи на моих друзей, я задавала себе те же вопросы, что и Люда Лапко: «Но почему есть и такие?.. Как к ним подойти, исправить их?» Поэтому я с большим интересом принялась читать ответ писателя Георгия Гуля на эти письма. Но чем дальше я читала, тем больше мой интерес сменялся неудовением.

По-моему, автор статьи не совсем правильно понял, о чем идет речь в письмах. Мне даже показалось (очень прошу Георгия Дмитриевича Гуля простить меня за откровенность), что автор не захотел все «усложнить», не захотел понять, что главное в моде, не косметика, а куда более сложные проблемы, вопросы, на которые не так легко найти ответ.

В чем убеждает автор? Что процесс воспитания и самовоспитания нельзя сводить к борьбе против косметики, танцев и моды. А кто сомневался в этом? Я убеждена, что та же Люда совсем не похожа на ретивых «борцов против всяческих мод», с которыми, как мне показалось, Г. Гуля сравнивает авторов писем, что она, как, впрочем, и я сама, вовсе не отвергает косметику как средство подчеркнуть красоту и спадать недостатки внешности, что она, как и большинство моих сверстников, носит короткие юбки, яркие кофточки и модные брюки. Если в письме и идет речь о косметике, то лишь в той плоскости, что некоторые не соблюдают чувства меры, что делает девушку не привлекательной, а вульгарной.

Я сама стараюсь одеваться модно и красиво и с удовольствием смотрю на модно, но со вкусом и

аккуратно одетых девушек и первой с красивыми и, подчеркнуто, модными прическами.

Георгий Гуля прав, говоря, что истоки хамства, дерзости, невоспитанности заключены не в тюрниках крема для кожи и не в краске для ресниц. Наоборот, неумение прилично и по-настоящему модно одеваться, неумение в меру пользоваться косметикой заключено именно в невоспитанности.

Когда я прочла суждения Георгия Дмитриевича Гуля по поводу танцев, то решила, что он совершенно не имеет понятия о современных танцах (не в смысле исполняемых под музыку па, а о танцплощадках многих городов, которые имели в виду Аркадий и Виталий). Г. Гуля пишет о том, что укрощать физически надо не «королей» танцев, а негодяев и хулиганов. Но, по-моему, не стоит большого труда догадаться, что под ироническим «короли танцев» ребята имели в виду тех самых негодяев и хулиганов, которые устраивают драки и прочие отвратительные сцены на танцплощадках.

Ребята просят помощи, совета. А автор статьи повторляет (правда, более совершенным литературным языком) мысли ребят: «...Наша молодежь в подавляющем составе своем умна и прекрасна». В этом никто не сомневается, но как быть с меньшинством? Пусть живут как хотят? Правильно поступают авторы писем, что обращают внимание на поведение своих друзей или просто сверстников». А что дальше? Как же будут дальше жить такие парни и девушки без гордости, без чувства собственного достоинства, какая у них будет семья, как они воспитают своих детей?

Не каждый может спокойно смотреть, как теряют человеческий облик некоторые его сверстники, стараясь как можно раньше «вкусить» все прелести жизни». И именно от своего бесания сделать что-нибудь в одиночку просят у вас помощи и совета авторы писем. Я понимаю, что трудно дать такой совет, но нужно еще и еще подумать об этом вместе.

Я надеюсь, что на письма Люды, Виталия и Аркадия обратили внимание все-все комсомольцы, рядом с которыми живут эти самые ребята, которых (как пишет Георгий Дмитриевич) еще надо «учить уму-разуму». Может быть, и преподаватели задумаются над какими-нибудь иными методами воспитания, чем запреты и наказания.

Извините, если мое письмо покажется слишком резким. Просто я не могла спокойно отнестись к письмам этих ребят, читая которые хочется немедленно что-то делать, чтобы не было больше таких писем, ну и высказала сразу все, что было на душе.

Я сомневалась в том, что мое письмо будет опубликовано в журнале, хотя очень хочется узнать, как отнесутся к моему письму читатели «Юности». Георгий Гуля и члены редколлегии журнала, на книгах которых я воспитывалась и мнению которых очень дорожу.

Елена ЩЕРБАКОВА

г. Москва.



В. ПЕРЦОВ

«Я ХОЧУ СОЗДАТЬ ТИП МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА...»



Помню, мое внимание останавливал следующий факт: несколько лет назад в одном из номеров «Литературной газеты» (1969, 29 октября) на двух соседних полосах я встретил одну и ту же цитату из Юрия Олеши. В одном случае это было в отделе «Рецензии» и то же самое — под рубрикой «Служба русского языка». Вот эта цитата, смысл которой как бы канонизирован ее двойным появлением на страницах одного и того же номера газеты: «Кто-то сказал, что от искусства для вечности остается только метафора. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности... Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Почему-то он нужен людям. Ребенок, услышав метафору, даже мимоходом, даже краем уха, выходит на мгновение из игры, слушает и потом одобрительно смеется. Значит, это нужно».

Продолжим эту цитату из «Ни дня без строчки»; здесь упоминается писатель, который чаще других оказывается в этой книге рядом с Олешей в дни его юности:

«Я помню, Катаев получал наслаждение от того, что заказывал мне подыскать метафору на тот или иной случай. Он ржал, когда это у меня получалось».

Теперь давайте спросим: верно ли то, что говорит Олеша о себе как о хозяине «славки метафор», как о человеке, у которого «есть дар называть вещи по-иному». Да, верно, пожалуй, никто из его современников не может сравниться с ним в способности к описанию внешнего мира, портретов природы и обстоятельности жизни людей и внутренних эстетических состояний, ибо Олеша — это прежде всего человек, воспринимавший мир через искусство. Можно ли, прочитав однажды, забыть описание футбольного матча и взаимоотношения основных действующих фигур в этой картине, где рядом с игроками — немским форвардом Генке и нашим советским вратарем Володией Макаровым, — сталкиваются характеры таких основных персонажей романа «Зависть», как Андрей Бабичев и Кавалеров?

Можно ли не почувствовать материальность велосипедной цепи, вокруг потери которой складывается драматическая ошибка разных социальных миров во всей ее болезненной остроте?

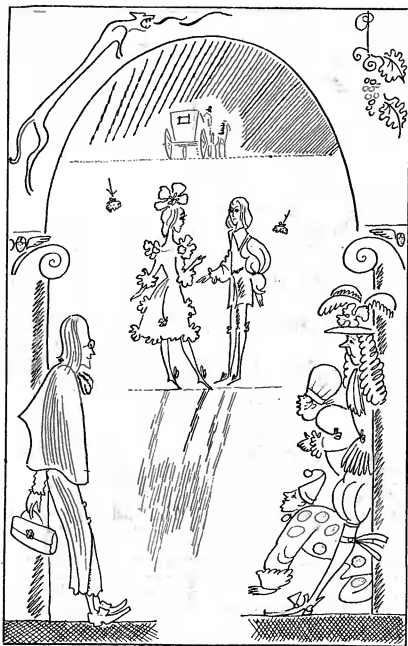
Можно ли так представить как сегодняшнюю реальность детскую мечту мальчика — будущего писателя — научиться делать сальто-мортале и дать почувствовать ни с чем не сравнимый запах цирковой арены, как это сделал Олеша на тех страницах своей книги, где он говорит, что «эта мечта делать сальто-мортале и была во мне первым движением художника, первым проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла, в сторону создания нового, необычного, в сторону яркости, красоты»?

Или такое заурядное, казалось бы, бытовое, как покупка торта, становящееся под пером Олеши необычайным, да еще десятки и даже сотни примеров называния Олешей вещей по-иному с его знаменитой фразой в рассказе «Альдебаран» о продававшей цветов: «Подожла цыганская девочка величиной с веник».

Неужели от всего Олеши для вечности остается только метафора, то есть, по определению еще

На фото: Юрий Карлович Олеша.

Рисунки — из работ В. Юрлова к новому изданию произведений Ю. Олеши. (Издание «Художественная литература».)



Аристотеля, «перенесение имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии... слагать хорошие метафоры, — значит подмечать сходство в природе». Олеша авторизовал такое отношение к себе и этим, конечно, ограничивал смысл воздействия своего творчества.

Совсем недавно об Олеше появилась первая книга «Мастерство Юрия Олеша», книга Мариэтты Чудаковой — очень емкая, свидетельствующая о наличии у ее автора тонкого литературного чутья, чуткая, чуткая человеком, влюбленным в искусство Юрия Олеша. Я бы только уточнил определение предмета исследования Мариэтты Чудаковой: пожалуй, вернее было бы назвать ее книгу «Мастерство фразы у Юрия Олеша». Может быть, в этом ограничении себя изучением только изобразительных средств художника сыграло известную роль то, что можно назвать «самооговором» художника, представившего себя преимущественно назывателем вещей. Подобные случаи самооговора, как мы знаем, можно встретить у больших русских художников слова, тех же Гоголя и Толстого, перед которыми Олеша преклонялся. Ведь известно, что свои собственные великие художественные произведения они третируют много лет спустя после их создания, будучи не удовлетворены якобы недостаточностью их воспитательной силы. У Олеша самооговор принял обратный характер: он оставил в своих произведениях для вечности только метафору, то есть, по существу, фразу, внезапно по открытию сходства одного

явления или предмета с другим. И Мариэтта Чудакова в своем анализе «изображающей» фразы Юрия Олеша на этом и остановилась. И хотя она выставила крупным планом некоторые особенности изобразительных средств художника и это является достоинством ее книги, но в целом подход ее к творчеству художника оказался односторонним. В аннотации книги сказано, что в ней раскрывается творческий мир видного советского писателя Юрия Олеша, но разве творческий мир художника может быть сведен к его изобразительным средствам без осмысления того, что определяет индивидуальное видение мира этим художником?

Олеша — художник-мыслитель, мыслитель глубоко социальный, характерный для той эпохи первоначального становления советского общества, когда вопрос «кто кого» еще не был решен. Олеша сразу определил свое место в этой борьбе на стороне рабочего класса как автор фелетонов «Зубил», о чем с таким чувством сказал в своих ретроспективных заметках из записной книжки: «Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни — это моя работа в «Гудке». Тут соединились все: и моя молодость, и молодость моей Советской Родины, и молодость нашей прессы, нашей журналистики».

В первую эту работу Олеша «сверхурочно» написал роман «Зависть», опубликованный им в журнале «Красная новь» в 1927 году, а еще до этого — сказку «Три толстяка», которая пролежала в столе у писателя несколько лет и была издана уже после того, как Олеша стал автором романа, сделавшего его знаменитым. Как известно, сказка «Три толстяка» скоро была инсценирована Олешей и поставлена еще во времена К. С. Станиславского. Она удержала свое место в репертуаре МХАТа до наших дней. Сказка стала основой сценария кинокартины А. Баталова и совсем недавно принесла Государственную премию режиссеру детского театра Наталии Сац, положившей произведение Олеша в основу своей талантливой оперной постановки для юного зрителя.

Все это хочется напомнить, потому что «Три толстяка» были первой сказкой в русской литературе Страны Советов еще в ту раннюю пору, когда сказка была взята под сомнение, сказка — вообще как жанр советской литературы. Сказка с ее обращением к волшебникам, с главенствующей в ее сюжете ролью чудесного и сверхъестественного казалась тогда нелепой, не слишком разбиравшимся в литературе десятилетиям проповедью мистики и идеализма. Удалейшая олешинская фантазия «Три толстяка» смела со своего пути все эти препятствия и, подержавшая Алуначарский, начала свое триумфальное шествие по нашей стране как одна из любимых детских книг и основа многих инсценировок. Она была наполнена до краев современным политическим содержанием, прославляла героев революции и ее борцов, среди которых немалую роль играла фигура ученого доктора Арнера, ставшего на сторону народа, против богатых. И это было знаменитым временем, потому что в центре внимания значительной части советской литературы тех лет стояла проблема: интеллигенция и революция.

Естественно то оживление, которое вызвала «Зависть» Юрия Олеша, по своей проблематике ставшая в один ряд с такими выдающимися произведениями тех лет, как роман «Города и годы» Константина Федин, а также с частично опубликованным романом Михаила Булгакова «Белая гвардия» и созданной автором на его основе пьесы для МХАТа «Дни Турбиных». Но если по общественной позиции автора «Зависти» она при всем своеобразием решения задачи сближалась во многом с романом Фе-

на своим пониманием того, что только революция, только Советская власть открывают для интеллигенции перспективу творческого развития, то Михаил Булгаков еще искал в своем романе голожительно-о решения этой проблемы.

Едва ли имеет смысл возвращать нас сегодня к тем спорам и недоразумениям, которые в свое время вызвала «Зависть» при своей первой публикации. Гораздо важнее сказать о том, что и сегодня роман Олешин сохраняет свое идейно-художественное значение не только для нас, но и для Запада. Нельзя все же не напомнить, что внимательно следившим за развитием молодой советской литературы А. М. Горький отметил «Зависть» в одном ряду с фадеевским «Разгромом». В письме от 2 октября 1927 года он выделен среди других писателей Фадеева и Олешу: «...должен сказать, что русских «молодых» читаю более охотно, даже с жадностью. Удивительное разнообразие типов у нас и хорошая дерзость...»

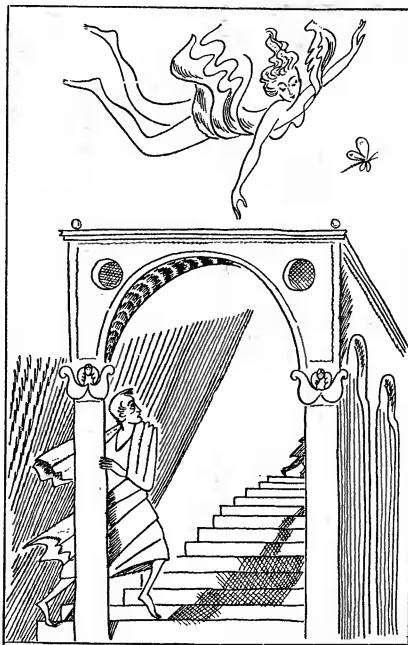
«Хорошая дерзость» Олешин в его «Зависти» состояла не только в том, что он подверг осмеянию в образе Кавалерова никчемного интеллигента, который, представляя себя «согной земли» и будучи, как он выражался, «тощим великими пламенами», на деле не делал ничего, но и тем, что в образ положительного героя романа — большевика Андрея Бабичева Олеша внес и элемент сатиры. Андрей Бабичев, при всем своем стремлении к деятельности и увлечении созидательной работой, страдает неким самодовольным оптимизмом дельчатости. Он отнюдь не типичен как революционер ленинского склада, хотя еще до революции был в партии, принимал участие в гражданской войне и глубоко верит в созидательную силу социализма. Целиком сатиричен образ Ивана Бабичева, брата Андрея, толстенького человека в старомодном котелке, инженера — врага машин, демонстративно появляющегося со своей подушкой в папернике — подушкой он хочет защититься от наступления нового мира. Финал «Зависти» может служить образом злой и беспощадной сатиры. Машина с кротким именем «Одезия», созданная Иваном Бабичевым, уничтожила своего творца. С этой аварией проектерской мысли врага машин совпадает полная авария в его судьбе, как и в судьбе Кавалерова.

Сквозь весь роман проходит «дело», которым поглощен Андрей Бабичев — постройка «четвертака», «Зависть», можно сказать, едва ли не первый в советской литературе роман, в содержании которого мотивы индустриализации страны получили своеобразное художественное преломление. Это одна из самых сильных заливо советской литературы на вечную тему о споре личности с обществом. Агрессия собственнического индивидуализма предстает в «Зависти» во всем своем озлобленном ничтожестве.

Зависть Кавалерова к Андрею Бабичеву — это зависть старого к молодому, зависть прошлого к будущему, и чем более несправедлив Кавалеров в своем низменном пристрастии к Бабичеву-созидателю, тем большее значение приобретает роман Олешин как утверждение торжества будущего.

С этим связана и другая тема, специфическая для XX века, значение которой в наш век научно-технической революции будет все возрастать. Эта тема — человек и машина. Олеша сказал однажды, что тема человека и машины — это спор нового мира со старым, об этом написан и весь роман.

Провозвестником и певцом новой техники выступает в романе Юрия Олешин комсомолец Володя Макаров. И если задать вопрос: кого из своих героев любит автор «Зависти», кого противопоставляет Кавалерову не так, как Андрея Бабичева, то ответ будет: конечно, Володю Макарова. С ним, с его об-



разом, как и обаятельным образом Вали, его подружки, связаны самые светлые, полные жизни и красоты эпизоды романа, например, тоже развернутое во всем своем идеологическом значении и великолепно написанное зрелище футбольного матча. Индивидуальное видение мира советским художником Юрием Олешем освещено пониманием принципиальной разницы стилей игры представителей разных отношений к личному успеху — у Володи Макарова и у Гецка, иностранной знаменитости, занятой только собственной славой и выгодой в результате игры.

Если «Зависть» явилась своего рода прологом к советским романам о социалистическом созидании, то ряд замечательных рассказов Юрия Олешин, опубликованных в конце 20-х и начале 30-х годов, то есть уже в годы первой пятилетки, естественно, сложился в цикл, обладающий определенной идейной ценностью. Пожалуй, наиболее сильно обращен в будущее, в социализм, как общество созидания, рассказ «Вышневая косточка». Это лирический рассказ о пятилетке, о времени, подчинившемся человеку. Время в масштабах плана требуется для того, чтобы на пустыре из земли, где покоится вышневая косточка, подымаются индустриальный гигант пятилетки; время — символ и реальность того, чтобы из вышневой косточки, закопанной Федей на пустыре в память о неразделенной любви, выросло вышневое дерево; и, наконец, малое, бытовое время, нужное для того, чтобы влюбленный, пришедший на свидание,

понял, что ждать ему нечего: любовь «планом не предусмотрена». Профработчик Апель ведет экскурсию по пустырю, объясняя, что через пять лет здесь будет воздвигнут бетонный гигант. Апель — реалист, Фэдя — романтик, но оба они живут в «невидимой стране», говорит Олеша, точнее сказать, в еще невидимой стране, потому что это страна будущего. «Корпус этот будет расположен полукругом», — сказала Апель. — Вся внешность полукруга будет заполнена садом. У вас есть воображение?

— Есть, — сказал я. — Я вижу, Апель. Я вижу ясно. Здесь будет сад. И на том месте, где стоите вы, будет расти вишневое дерево».

Этот рассказ был написан в 1929 году. Тогда же, когда Маяковский написал свой знаменитый «Рассказ Хренова о Кузнецком и о людях Кузнецка», с такой последней строфой:

Я знаю — город будет,
Я знаю — сад цвезть,
когда такие люди
в стране советской
есть!

Мы слышим здесь голос самого поэта, как бы в заключение рассказа Хренова, одного из работников Кузнецкострой:

Здесь взрывы закудахают
в разгон медвежьих банд,
и взроет недра
шахтою
стоугольный гигант.

Ситуация, напоминающая, конечно, объяснения экскурсовода в рассказе Олеси насчет «бетонного гиганта» и заключение автора о саде и вишневом дереве. Убежденность в успехе первой пятилетки социализма у Олеси не уступает идейно-эстетической силе рассказа Маяковского, хотя у каждого из этих художников слова свое решение художественной задачи. Оба они живут в «третьей действительности» — так называл, как известно, Горький действительность будущего.

Маяковский во всем своем творчестве исходил из той же позиции основоположника социалистического реализма. Юрий Олеша — слишком заметная величина в истории советской литературы, чтобы не задаться вопросом: в каком отношении является его творчество к методу социалистического реализма? Известно восторженное отношение Юрия Олеси к Маяковскому, к его личности, к его, пользуясь выражением Пришвина, творческому поведению, к его метафорической стилистике.

«Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского», — вспоминает Олеша в своих записных книжках. — Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным переписке почти всех его строк.

Что же лучше? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственно-го сердца?»

Эстетическая сущность метафоры, как изобразительного средства, совершенно иная по сравнению с Маяковским. Хозяин «лавки метафор» Олеша приводит такой пример:

«...у меня был запас великолепных метафор. Однажды даже чуть-чуть произошел в лавке пожар от одной из них. Это была метафора о луже в осенний день под деревом. Лужа, как сказано, лежала под деревом, как цыганка...»

Маяковский так никогда бы не мог сказать. Если у Олеси строение метафоры ассоциативное, то у Маяковского его можно охарактеризовать как гиперболически-предметное. При всей принципиальной разнице использования одного и того же изобразительного средства художественные решения Олеси и Маяковского находятся в общем изобразительном ряду того течения искусства, в котором условность обнажена и откровенно доминирует. В художественной палитре социалистического реализма — ныне это уже ни у кого не вызывает сомнений — подобная условность, вмещающая практически бесконечное число индивидуальных выражений, является столь же законной, как и множественное выражение эстетических принципов так называемого жизнелюбия.

Мне довелось помогать Юрию Олеше в составлении его «Избранного», вышедшего в свет в 1956 году. В совместной работе мне не раз приходилось слышать от него об одном стихотворении, которым он хотел открыть свой одностопник прозаика и написал об этом в докладной записке об его издании, что в нем, в этом стихотворении, «моя вера». Стихотворение называлось «Ленинизм живет». Он вспоминал с гордостью, что оно появилось в первой годовщине смерти В. И. Ленина в «Гудке», рядом со «Снежинками» и отрывком из поэмы Маяковского о Ленине, только недавно законченной.

В речи на I съезде советских писателей в 1934 году, потрясшей всех своей, да, своей исповедальностью, Олеша делился своими мечтами, чтобы не сказать планами, художника:

«Я хочу создать тип молодого человека, наделив его лучшим из того, что было в моей молодости...

Все свое ощущение красоты, изящества, благородства, все свое видение мира — от видения одуванчика, руки, пера, прыжка до самых сложных психологических концепций — я постараюсь воплотить в этих вещах в том смысле, чтобы доказать, что новое социалистическое отношение к миру есть в чистейшем смысле человеческое отношение...»

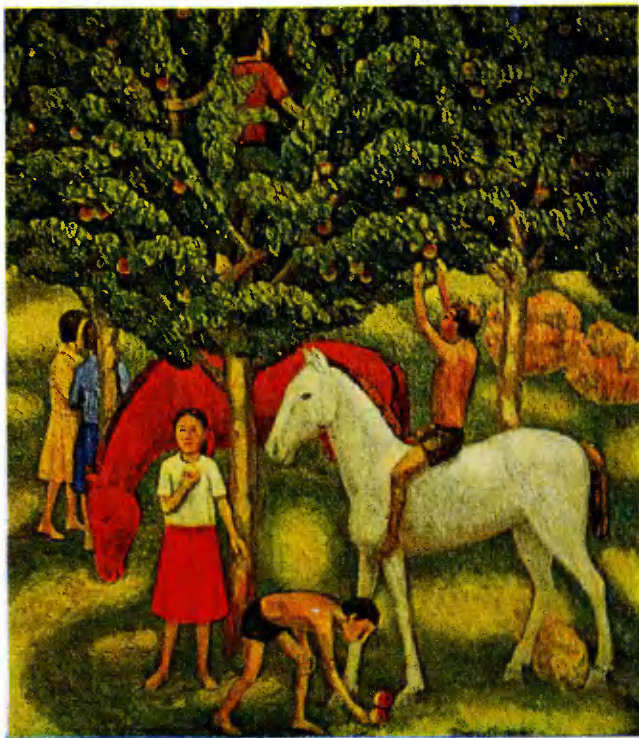
«...до самых сложных психологических концепций» — да, Олеша во всем, что им создано, не только художник-мыслитель, но и психолог, стремящийся дойти до сути душевных состояний своих героев. И недаром он, с таким увлечением отдавшийся индустрировке знаменитого романа Достоевского «Идиот» для театра Вахтангова, решил эту задачу успешно, с чувством проникновения, достойным гения русского романа.

Страна русской литературы столь богата, что не дивно для нее, если ныне сокровища ее по многу лет остаются в записке. Пора вынести на свет из записки все лучшее, созданное Юрием Олешей. Памятная дата — ему исполнилось бы в этом году 75 лет — этому способствует. Творчество Олеси в целом — неотторжимая, великолепная часть русской художественной прозы советской эпохи. И наша молодежь, наш пылкий молодой читатель должен знать эти блистательные страницы.



З. ХАБИБУЛЛАЕВ
(Душанбе).

Метеостанция Каракуль.



А. БЕИШЕНОВ
(Ош).

Под яблоней.



А. РАХИМОВ (Душанбе).

Портрет знатного чабана Мамаджона Юсупова.

Из произведений художников Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР
и Узбекской ССР.



Б. ДЖАЛИЕВ
(Ош).

Ош строится



Б. БАБАЕВ
(Ташкент).

Утро мастера.



К. БЕКМУРАДОВ (Ашхабад).

Пробуждение безмолвных.



ПРАЗДНИК КРАСОК

Когда у туркменского писателя Берды Кербаяева спросили, что дала туркменскому народу Советская власть, он ответил: «Все».

«Все» — это и новый уклад жизни и новые взаимоотношения людей. Это расцвет науки и культуры. Много веков религия запрещала изображение людей и животных. Так что сюжетную живопись, скульптуру, графику, по существу, нужно было создавать заново. И большую роль в возрождении изобразительного искусства Средней Азии сыграли русские советские художники.

...Я помню юбилейную выставку 1965 года, посвященную сорокалетию изобразительного искусства Туркмении; она была открыта в Москве на ВДНХ. Натюрморт, пейзаж, портрет и очень слабая попытка создать тематическую картину. Тогда впечатляла, пожалуй, только полотно Иззата Клычева. И вот прошло десять лет. Опять юбилейная выставка в Москве. Разительные перемены! Обилие тематических полотен, необыкновенно широкий круг тем. И содержательность. И стремление связать прошлое с настоящим. И яркий образ современника.

Мне не приходилось бывать в Туркмении. Мне знакомство с туркменскими художниками произошло в Москве. В нынешнем году они приехали целой группой на открытие своей юбилейной выставки. Мамед Мамедов, Дурды Байрамов, Шамухамед Акмухамедов, Ярыс Байрамов, Кульназар Бекмурадов. Все они разные и по складу характера и по художническому темпераменту, но все они, бесспорно, талантливы.

У них сходны биографии. Воспитывались в детских домах, у русских педагогов, которые и помогли юным познать прекрасное. Все они, окончив Ашхабадское художественное училище, учились потом в художественных вузах Москвы и Ленинграда. Кульназар Бекмурадов теперь известен как живописец и график. Он очень сдержан и немногословен как в жизни, так и в творчестве. В графике и живописи Кульназар затрагивает важные социальные проблемы и стремится к серьезным обобщениям («Победное шествие республики», «Весть», «Пробуждение безомытых»). Теме раскрепощения женщины К. Бекмурадов посвятил свое полотно «Пробуждение безомытых». В прошлом женщина, согласно корану, должна была «быть слепой, глухой, немой». Она — забытое существо, собственности отца и мужа. В картине Бекмурадова как бы два действующих лица: безжизненное, монотонное пространство пустыни в охристых тонах и женщины в красном на фоне юрты. Торжествующий красный цвет, любимый цвет Туркмении, символ жизни!

Другой молодой живописец Дурды Байрамов. Темы его произведений разнообразны и глубоки по содержанию. Для полотен Дурды характерна внутрен-

няя напряженность образов («Первые руководители республики», «Студенты», «Ковровщицы»).

Пейзаж занимает особое место в живописи Киргизии. Природа, среди которой жил киргиз-кочевник, оказала немалое влияние на формирование национального характера и творческую индивидуальность художников. Недаром первые киргизские советские художники Г. Айтиев и С. Акылбеков были пейзажистами. Ощущение близости к природе характерно и для молодых художников Киргизии А. Бейшенова, С. Бакашева. В полотне С. Бакашева «Плоющие горы» тонкое ощущение гармонии человека и окружающего мира.

Ритм жизни страны, духовное богатство нашего современника находят образное воплощение в произведениях таджикских художников.

Это наиболее характерно для произведений Хушбаха Хушвахтова и Зухура Хабибуллаева. В живописных полотнах «Метеостанция», «Нурек» Хабибуллаев раскрывает характер современной жизни республики. В его романтических полотнах отражены грандиозные преобразования, меняющие облик прежней окраины России. Эпической широтой отличаются горные пейзажи Х. Хушвахтова. Интересно работает в портретном жанре Абдурахман Рахимов. В живописи он лирик. Манера письма прозрачная, легкая. Образ человека у Рахимова всегда эмоционален, будь то «Портрет танцовщицы Гаухар Мирджумоевой» или «Портрет знатного чабана Мамаджона Юсупова».

Интересно работают молодые художники Узбекистана Гафур Абдурахманов, Бахтияр Бабаев, Владимир Бурмакин. Они почти ровесники: все выпускники Ташкентского театрально-художественного института. Гафур Абдурахманов работает в самых разных жанрах. Художник смотрит на природу глазами современника, стремясь отразить в своих произведениях глубокий смысл преобразований. Такова его работа «Целища». По идейному замыслу наиболее интересна работа «Новый хозяин» — о становлении Советской власти в Узбекистане. Молодой художник из Узбекистана Юрий Тадыкин, страстно влюбленный в жизнь, стремится своими красивыми, наполненными воздухом, цветом и светом произведениями «Горный кишлак», «Ковровый базар», «Осенний натюрморт» доставить людям радость.

Бахтияр Бабаев за триптих «Ферганская сюита» был удостоен в 1971 году серебряной медали Академии художеств СССР. В полотнах «Хивинские мастера», «Раштанский мастер», «Утро мастера», созданных после поездок по стране, Бабаев умело волею в композицию произведения предметы народного быта. В работах Бабаева всегда присутствует пейзаж, но пейзаж здесь не фон, а жизненная среда.

Владимир Бурмакин всего на год моложе Бабаева. В тридцать лет состоялся его первая персональная выставка. Темы произведений Бурмакина разнообразны, но чаще всего он посвящает свои полотна узбекской женщине. Такова «Байсуанская мадонна», в которой художник дал образ женщины маленького узбекского селения Байсун.

Многогранность почерков и стилей художников республик Средней Азии говорит о самостоятельности мышления, о глубоком восприятии художниками действительности и определяет художническую индивидуальность каждого. Их многогранная творческая жизнь — яркий пример того, как много дала Советская власть для духовного развития каждой нации, входящей в дружную семью народов Советского Союза.



ВСТРЕЧИ

Арий РОТНИЦКИЙ

Дети
тульских рабочих
в гостях у Л. Н. Толстого.
Справа
в верхнем ряду —
автор очерка.

Фото
Софьи
Андреевны
Толстой.



«ПРИШЛИ 800 ДЕТЕЙ — ХОРОШО»

О Толстом написано уже так много, что кажется, будто каждый день его жизни известен, каждое событие его биографии хорошо знакомо.

Посещали Толстого многие люди — и знаменитые и никому не известные. Приходили все, кто нуждался в совете или поддержке писателя. Воспоминания же о нем оставили главным образом лица известные, и правдивость рассказов их подтверждена личным авторитетом и славой авторов. Кроме бесценных деталей жизни Льва Николаевича, эти воспоминания открывают для нас и круг интересов писателя, показывают его не только властителем умов человеческих, но и покровителем, поборником важных начинаний. Каждый эпизод, доказывающий гражданское подвижничество Толстого, особенно дорог нам, потому что служит примером правильности истины, на которой мы воспитываем молодую поросль литературы и молодежь вообще: «Нст бол-

шого писателя без настоящего гражданина, Деятеля общественного. Нет и быть не может».

О своих двух встречах со Львом Николаевичем я хочу рассказать, помня именно об этой истине и о том, чтобы она не становилась расхожим штампом. Тем более что поводом для наших встреч была, конечно же, не моя личность, а заботы Толстого о новом по тем временам общественном деле — воспитании детей из бедных крестьянских и рабочих семей. Речь пойдет о том, как в Ясную Поляну к Толстому приехало около тысячи детей тульских рабочих. О том, как и почему эту необычную поездку организовала комиссия детских развлечений, председателем которой мне довелось быть.

Стоит сначала сказать о комиссии. Она начала работать в 1906 году при тульском отделе Общества охранения народного здравия. Инициаторами ее организации были молодые педагоги и учителя, преподававшие в школах рабочих районов, они же и яви-

лись горячими приверженцами идеи повезти детей к Льву Николаевичу.

Наверное, многое, касающееся нашей комиссии и памятной поездки в Ясную Поляну, станет ясным, если объяснить, каковы были настроения и взгляды тогдашних молодых педагогов. Причины же настроений кроются в наших судьбах, конечно. Коротко расскажу о своей жизни: это и легче и оправдано тем, что я был застрельщиком и в деле создания общественной организации, занимающейся доступом детей и рабочей молодежи, и в осуществлении поездки к Толстому.

Мое детство прошло большей частью на окраинах Тулы. Несмотря на то, что семья была из интеллигентов, товарищами моих детских лет были ребята из рабочих семей. Мне довелось воочию убедиться в заброшенности и бескультурье молодежи городских окраин, проводившей свободное время в картежничестве, пьянстве, драках. Никто из властных толком не заботился об этой молодежи. Требовалось от нее только одно — работать, отдавать силы и жизнь на создание тех богатств, которые принадлежали капиталистам. Получив образование, я начал работать среди детей с окраин. И стал задумываться: как сделать радостной и полной детство этих сыновков державы российской, вырвать их из темноты и духовной изоляции.

Направление моим друзьям давали книги лучших русских писателей, и в первую очередь Льва Толстого.

Имя Толстого я слышал с детства. В моей семье его любили все. Знакомые моих родителей также были поклонниками Толстого. Первые детские книжки, которые мне дарили, были сборниками сказок и рассказов Льва Николаевича. В то время, когда я учился в Тульском реальном училище, готовиться к экзаменам мне помогла молодая, глубоко образованная преподавательница Жозефина Иполитовна Белявская-Гаваяцкая. Она давала мне частные уроки по истории и литературе. И часто дитявообразно точные, мудрые высказывания Толстого. С волнением рассказывала мне все, что было ей известно о жизни и взглядах человека, которого она считала своим духовным учителем и наставником. О том, как благоговейно относился к писателю эта женщина, пример которой привел меня к увлечению педагогикой, говорит хотя бы такой случай. Однажды во время урока Жозефина Иполитовна просматривала газету, пока я готовился ей отвечать. Вдруг я заметил, как лицо ее побледнело, стало гневным, и неожиданно для меня это обычно очень сдержанная женщина закричала: «Они отлучили Льва Толстого от церкви! Нашего великого Толстого! Какая возмутительная глупость!»

Вскоре эта новость стала известна всей семье и вызвала такой же отклик.

Думаю, что рассказал достаточно и о причинах своего прихода в педагогику и об отношении тех людей, которые меня окружали, к имени Толстого. Товарищи мои по комиссии детских развлечений примерно так же, как я, пришли к решению серьезно и по-новому заняться воспитанием и образованием детей рабочих. Мы были единомышленниками во всем, что касалось нашей работы, жизни, литературных увлечений. Стоит ли говорить, что имя Толстого было у нас на устах? К тому же нам повезло — Ясная Поляна недалеко от Тулы. Я же считался в нашей среде просто счастливым: дача моей семьи находилась совсем рядом с толстовской усадьбой и мне часто приходилось видеть Льва Николаевича гуляющим по окрестностям, а моя мать даже разговаривала с ним при встрече на утренных прогулках.

Когда комиссия начала осуществлять свои первые замыслы, мы неожиданно столкнулись со многими трудностями. Ведь опыта организации детского коллективного отдыха не было ни у кого из нас. Что-то удавалось (например, создание игровых площадок, выезды в лес, работа детских библиотек), а что-то нет. Главное, не ясны были перспективы, не нащупывалось основное направление усилий. А частые споры на эту тему не приводили к единому решению. И понятно, ведь мы были молоды, горячи; мне, председателю, шел всего двадцать второй год! Хотелось каждому как можно громче заявить о себе на общественном поприще, в деле, полезном, как мы любили выражаться, народу.

Именно это желание, с одной стороны, с другой — необходимость получить совет старшего, более опытного человека, счастливо соединились в идее поездки к Толстому вместе с нашими питомцами и учениками. Ведь слава Толстого-педагога, создателя яснополянской школы для крестьянских детей, была очень велика. Нужно здесь разъяснить, почему эту поездку мы рассматривали и как выразительный общественный жест, как поступок, говоривший о наших убеждениях. Дело в том, что не только городские власти зло истороженно относились к своему прославленному соседу, графу Толстому. Нам прекрасно было известно, что тульское купечество и многочисленные и разнообразные представители «черной сотни» называли Ясную Поляну не иначе как «осным гнездом». О последствиях задуманной поездки посвященные в ее организацию высказывались разное, но сходились в одном: ничего хорошего ждать от властей не придется. Хотя бы потому, что все знали об их отношении: духовенству и учителям запрещено общение с Толстым.

Поэтому в комиссии о предстоящем деле не распространялись. Все-таки не хотелось никого подводить. Председатель правления тульского отделения Общества охранения народного здравия Сергей Григорьевич Озеров добился в свое время от губернатора согласия на создание нашей комиссии только на условии ее доблестности. А губернское управление требовало список всех членов комиссии, и с этих пор все мы находились под наблюдением полиции. Так что готовить задуманное пришлось без излишней оласки.

Писать письмо Толстому полутьш-полусерьезно поручили мне как «дядьному соседу». Помню, долго мучился в сомнениях, стоит ли обращаться к графу по форме: «Ваше сиятельство». Но все-таки решил начать так: «Душевноуважаемый Лев Николаевич! Начало и текст товарищи одобрили. Несколько дней до поездки пролежал, как осли дон. Забот хватало, тревог — тоже, радостное ожидание встречи с Толстым делало всех нас, по-моему, очень похожими друг на друга: возбужденные разговоры, заговорившие взгляды, веселый смех, прерывающийся минуты задумчивости... все это бросалось в глаза нашим близким и знакомым. Они строили самые нехотеные предположения, а нас это веселило еще больше!

26 июня 1907 года, день посещения Ясной Поляны детьми тульских рабочих, вошел в летопись жизни А. Н. Толстого как день, доставивший ему радость. Навсегда он остался памятным и для детей и, разумеется, для организаторов этой встречи.

Об этом событии сообщалось в газетах в то время, и не раз позднее в печати вспоминали о нем. Не поостыя того, что известно по этим публикациям, я хочу лишь дополнить публикации описанием второй половины того знаменательного дня и рассказать о

своих встречах с А. Н. Толстым 26 июня и через несколько дней.

...После веселых, шумных игр на глазах Льва Николаевича и его семьи дети разошлись по усадьбе, многие убежали в лес, в поле, в деревню Ясная Поляна. В лесу с детьми побывал и сам Толстой. Вернулся очень довольный, улыбающийся. Наступал уже вечер. От обилия впечатлений этого длинного дня [многие дети не спали с 4—5 часов утра, а в поезде постыть не давало новое для них впечатление езды по железной дороге] все, конечно, устало. Пора домой, в Тулу, решили мы. Лев Николаевич заметил, что среди гостей было 15—20 совсем маленьких детей, и попросил жену Софию Андреевну распорядиться, чтобы этих малышей отправили на станцию на подводе.

Был дан сигнал к сбору. Знаменщики с флагами разместились по всем дорожкам. На сборы ушло порядочно времени.

Ко мне подошел врач А. Н. Толстого Душан Петрович Маковикич и сообщил, что меня просят к себе Лев Николаевич. Влюбленный в Толстого Маковикич тоном и выражением своего доброго лица дал мне понять, что мне, по его мнению, оказана большая честь. Я не предполагал, зачем Лев Николаевич просит меня, но независимо от этого был рад видеть его рабочий кабинет и был заинтересован, по какому делу я Толстому нужен.

Душан Петрович привел меня в комнату под сводами. После яркого солнца на дворе комната показалась мне сумрачной. Обстановка была в ней самая простая: небольшой стол, несколько стульев. За столом сидел Лев Николаевич, а около стола — несколько незнакомых мне людей.

— Хочу с вами посоветоваться, — сказал мне Толстой. — Я пригласил около двухсот книжек в подарок детям. Хочу, чтоб у них осталась память о Ясной Поляне. Но детей так много, что не знаю, как поступить. Может быть, устроить жребий?

Я обрадовался решению Толстого, но идея жребия меня смущала.

— Лев Николаевич! Дети не поймут этого. Те, которые не получают книжек, будут все равно огорчены, будут завидовать получившим, и это омрачит их праздничное настроение. Так мне кажется...

— Да, пожалуй, вы правы, — согласился Лев Николаевич, — придется отказаться от раздачи книжек... Благодаря вас и вашу комиссию детских развлечений я для организации этого радостного и незабываемого праздника. Мне хочется подробней расспросить вас о деятельности комиссии, но сейчас, понятно, это невозможно. Вы устали, детям надо домой, а дорога нам всем предстоит нелегкая поспея беготни и забот. Приходите ко мне в другой раз. Обязательно приходите, и мы поговорим.

Я сердечно благодарил Льва Николаевича за радужный прием, за приглашение посетить еще раз Ясную Поляну и спросил, когда я могу им воспользоваться.

— Я все время в Ясной, нигде не выезжаю.

— Лев Николаевич, дети уже собрались, и мы хотим проститься с вами и вашей семьей.

— Хорошо, мы скоро соберемся на террасе.

Прощание с Толстым было трогательным. На террасе дома стояли Лев Николаевич, София Андреевна и гости Толстых. Дети проходили мимо них отрядами, как на параде, каждая группа со своим флагом. Кричали дружно в честь хозяев «Ура!». Лев Николаевич, взволнованный, растроганный, кивал головой, и дети, видимо, уловив его состояние, погрузились и стали даже по-особому торжественны. Но у въездных башен детвору ожидал хорошо знакомый ребятам Ефим Петрович Гоголев, член комис-

сии, который привез на подводе сладкие гостинцы и вместе со своими помощниками раздавал их маленьким гостям Толстого. Видя это, Толстой повеселел, внимательно наблюдал оживленную толчею вокруг Гоголева.

Отъезд со станции и приезд в Тулу прошли благополучно. Вернулись на детскую площадку в Арсенальном саду около десяти часов вечера. Там нас ожидали родители ребят, горячо благодарили нас организаторов поездки к А. Н. Толстому.

Утром следующего дня я получил приглашение на экстренное собрание правления тульского отделения Общества охранения народного здоровья. Идя на собрание, я готовился к неприятным объяснениям по поводу экскурсии в Ясную Поляну. Какие неприятности посыплются на наши горячие головы — вот о чем гадал я по дороге.

Заседания проходили в квартире председателя отделения общества доктора С. Г. Озерова. Встревоженный, я вошел в необычно переполненный зал, и неожиданно мне встретили аплодисментами, почти овации. После моего доклада правление одобрило поездку и наши усилия, а мне выразили благодарность за «доставленную Толстому радость».

Однако городская администрация все-таки стала расследовать, кто допустил крамольную поездку. Для объяснений вызывали инспектора народных училищ, при содействии которого мы получили бесплатный проезд поездом. Городской голова А. А. Любимуров, как я узнал, уже намеревался уволить учителей городских школ, участниц поездки. По совету тех, кому грозило увольнение, и обратился к фабриканту Д. Шемарину, попечителю школ Зареческого района, с просьбой защитить учительниц. Шемарин очень уважал Толстого, о чем я не раз слышал. Возмущенный угрозой Любимурова, он в тот же день заявил городскому голове, что, если за поездку к Толстому будут уволены учительницы, он откажется от своего попечительства.

Любимуров не ожидал такого «пассажа» и отметил увольнение.

От инспектора народных училищ я узнал вскоре, что за поездку в Ясную Поляну власти намеревались выслать меня в Архангельскую губернию.

— Я рассказывал о вашей деятельности, — сказал инспектор, — о том, что я не раз уже давал вам разрешение на бесплатный проезд детям за город, что все поездки всегда доставляли им большую радость. Говорили, что высылать вас — значит, делать из вас мученика в глазах рабочих, а это не в интересах властей. И то, что дети видели автора любимой ими «Азбуки», не может повлиять на них плохо. «Именные граждане» удивились, узнав, что в школах пользуются «Азбукой» Толстого, и это охладило их пыл.

Но тревоги, как выяснилось, еще не кончились. Позднее меня вызвали в полицейское управление и взяли подписку, что на поездки с детьми я буду предварительно получать в полиции разрешение. В дальнейшем, если намечался выезд с детьми за город, «для охраны порядка» нам присылали двух городских.

30 июня того же года я решил воспользоваться приглашением А. Н. Толстого и поехал в Ясную Поляну. Был прекрасный летний день. От станции я пешком направился к усадьбе. Предстоящая встреча меня волновала еще больше, чем 26 июня. Когда мы в башенки, я пошел по «прешпекту», сердце забилось особенно сильно. Я знал, что эта встреча бу-

дет мне памятна на всю жизнь. К тому же сознание того, что опять я «преступил» запрет встречаться с Толстым, делало радость оздоровой и острой. Хотелось ее прожить, и я не спешил.

Все медленнее приближался я к исполняющему дому. Было около десяти часов. Порядков, заведенных в доме А. Н. Толстого, я не знал: когда мы были в Ясной Поляне 26 июня, работы о почти тысячной толпе детей не оставляли свободного времени ни на беседы, ни на расспросы домашних Толстого.

Боялся, что появилось слишком рано.

По дороге к дому не встретил никого. Первой меня заметила с террасы Софья Андреевна. Она приветливо поздоровалась.

— Вы, конечно, к Льву Николаевичу, но у нас строгое правило: когда он работает, его не беспокоят. Будете проводить время в моем обществе...

Софья Андреевна веда со мной беседу, как с давним знакомым.

— Вы сегодня гость Льва Николаевича, и я приглашаю вас обедать у нас. Будете сидеть рядом с Львом Николаевичем с правой стороны. А до обеда располагаетесь, пожалуйста, в усадьбе, как дома.

В эти часы здесь не было посетителей. Иногда проходили исполняющие жители. Незадолго до обеда Софья Андреевна пригласила меня на террасу, сказав: «Скоро появятся Лев Николаевич!»

Как меня встретит и примет Толстой?

Неожиданно он появился, увидел меня, задержался, как бы вспоминая что-то, и сказал:

— Здравствуй! Хорошо, что пришла. Как дети доехали до Тулы?

Толстой сел на главе большого накрытого стола.

Я очень волновался, когда такая масса мальчиков купалась в Воронке — сказал Лев Николаевич. — Хорошо, что все обошлось благополучно.

Мне казалось, — ответила я, — что можно было бы организовать купание в прудах.

Не дав ответить Льву Николаевичу, в разговор вмешалась Софья Андреевна:

— У нас на пруду была хорошая купальня, но приятели Льва Николаевича, яснополянские мошеники, сожгли эту купальню.

Толстой нахмурился. Наступило неловкое молчание...

После обеда Лев Николаевич сказал мне, что пойдет отдыхать, а потом мы снова встретимся.

В ожидании беседы я осматривал усадьбу. Ко мне подошел художник Михаил Васильевич Нестеров. Мы познакомились с ним еще 26 июня. Сказал мне, что у него осталось очень сильное впечатление о пребывании детей в Ясной Поляне, особенно от игры в березовом лесу, где среди пышного разнотравья Лев Николаевич, как добрый волшебник, веселил детей.

Хотелось запечатлеть эту живописную группу: столько в ней было взаимного интереса друг к другу и озорства... Мне Софья Андреевна передала, что вы скоро будете беседовать с нашим хозяином, — продолжал Нестеров. — Я просил Софью Андреевну устроить эту беседу напротив террасы, а я буду сегодня заканчивать портрет Льва Николаевича. Работая над ним уже неделю. Очень трудно! Толстой не хочет или не может позировать. Пожалуйста, постарайтесь подольше задержать его...

Я обещал исполнить его пробы, если удастся.

Нестеров уже готовился к работе. Около «дерева бедных» установил свой мольберт с портретом и выбрал место, где нам надо было беседовать. Софья Андреевна распорядилась поставить плетеное кресло для Льва Николаевича, столик и для меня — плетеный стул. Примерно через час Лев Николаевич вышел, указав мне рукой на стул, сам сел напротив.

— Расскажите, что это за комиссия детских развлечений, меня все очень интересует.

Я рассказал о работе с детьми на детских площадках, куда могут приходить все желающие. О загородных прогулках и экскурсиях, о посещениях музеев, театра, выставок. Решение посетить Ясную Поляну возникло у нас давно. Мы ожидали, что детей поедет 400—500, но когда рабочие узнали, куда поедут их дети, они стали рассказывать об этом своим друзьям, и детей явилось почти вдвое больше.

— Мы не были готовы к поездке с такой массой детей, — рассказывал я, — нас, руководителей, было мало, боялись не справиться с непоседливой детворой. Родители настаивали, обещали помочь. Дети обещали вести себя хорошо, что, мне кажется, и исполнили.

— Да, дети были прелестны. Софья Андреевна восхищалась дисциплиной и порядком, а меня беседы с детьми очень радовали.

Затем я сообщил о том, что произошло после нашей поездки, о реакции властей. Толстой огорченно воскликнул:

— Не знаю, что им от меня надо!.. А рассказчик про этого купца, который привез к концу дня угощение детям и не пожелал побывать в усадьбе, а расположился у въезда. Что за странный человек?

Я рассказал, что Ефим Петрович Гоголев вел в Москве в Владивостоке торговлю охотничьим оружием. В 1905 году события застали его во Владивостоке, где были вооруженные выступления рабочих. Гоголева обвинили в снабжении рабочих оружием, но так как запрета на продажу охотничьего оружия не было, ограничились лишь высылкой в Тулу без права въезда в Москву. Гоголев был оппозиционно настроен. Он имел солидные средства и помогал деньгами нуждающимся рабочим.

— Это его дочка Катя спрашивала вас о нашем визите, — сказал я.

Лев Николаевич, видимо, вспомнил свой разговор с девочкой и тепло улыбнулся, кивнул головой.

Ефим Петрович Гоголев — продолжал я свой рассказ, — предложил комиссии снабжать наши загородные экскурсии угощением для детей: конфетами, пряниками, фруктами, орехами. Мы обычно сообразили ему приблизительное количество детей перед каждой поездкой. Так мы сделали и теперь. Но, увы, что количество детей почти вдвое увеличилось, Ефим Петрович к нашему отъезду не пришел. Я уже решил, что ему, видимо, не по средствам такой расход.

Но оказалось, что Гоголев остался в Туле, чтобы закупить подарки для всех, и только к вечеру успел привезти их на подводе в Ясную Поляну — ко времени отъезда детей домой. По словам Ефима Петровича, он не пришел в усадьбу потому, что не хотел быть навязчивым и считал, что он, «купчина», не представляет интереса для Льва Николаевича.

Толстой даже немного обиделся, сказал:

— То, что вы рассказали, наборот, вызывает мой интерес к этому человеку. Жаль, что я с ним не поговорил, очень жаль!

В дальнейшем беседе с Львом Николаевичем я коснулся тех затруднений, которые испытывала наша комиссия.

— Нам хочется работать лучше, разнообразить занятия с детьми, — говорил я, — хотелось бы услышать ваш совет, на что нам обратить главное внимание во внешней работе.

Тонком человека, давно обдумавшего ответ на такой вопрос, Толстой заговорил:

— В летние и зимние каникулы первая задача — физическое воспитание. Хороши будут ребятам все виды детского спорта: бег, борьба, лапта, плавание,

городки. Увидите, как детвора быстро привыкнет к спорту. Очень хорошо, что устраиваете посещение театра и музеев. Если все это сопровождается хорошими объяснениями, зрелища эти, безусловно, полезны для детей. Только объяснять непонятное нужно проще и живее. И не очень навязчиво. Без наставлений. В конце беседы я и решил выполнить это поручение.

Накануне моей поездки в Ясную Поляну правление общества поручило мне попросить у Льва Николаевича его сочинения для организуемой нами первой в Туле, в Зареченском районе, детской библиотеки. В конце беседы я и решил выполнить это поручение.

— У меня есть к вам просьба, Лев Николаевич,— начал я.

Толстой, как будто не слыша моего вопроса, продолжал расспрашивать меня о чем-то. Я поглядывал в сторону «дерева бедных», где напряженно работал Михаил Васильевич Нестеров. Он делал мне умоляющие жесты: «Продолжайте беседу!» Лев Николаевич тоже посмотрел в ту сторону. В это время возле Нестерова стояла Софья Андреевна и что-то оживленно показывала ему на портрете. Лев Николаевич вдруг закричал:

— Соя, когда ты перестанешь вмешиваться не в мое дело! Дай человеку работать.

Софья Андреевна поспешно удалилась.

Теперь я позволил себе повторить просьбу о книгах для библиотеки.

— Пойдемте,— сказал Толстой,— я дам вам книжек.— Решительно поднялся, кивнула головой Нестерову, и мы вошли в комнату под сводами. Там он отобрал книжек десять из последних изданий «Посредника».

С Толстым я больше не встречался, но наша первая в Туле детская библиотека надолго оказалась связанной с его именем. Мы стали получать бесплатно детские книги и журналы от издательства «Посредника». Это продолжалось до 1917 года... Много лет спустя я узнал, что 26 июня 1907 года Толстой отметил в записной книжке: «Пришли 800 детей — хорошо». А в дневнике записал небольшой текст обращения к детворе. Но никакой «речи» Лев Николаевич детям так и не сказал, зато не отказал себе в удовольствии прогуляться с ними по окрестностям усадьбы и своим живым, добрым, умным объяснением создал для ребят настоящий праздник в Ясной Поляне.

На память об этом дне у меня сохранилась подаренная Львом Николаевичем фотография с надписью: «Лев Толстой 30 июня 1907 г.».

Она до сих пор висит в моей комнате.



Владимир
СОЛОВЬЕВ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В ЖАНРЕ РАССКАЗА

Время — это действующее лицо.

Льюис КЭРРОЛЛ

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Краткость, законченность — эти формы рассказа слишком уж соблазнительны. Однако измечившая и неограниченная жизнь часто не уместается в прежде уже найденные формы и требует новых. Думая иначе, мы неизбежно оказываемся на формалистических позициях, пытаюсь (безуспешно!) втиснуть новое содержание в старую форму. Забота о форме поэтому — прежде всего забота о содержании, чтобы ему было просторно и хорошо в жанровых границах рассказа. «Жанр — кристалл, через который анализируется жизнь», — писал Виктор Шкловский.

К современному рассказу мы нередко подходим исходя из того, что стало литературной нормой десять лет назад. А десять лет для литературы — слишком даже много. Пятидесятые годы, шестидесятые, семидесятые — это все разные в литературном отношении годы. Несомненно, что с рассказом сейчас в нашей литературе не очень благополучно. Какая разница, как мы это назовем — кризис, тупик, оскудение, промежуток, пауза, перерыв?.. Еще недавно, казалось бы, рассказ был литературным событием, становился им, о рассказах спорили страстно и остро. Сейчас рассказ как бы отодвинулся на второй план литературы.

Однако не будем торопиться с выводами и посмотрим внимательнее к литературному процессу; ведь осознание реального положения таит в себе перспективу будущего.

Надо набраться терпения и научиться ждать — читателям и критикам.

Тем более ожидания эти сбываются.

В прошлом (1973) году дебютировал в нашей литературе Анатолий Ким: по два его рассказа напечатано было в «Авроре» (№ 1) и в «Дружбе народов» (№ 5).

Один рассказ — «Дети солдата» — не более чем журнализная зарисовка, два — «Те далекие игры» и «Акварель» — интересные и оригинальные, четвертый — «Шиповник Мекко» обещает нам встречу с незаурядным талантом.

Три из этих рассказов связаны с детскими воспоминаниями автора, с экзотической для русского читателя дальневосточной природой и необычным (или непривычным) душевным строем героев. Все это объединено в стилистических конструкциях, достаточно открывающих, чтобы разрушить традиционно каноническое движение рассказа.

Проза Анатолия Кима лирична, она строится смело и свободно, как стихотворение, не стесняясь отступлений, которые к тому же и не являются ими.

Определяющим (хотя и не единственным) качеством этих рассказов я бы назвал напряженную их духовность.

В рассказе «Шиповник Мекко» показана частная карьера талантливого Ри Гичена. Из далекого шахтерского поселка на Сахалине он приезжает учиться в Москву и становится атомным физиком. Волевым и целеустремленным, Ри Гичен добивается многого, но все-таки за счет других людей, к которым он становится равнодушным. На Сахалине умирает его жена: «Тяжело переживая смерть бедной жены, он не спал по ночам и представлял ее страшный, звериный вопль».

Но его также не покидало постоянное, бесовское, неотвратимое чувство тайного облегчения — чувство, что свершилось нечто закономерное, будто решено наконец давно и потаенно мучившее его уравнение».

Цена его научной карьеры слишком высокая — равнодушие, точнее, бездушие. Высокая для него самого, ибо потерял он больше, чем нашел, — потерял жену и потерял себя.

Как что же остается после человека в мире физических тел? И — высокие монументы на площадях, слава полководцев и вождей, великая формула Эйнштейна... Но и — горький запах человеческой неутоленности, безвестно витающий над прахом долины. Только глупец может отделить гремящее торжество вечных дел от тихой погребальности безвестных душ, единое от частного. Ничто от Все, Человека от Человечества...

Но почему так горек запах... Но ведь была же Мекко, была! — а теперь пропусти сквозь пальцы хоть все вещество Вселенной, горсть за горстью, — нет ее!

Кому принадлежат горькие эти раздумья? Герою? Автору? Читателю? Отличия уже нет, ибо автор, а заодно с ним и читатель вовлечены в одну сюжетную линию. Автор не только планирует и рассчитывает читательскую реакцию на происходящие в рассказе события, он словно бы дает читателю слово и органически включает это «слово» в композицию и стиль своей прозы.

Рассказ разомкнут к читателю, а значит, и к реальности, не только к той, которая предшествовала написанию рассказа, но и к той, которой еще предстоит наступить. Автор без стеснения раскладывает героев и появляется среди них на равных правах. Так старинный живописец любил помещать в многофигурные композиции свой автопортрет — с кистью, палитрой и холстом...

Как форма глагола может быть совершенной и несовершенной, так и рассказ — законченным и незаконченным.

Что это значит?

В первом случае писатель «исчерпывает» тему, сюжет и форму — рассказ завершен, к нему нечего добавить ни писателю, ни читателю.

Бывает даже, что сюжет вроде бы еще стремится к продолжению, но опытный писатель знает, что надо эффектно свести концы с концами и вовремя поставить точку. В таком случае рассказ завершается вообразимым многоточием, но многоточие это предусмотрено заранее, подготовлено впрок и никого не обманывает.

Таковы, скажем, отличные рассказы Василия Аксенова «На полути к луне», «Маленький Кит, лакировщик действительности», «Папа, сложи!».

Иначе строится рассказ В. Аксенова «Дикой». Смысловое многоточие, которым он кончается, не уловка автора, не формальный ход, а всамделишное многоточие, ибо рассказ из всего необозримого пространства жизни выхватил один ее кусок, без начала и без конца, но с легко угадываемыми (подразумеваемыми) продолжениями в любую сторону: в прошлое или в будущее.

Это и есть «второй случай». И рассказ уже своей краткостью подчеркивает, что он есть фрагмент жизни, а не полновесный ее эстетический заменитель.

Действительность в рассказе уместиться не может, продолжаясь за его пределами.

Аксенов пошел по сложному и рискованному пути — показал две судьбы, которые не исключают, а скорее дополняют друг друга. Точки над «i» не поставлены, и это вполне обоснованная уступка писателя реальности, которая тоже далеко не всегда «расслаивает» эти прославленные точки.

Я бы сказал даже так: Аксенов обнаруживает в рассказе «Дикой» два пафоса: пафос времени и пафос индивидуальности. Он не становится на чью-либо сторону, потому что оба героя — Збайков и Дикой — не враги, но с любовническим приглядыванием друг к другу люди, возможные друзья даже.

Оба героя не идеальные и не отрицательные, а сложные. Замкнутость Дикого кажется современному читателю странной не менее, чем способность Збайкова механически копировать основные тенденции своего века. Обе судьбы достаточно драматичны, оба героя вызывают сочувствие и симпатию. Они различные проявления многоликой, не кончающейся на эпизод их встречи жизни.

Оттого и открывается далекая перспектива в рассказе «Дикой»: в прошлом, в будущем, в читательские раздумья. Хочется отложить книгу и подумать, не о литературе, но о жизни. И в самом деле, рассказ этот «антилитературен». Взяв хотя бы его название: он назван кличкой героя, который появляется только в его конце и занимает меньше трети повествования. Но и неравномерность эта нужна, ибо, будь рассказ более виртуозно и гармонично скроен, он утерял бы некоторые свои связи с действительностью.

Подробнее остановлюсь на одном контрастном примере — двух рассказах Андрея Битова: «Пенелопя» и «Солдат» («Звезда», № 7, 1973).

В отличие от Аксенова Битов склонен к иному жанру — повести, и основные его поиски именно здесь.

С рассказов он начинал, как и большинство прозаиков, ибо рассказ — что-то вроде лаковой бумаги для таланта: порог, которого почти никто не минует, входя в литературу.

«Период рассказов» завершился у Битова «Пенелопей» — о ней критики писали достаточно много, в том числе автор этой статьи.

Цель Битова в этом рассказе — нравственное развенчание внешне вполне примерного героя — Лобышева. Причем развенчание это идет не со стороны, откуда, как утверждало, виднее, а изнутри — Лобышев вершит над собой беспристрастный и величественный суд.

Случай (фабула рассказа) помогает Лобышеву просматривать свою жизнь наново и увидеть полную несамостоятельность, заимствованность, зависимость не только своих поступков, но и душевных движений.

«...Ведь это же я делаю каждый день! Больше, меньше, по каждый день», — думал Лобышев.

И как давно забытое ощущение было, что думал не вскользя, не как бы, не вроде, не забывая, не в полусне.

Это последняя фраза рассказа. Она концентрирует нравственную предпосылку сюжета и могла бы с таким же успехом стоять вначале — скажем, в качестве эпиграфа.

Заранее заготовленная, она дает рассказу разбер, направление, определяет узкое его сюжетное русло. Битов признается:

«И вот он проходит в темную подворотню кинотеатра, и это чуть ли не первая фраза рассказа, который я собираюсь писать. И теперь, наконец, я начинаю с нее ради еще одной, единственной, которую я знаю и которая должна быть чуть ли не в самом конце».

Так Битов вводит читателя внутрь рассказа, в литературную кухню, обнажая прием и признаваясь во внутреннем задании, которое дал самому себе. Однако жанровая эта раскованность обнажает как раз полную несвободу Битова в самом повествовании. Литературное задание доводит над ним, и он строит рассказ, как басню, которую Гегель в свое время окрестил (справедливо, несправедливо — другой вопрос) рабским жанром, ибо автор находится в рабстве у самого себя, втискивая многомерную реальность в резко очерченные рамки морального урока.

Несомненно, литература обладает нравственной сверхзадачей, но ее осуществление проходит до поры до времени скрыто от читателя, — в этом, кстати, отличие художественной литературы от лекции или урока.

Лектор пользуется прямой силой воздействия на слушателя, писатель — сложной системой взаимодействующих художественных средств.

Герой рассказа «Пенелопя», как и его сюжет, находится под неуслышимым контролем писателя, который направляет обоих к неминуемой и заранее заготовленной последней фразе, как баснописец басню — к моральной развязке.

Десять лет после «Пенелопей» Битов рассказов не писал, зато одна за другой выходили его повести. И ничто, казалось бы, не предвещало его возвращения к заброшенному им жанру.

И вот появляется рассказ «Солдат», сразу же ставший объектом критических споров (к примеру, по мнению Всеволода Сахарова и Аллы Марченко в «Литературной газете» от 3 октября 1973 года).

Здесь необходимо сделать одну оговорку: в 1969 году Битов принял участие в разговоре о рассказе на страницах журнала «Вопросы литературы» (№ 7).

И еще одна оговорка: одновременно с этим разговором, хотя независимо от него, вышла интересная книга Александра Нинова «Современный рассказ», в которой автор обобщил свои наблюдения над русской прозой предшествующего десятилетия.

Исходя из этих наблюдений, Александр Нинов заканчивал свое исследование оптимистическими предсказаниями. В ближайшие годы, протекавшие с того времени, предсказания эти не сбылись, ибо вот всегда иной, чем перспектива, — забывать об этом не стоит. Расцвет русского рассказа в означенные исследователем годы сменился вскоре утратой завоеванных позиций, и на передовую отечественной литературы вышел иной жанр — повесть.

М. и А. Чудаковы так и назвали свою статью в «Литературной газете»: «...И тогда приходит повесть» (29 августа 1973 года). Однако и их вывод несколько запоздал и относился скорее к прошлому (1967—1971 гг.), чем к настоящему, а тем более — будущему.

Вообще что такое кризис жанра? Это — накопление жанром новых энергетических ресурсов, новых связей с реальностью.

То, что кажется тупиком, является на самом деле началом нового пути.

Жанровая гегемония повести оказала влияние на рассказ и обновляла его жизненные силы.

Это, кстати, и было предсказано Андреем Битовым в его выступлении на страницах «Вопросов литературы».

Объяснив недостаточность и неосостоятельность современного рассказа общим течением литературного процесса, когда круто расцветший жанр отточился и усовершенствовался настолько, что уже начал задыхаться сам в себе, становился матричным и возникло производство, выпелка рассказов на хорошем «канонном» уровне, Битов добавил: «Интересный рассказ появляется сейчас, как мне кажется, лишь на стыке жанров, на границе перехода из жанра в жанр — у писателя, который, может, не осилил еще иной, более свободный, чем рассказ, прозаический жанр, но внутренне уже принадежит ему и исповедует его — уже покинул прежний рассказ-чертеж, рассказ-камеру. Край такого «нового» рассказа как бы размылся, — нет, это не сырость или невнятность речи — это неограниченность его жизни. Такой рассказ можно было бы представить себе скорее как отрывок или главу из прекрасной большой вещи, и в этом отрывке или главе непонятно как, но удаиваются примыкающие к ней неизвестные главы. Эти неизвестные главы таинственно существуют в таком рассказе, и поэтому особенно волнует в нем все пропущенное, все сказанное мельком и вскользь, все неупоминанное даже...»

Таким рассказом и является «Солдат», осуществляя на практике то, что было заявлено Битовым первоначально в качестве теоретического прогноза. Практика догнала теорию...

Это рассказ-судба о человеке, который вынес на своих плечах историю двадцатого века и остался самим собой. Участник всех его войн — от первой мировой до последней, «испытатель» всей боли и всех страданий, выпавших на долю человека двадцатого века, «рант» своей судьбы, как он сам говорит о себе, старый солдат и влюбленный в свое

дело инженер, герой Битова — исторический человек.

Перед читателем возникает реальный портрет современника.

Это теперешнее свойство Андрея Битова — чувство истории в сегодняшнем времени. Поэтому даже «недостатки» дяди Митя были чертою его характера и одновременно чертою его времени, трудного, сложного, героического, легендарного.

Рассказ Андрея Битова подкреплен документален, и это еще более усиливает его историзм. Рассказ даже имеет подзаголовок: «Из воспоминаний о семействе Одоевцевых». Поэтому и кажется рассказ Битова отрывком, главой из большой вещи, где дядя Митя — при всей достоверной общности его образа — окажется частью исторического пейзажа современности.

Читательский интерес к этому рассказу повышенный, и все упомянутое вскользь вроде бы ждет еще продолжения и раскрытия...

Стихами, впрочем, можно сказать все куда короче и лапидарнее — сошлусь поэтому на Юнну Морич:

От чего отыкнула, из чего отыкнула —
Это дунувенье будущего цикла.
Моет, я ни слова не скажу к заглавию.
А над первой строчкой три звезды поставлю.

Прозанки поступают, как поэты, и «дунувенье цикла» выстраивает рассказы, как магнитное поле железную стружку.

Примеров тому множество. Например, «Характер» Василия Шукшина и «Северный дневник» Юрия Казакова.

Парадоксальные рассказы Виктора Голыякина — они едины настолько, что в один цикл можно объединить даже рассказы, адресованные совершенно разным по возрасту читателям — дошкольникам, подросткам, взрослым.

Автобиографические рассказы Майи Даниши, обозначенные как повесть «День рождения».

Последний рассказ Булата Окуджавы «Александрина» с интригующим подзаголовком «Глава из романа» («Аврора», 1973, № 8).

Самый яркий пример циклообразования — проза Фазиля Искандера.

Около тридцати опубликованных уже рассказов Фазиля Искандера обнаружили неожиданную тягу друг к другу.

Выяснилось, что их самостоятельность относительна, что, помимо темы, места действия, героев и стиля, их объединяет еще нечто большее.

Выяснилось, что при объединенном чтении выныривает не только цикл — количественно, но и каждый рассказ в отдельности — качественно, освещенный (и освещенный) общей идеей, общим замыслом.

Предположим даже, что первоначально этого общего замысла у Фазиля Искандера не было, что он появился в процессе писания — удивительного в этом, впрочем, ничего нет, ибо долг путь даже от податного кубка до губ, — так считали греки, а уж тем более — от замысла до исполнения.

В процессе исполнения литературный замысел может меняться катастрофически. Результат не равен первоначальной задаче.

Лучший свой рассказ «Колчерукий» Искандер начинает фразой, полной глубокого сожаления:

«Я уже писал, что однажды в детстве...»

Литературная судьба имеет свой сюжет, но нам не дано предугадать не только, как наше слово отзовется, но даже и то, каким будет следующее слово.

Может быть, Искандер даже жалеет, что не стал сразу же писать свою «абхазскую эпопею», что раз-

базирал материал по рассказам. Так или иначе сейчас он пытается связать все воедино и даже подключить прежние свои рассказы к теперешнему циклу прозаических эскизов.

Искандер ссылается на самого себя, цитирует самого себя, отсылает читателя к самому себе — преждему.

Целое для него теперь только часть, и он дает ссылки и подзаголовки своим публикациям: «Из повести «Школьный вальс или Энергия стада» и еще более глобально: «Из цикла автобиографических повестей и рассказов «Богатый портной и другие»».

Он печатает в «Юности» повесть «День Чика», а в «Авроре» — ее продолжение «Ночные тайны», про ночь Чика.

Метод Искандера — автобиографический, мемуарный, воспоминательный, а потому ассоциативный. Писатель разворачивает свои воспоминания в сюжет, в образ, он торопится рассказать обо всем, что вспомнил, — от собственных впечатлений до пересказанных ему историй и анекдотов, поэтому так часто в его прозе разного рода отступления от сюжета, исторические экскурсы, рассказы героев, вставные новеллы.

Искандер работает, как бульдозер, — танцет в прозу все, что попадает на его путь, отсюда постоянные извинения перед читателем (типа «Однако я сильно отлежас...»), но извинения эти не более чем дань литературному этикету, Искандер все равно поступает по-своему, и сюжет у него обрывается вроде бы посторонним, а на самом деле формирующим прозу материалом.

Есть разница между сформированной формой и формирующей формой.

Поль Валери, к примеру, считал, что всякий смысл вообще зиждется на эффективности уподобления. «Понимание есть в сущности не что иное, как уподобление. То, что ни на что не похоже, тем самым непостижимо. ...Утратить образ — значит утратить смысл».

Французский эстет предупреждает и о другой филологической опасности: «Ограничиться образом — значит утонуть во множественности».

Это вроде бы пока что Искандеру не грозит, ибо его образ динамический, изменчивый, и постоянные метаморфозы — его основное свойство.

Герой Искандера — Колчерукий, Сандро, Дедушка — сами отличные, умелые, профессиональные рассказчики.

Искандер описывает, как один из его второстепенных героев, князь, ел персик, соотругавая с ним кожур перочинным ножиком с серебряной печочкой:

«Говорят, в местных крутах князь скромно гордился умением так состругивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. ...Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говоря, рассматрив его со всех сторон, тут же доставал свой ножик с серебряной печочкой и безозбочно пускал его по единственно правильному пути».

Переадресуем это описание от героя к автору. Ибо так — в скрытой, завуалированной форме Искандер описывает собственный литературный метод. И сколь бы затейливой формы ни попадались ему реалии, он пускает свой литературный ножик по единственно правильному пути.

Хлебников писал:

«Нет путейез языка. Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка современного художественного языка свободна от таких путейезных?»

Отступления Искандера от фабулы укрепляют создаваемый им динамичный образ, активно на него работают.

В итоге излишек оказывается необходимым.

Говорят, что есть своя польза в глазах и аппендиксе. Помимо вреда. Кто знает?..

Так или иначе, в общей воссоздаваемой Фазилем Искандером картине «излишние» детали и «произвольные» отступления оказываются и к селу и к городу.

Украшения больше идут красивой женщине, чем ювелирной витрине.

Впрочем, и сами по себе эти украшения бывают хороши.

Главное, не потерять из виду цель.

Бывают более драматические писательские судьбы. «Я вступил к цели, почти потеряв ее из виду», — написал Андрей Битов. Но написал это в прекрасной книге «Уроки Арменин». Может быть, в литературе рвение важнее четко обозначенной цели, может быть, энергия путешествия важнее конечной остановки, может быть, процесс увлекательнее, чем результат?

И главное, цель в процессе приближения к ней меняет свое положение.

Цель — в литературе, во всяком случае — не статична, а изменчива: что-то вроде движущейся мишени.

Так, Фазиль Искандер, начав с замкнутых рассказов, пришел к их цикловому объединению.

От цикла он перешел к роману, который есть, однако, не что иное, как метаморфоза цикла рассказов.

«Сандро из Чегема» — роман, который образован центроостремительной силой рассказов, стремящихся к объединению.

Писатель не есть величина постоянная, неизменная. Напротив, он меняется, как и каждый человек, и кривая его душевных изменений и есть его творчество.

Читатель привыкает к писателю и не всегда оказывается восприимчивым к изменениям, которые происходят в творчестве писателя. Более того, иногда даже читатель навязывает любимому писателю прежний образ литературных действий.

Так читательская инерция переходит в писательскую, и писатель дублирует самого себя — делает то, чего от него ждут читатели.

Задача писателя — разрушить созданный им самим литературный стереотип.

Фазиль Искандер столкнулся с читательской (и критической) инерцией после «Созвездия Козлотура».

Эта повесть была читателями воспринята восторженно и единодушно. Следующая же повесть «День Чика» оказалась совершенно иной, скорее задумчивой, медитативной, даже грустной, чем веселой, и читатель, ожидавший от Искандера второго «Козлотура», довольно-таки равнодушно встретил «Чика», не узнав любимого писателя.

Я думаю, что такой читатель, раскрыв «Сандро из Чегема», решит, что наконец-то дождался смешного, тем более в этом романе есть прямая перекличка с «Созвездием Козлотура» — Искандер словно бы раскрывает псевдонимы своих прежних героев, рассказывает об их прототипах и демонстрирует документальную изнанку литературы.

Дядя Сандро прожил восемьдесят лет и на своем веку перевидал многое. Читатель видит Сандро в самых различных ситуациях — от гражданской войны до кавказского застолья, где он развлекает высоких московских гостей.

Кого он только не повидал за свою жизнь! Прияз-

Ольденбургский, к примеру, с удивлением выслушивает хитрые ответы независимого абхазца и думает при этом: «Дикарь, но как свободно держится... крепостного рабства не знали, вот в чем дело...»

Дядя Сандро — истинно народный герой. Он свидетельствует не только о чувстве народного юмора, но еще о чувстве истории, которое народу присуще. Фольклорные представления о времени, смело включенные Искандером в свой роман, иные, чем любые, пусть самые властные, бюрократические указания. Историческое время не ограничено рамками индивидуальной человеческой жизни или даже жизни поколения, оно обладает далекой протяженностью и развернутой перспективой. Дядя Сандро дан на фоне истории, но он и сам — история, история, которая заставляет потешиться власть временно предрекающих — и принца Ольденбургского и меньшевистского оратора.

В том-то и дело, что эти временщики близоруки и чувствуют время лишь в пределах собственной жизни, как говорится, не дальше могилы. Временное они принимают за вечное, им кажется, что можно отменить историю властью и оружием, поэтому и претендуют они на неотъемлемость.

Сандро смеком разрушает эти их необоснованные претензии. Ибо история — в руках народа даже тогда, когда он вроде бы и не участвует в ее «гуртовухе» событий.

При фабульной законченности каждого из вховавших в «жизнь» Сандро рассказов они в то же время сплелы между собой общей идеей о непрерывной протяженности человеческой и народной жизни.

Рассказа было бы недостаточно — взятый в отдельности и в одиночестве, он выглядел бы как анекдот.

Традиционный роман утяжелила бы фольклорного героя Искандера и заставил бы писателя втискивать психологические мотивировки там, где они явно оказались бы излишними.

Компромисс между двумя литературными жанрами привел к появлению нового, соответствующего избранному герою — по росту ему, по историческому его росту.

Перевернем поэтому напоследок взятые эпиграфом к этой статье слова Кэрролла. Не только время — действующее лицо, но и действующее лицо, литературный персонаж, при всех его индивидуальных качествах, является еще и временем, являет время в себе.

Герой Фазили Искандера — определенно из такого рода действующих лиц.

Яков Козловский



Посольской визы штемпель нелинейный.
Летим мы в Гамбург.

На рассвете в путь.
Звонит под вечер спутник мой бывалый:
«Собрался!.. Документы не забудь!»

И снится мне: ольха склонила ветку,
А за рекой немецкий разговор.
Уходим безмянными в разведку.
Сдать документы приказал майор.

Запрещенная охота

В степи, куда ни подступи,
Пора окота,
Но запрещенная в степи
Идет охота.

Сайгаки мчат во весь опор
Сквозь бездну мрака,
А сзади скорости мотор
Сосет из бака.

«Слепи их фарами, слепи!
Держи правее!»
И двух стволов гремит в степи
Залп, багровея.

Оглух шофер, ослосовел,
Крута баранку.
И проклиная свой удел,
Как лихоманку.

И ошалело на педаль
Он жмет все прытче,
Хотя в очах его печаль
Древнее притчи.

Осатанел он не к добру,
Шофер-молчалик:
«Зазря грех на душу беру,
С тобой, начальник!»

Не попади! Не попади!
Забудь свежину...»
А егерь дрыхнет и, поди,
Вновь пьян в дымину.

Ноябрь 1973 года

Порыв стремительного бега
Являло время на дворе.
Стоял ноябрь еще, а снега
Насыпало, как в январе.
Он лег на крышах и заборах,
Кружился над округой всей,
Как будто в небе белоперых
Ноябрь ощипывал гусей.
Прошли заезжих два араба,
И возле Минского шоссе
Им снежная предстала баба
В неподражаемой красе.
Такую в Африке и за сто
Они не встретили бы лет.
Она была бела, грудаста
И словно излучала свет.
И не грозился снег: «Вот станю!» —
А под ногами все крепчал.
И красноватых щуров стаю
Ноябрь до срока привлекал.
Свистел ей голосом метельным:
— Рябину клюй, коли дарю!
Он был полуторанеделным
По старому календарю.

Песня

Ты меня примерял, примерял,
Погулял, погулял и оставил.
На другую меня променял,
Не оставил, а словно ославил.
Любят сплетни в деревне у нас,
Их смакуют, как будто настойку.
Не кажу я на улицу глаз,
Мне бы в город податься на стройку.
За былую любовь, говорят,
Не корят там с пристрастием дотошным.
Городской ухажер тароват,
Не чинит он допросы о прошлом.
Ворожил бы такой, ворожил,
Словно взяв мое сердце в настройку,
А минувшее не ворошил...
Мне бы в город податься на стройку.

В новогоднюю ночь

Вез над рекой нас кучер,
Искрсясь, клубился снег.
«Мне милый мой наскучил», —
Успышала я сквозь смех.

И шапку стал ерошить
Один из седоков.
Свет высекала лошадь
Четверкою подков.

Я знал, что этот случай
Не первый под луной...
«Мне милый мой наскучил,
Простится пусть со мной».

Белел платок пуховый,
Был грешен пламень губ,
А взгляды ее бедовый
Смеялся, душегуб.

Дережья берег скупил,
Саней резвился бег...
«Мне милый мой наскучил», —
Дорога. Полночь. Снег.



Анатолий
СТРЕЛЯНЫЙ

СВАДЬБА В СТАРОЙ РЯБИНЕ



Рисунки
В. ПЕТРОВА.

Свадьбу Виктора назначили на последнюю февральскую субботу, в пятницу он встретил меня на своей машине в Харькове, и мы поехали. Ехать было сто километров, по мокрому, разбитому и суженому зимней грязью шоссе. Такие пошлы у нас погоды. Когда надо бы дождям, падают снега, когда время для снегов — льют дожди. Мать грешила на спутники. За городом Виктор прибавил скорости, включил отопление, я растегнул пальто и разматал шарф. Этот новый «Запорожец» он получил в подарок: один наш дальний бездетный родственник делал под старость, нажитое. Все случилось, как в сказке, и я от души радовался за своего племянника.

Дома Виктору наказывали привезти хлеба — буханок двадцать черного и столько-то белого. Возьмем по дороге, где-нибудь за городом.

— А отпустят столько?

— Е селе отпустят, — отвечал Виктор.

От встречи к встрече он выглядел все старше, уже терпелся в узких и глубоких впадинах глаза.

— Замотался? — спросил я.

— Ничего, осталось немного.

С утра он наденет костюм и больше не возьмется ни за что. Что так, что не так, все будет делаться другими. Ничего не надо будет доставать, ни о чем беспокоиться. Скажут сесть — сядет, идти — пойдет. Женнху это положено: быть ванькой-встанькой.

Село, в котором мы остановились, было большое, его кирпичные дома густо и крепко располагались по обе стороны шоссе. Напротив магазина, на невысоком постаменте за оградкой, стоял покрашенный матовой зеленой краской танк. В оградке и перед ней был толстым слоем насыпан песок, и оттого туда хотелось подойти. Магазин был на самообслуживании, с вертушкой возле кассы, безлюдный. Мы бросались в глаза персоналу, и я, скрывая беспокойство, развязно объяснял, для чего нам нужно столько хлеба. Виктор молча кидал в мешок буханку за буханкой. Положив мешок в багажник, мы подошли к танку. Он был цел и невредим, только в башне, рядом со смотровым отверстием, виднелась аккуратная, величиной с утиное яйцо, пробоина. Вблизи, в сером свете пасмурного дня, среди мокрых, голых тополей было особенно наглядно, какая это, в общем, хрупкая, уязвимая коробка.

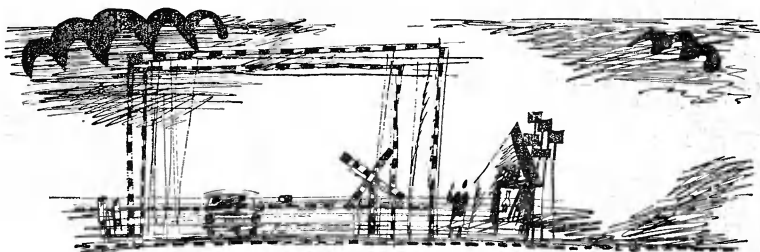
Мы сели в машину и, трогаясь, еще раз взглянули на танк.

— Того мужика уже нет, — сказал Виктор о башенном.

По зимнему времени непривычно выглядели дежавшие вокруг зеленые, даже с блюдами воды и оттого на вид совсем весенние поля озимых. Только незавершенные полосы пашни между ними чернели еще тяжело и мертво. Как всегда при встрече, я спрашивал Виктора о каком-то, как всегда, говорить об этом ему было скучно. Все по-прежнему. Председатель стареет, вмешивается где надо и где не надо, свекла уродилась хорошо, но вывезти до холодов не успели. С картошкой ничего, но варить ее — пусть другие варят — не раскисает и твердая, аж блестит. А родит хорошо, удобрений не жалеют.

— Бабуся расскажет лучше, — закончил Виктор.

Из-за нее да матери — моей сестры Маруси — он остался после армии в селе, пошел учиться в заочный техникум на агронома. А не хотелось. Кочкая восьмой класс, думал об Одесской мореходке, но женщины приспели со своим строительством. Другие такие безмужние доживают под соломенными кры-



шамп, а наши задумали стянуться на кирпичный дом под шифером. Маруся, десять лет отдохнув дояркой, взяла ссуду и ходила еще пять лет, обрабатывая. По ночам у нее сильно ныли руки, она плохо спала, стонала и ворочалась. Мать проклинала ее упрямство, самолюбие и странные привычки. Другие, в клуб собираясь, напоминаются да намазываются, а Маруся — перед тем, как спать ложиться. В четыре утра встающей, ей беречь бы каждую минуту, да и для кого там, на ночь глядя, перед зеркалом торчать, — а не скажи. Для себя. Для себя работать надо меньше, злилась мать.

Виктор пошел в Марусю. Всегда выбритый, во всем чистом и наглаженном, нешьющий, после работы каждый раз — домой. Я был рад, что он вырос таким, что позади осталось строительство, что у них теперь и новый дом, и сарай, и под конец нежданно-негаданно — машина, а смотрел я на него и чего-то было жалко. Он устал от хозяйства, не любил его, не о нем когда-то мечтал.

— Ось и вы, — встретила нас на веранде мать своими всегдашними словами. На ней была синяя стеганая безрукавка и широкая цветастая юбка. Это уже не первый раз, помня ее по детству худой и быстрой, я, приезжая, удивлялся, какой она стала: полная, медлительная, настоящая украинская бабка, — бабуся, как звал ее по детской привычке Виктор. Лицо ее, правда, было по-прежнему сухим, не расплывалось, только морщины за год стали как бы мягче и белее.

Веранда была уставлена тарелками с только что разлитым холодцом, от которого валил жирный пар. Остро пахло горячими котлетами, уложенными горой в большой эмалированный таз. Мать скомандовала не рассаживаться. В рабкосовской столовой на сахарном заводе заказаны шишки¹ и каравай, надо привезти.

— Знаю, — сказал Виктор. — Перекусить дайте.

Вот так. Хлеб — из магазина, каравай с шишками — из столовой. Что же будет в ней свое, в этой деревенской свадьбе? Накрывая на стол, мать допытывалась у Виктора, будет ли завтра свет. Прошел слух, будто район отключат на профилактику подстанции. Друг Виктора механик Миша с утра еще махнул в соседний район и до сих пор не вернулся. Там тоже есть подстанция, а у него на той подстанции — приятель. Завтра возьмет и врубит лишний рубиль-

ник. Мать переживала: врубит ли? Это ж и для колхозов будет хорошо, сообразил я.

— Не прогадуй твои колхозы, — сказала мать. — У нас теперь, как целина — закарпатцев на уборку присылают. Говорят, — я у них не все и понимаю.

— А они вас понимают? — заметил Виктор.

— Меня всякий поймет, я в городе жила, — это было до начала войны, с тридцать третьего, в Харькове. Она подумала и уступила:

— Да пусть говорят, а как же? Сколько наций, столько и разговоров.

Рассуждала о женитьбе Виктора. Невестка в доме — такая нагрузка, что и пережить нельзя, ладно хоть выбрал хорошую.

— Вы ее, что ли, выбирала? — сказала Виктор.

— Да ты, ты, молодец.

Начав ходить к Нине, дочке бригадира из Новой Рябины, Виктор сердился, когда дома спрашивали о свадьбе. Потом открылось: он хотел подкоптить денег. Женщины заволаговались. На свадьбу сейчас и в год не заработаешь, а время не терпит, девушку могут забрать другие. Хлопцы не дураки, приезжают на выходные из городов, родные и подсказывают: нет лучше как взять из своего села. Раньше девок смотрели по роду, а умные смотрят и теперь. Нет, решила мать, вон есть у них тысяча на книжке, пусть Виктор берет и приступает к делу. Подмогнул, правда, и кабан — на завод в столовую сдали, а кроме кабана, и телочку на ферму отвели, все расширяют те фермы и расширяют.

Нина окончила швейное училище и работала закройщицей в колхозной мастерской.

— Ты вот то и это, — торжествовала мать, — а вышло ж по-моему? Ты еще в седьмой ходил, как сталя у нас швейная машина, — я и говорю: как хочешь, Виктор, а жену приводи мадыску. Спасибо, послушал.

— Тебя не слушаешь... — сказал я.

— Родные плохого не посоветуют. Я вон Марусю на коленях умоляла: не оставайся в селе. Кончилась война, по городам народ требуется — иди. Не послушала, осталась и мыкается теперь тут со мной.

— Мы чужие сидим, не знаем, — перебил ее Виктор.

— Своим-то и рассказывать...

Однако надо было ехать за шишками.

— Тут еще переживание, — мать встала вместе с нами, — распишут ли. На Виктора же в сельсовете взяли. Говорила ему: зачем тебе это депутатство? Если б хоть гроши платили, а то так, а требуют все с первого, хоть картошку, хоть мясо. Приходит: по-

¹ Свадебные булочки.

становили сдавать в селпо продукты, готовые. Зарасте! Где я тебе возьму семьдесят килограммов мяса да триста штук яиц! Сами теперь едим.

На веранде она тушула избежавшую со двора кошку.

— Молока б, конечно, можно, пусть берут, его у нас одна Маруся пьет, так если бы приезжали за ним, а ты и сам же и носи каждое утро. Я вам уже не носиланца, относилася. Вот это так поговорили, глядь—звягаются из сельсовета. Насажали туда парочку—не сельсовет уже, а контора. Ты, говорят ему, с двумя старухами справиться не можешь. Слыхали такую глупость? Галка-секретарша села за ворота и сидит. «Он нас,—говорит,—не уважает». Тебе-то какое дело вступать? Твое дело справки писать, а не под дворами шлаться чуть не с торбой.

По пути на сахарный завод мы заскочили к кузнецу и брабанщику Григорию Огейке поговорить его прийти завтра с барабаном к тестю Виктора. С добрым, безмятежным, распухшим лицом, в огромных валенках с глубокими, самым когда-то клееными калошами, кузнец стоял возле своего двора. Вечер он, по его словам, напился до потери направления и отдавал себе руки.

— Вот,—показал он, презрительно ухмыльнувшись, забитоганные колбасы пальцев.

— Не сможете?—мне было страшно на них смотреть.

— Я?—просипел он изумленно.—Буду.

И будет, знали мы, в этих же валенках и как бы не в этой же не сходившейся на тяжелом животе будущей телогрейке. Мне это нравилось с детства: неизменным по своим барабаном на любой свадьбе, он являлся на них, как в кузницу. С ним мы когда-то косили пшеницу. Стрелкала жатка, хранили, валились из моих рук кони, свирепо и весело орали, вытгивая их кнутом, тогда еще молодой Гришка. В обеденные перерывы он рассказывал мне о только что закончившейся войне, показывая, как стрелял: пряча голову за бруствер окопа, и меня расстраивало, что он, такой добрый и умелый косарь, был не герой.

В столовой на заводе отпустил шипки к нам вышла сама заведующая Галина Федоровна. К раздаточному окну посмотреть на жениха сбегалась вся ее незамужняя, краснощекая команда. Двести сорок шипки, прикрытые марлей, уже были уложены в большой ящик, стоявший у входа. Мы вынесли его в багажник. Чистый, просторный зал столовой шипки наполняли нежным, свежим запахом. Полная, празднично-деловатая Галина Федоровна распорядилась нами, как своим: взять там, поставить здесь, пересчитать. «Теперь, девочки, марш за караваем. Витя, принимай. Этот поставши на заднем сиденье, а этот надо будет держать на коленях»—обланный чем-то белым, сверкающим, усыпанный хрупкими сахарными цветами торт невозможной величине.

— Галина Федоровна,—спросил я потрясенно,—сколько ж вы на этом работали?

— Девочки, сколько?—повернулась она к раздаточному.

— Часа три,—ответила одна, совсем молоденькая.

Замечательно все складывалось! Пока мы ездили за шипками, приходила невеста с подружками в ешатах рушники, и когда мы пернулись, в доме уже было неузнаваемо. На окнах висели прозрачные, до пола, нейлоновые занавески, по стенам—расшитые пегунами и цветгами рушники, все двери были занавешены плотными, густых расцветок портьерами. Была дома и Маруся. Непрерывно чем-то занятая, она все-

гда куда-то уходила, откуда-то приходила и бесконечно, доводя этим мать, мыла полы. Сейчас тоже подтирала их после девчат. Мать поминала меня в специально молодых, убранный невестой, жила улыббась, кивнула на кровати. На золотистом покрывале высилась гора необятных подушек под кружевной накидкой. Продолжая нежно улыббаться, мать решительно откинула покрывало, жила кулаком в постель, и ее рука вошла туда по самое плечо.

— Пух. Там тех гусей у сватов—сила-силенная. А грошвы—не считано. Свадьбу отгуляют и на другое хватит: строиться начнут.

В дверях спальни стоял Виктор.

— Бабуся,—сказал он, предвещуя знакомую песню.—Опять про хозяйство?

— А про шо ж?

Странное дело: начинали они эту свою песню не раздраженно.

— Ты не хозяйство не любишь,—говорила мать, смело садясь на кровать.—И не работу по хозяйству ты не любишь, то ты только так считаешь. Работы много—то не причина. В городе, думаешь, рай? Там все из магазина, а в магазинах даром ничего не дают. В городе тоже кто трудится, тот и живет.

— Ладно,—сказал Виктор.—Так чего я не люблю?

Она и продолжала свою песню не раздраженно! — Ты в голове его не хочешь держать, хозяйство. А без этого нельзя. В голове нужно держать цель и все—на эту цель, каждый шаг и каждую копейку. Вот бригадир, почему он если хозяин, так хозяин? Он,—сколько у него людей, ферм, полей,—он их в голове все время держит. Он, куда бы ни пошел, знает, что там будет делать. А другой—куда ноги его несут. Хоть и дома. Выйдет во двор, вилы возьмет, а спроси его, зачем, сам не знает.

— Я начальником не буду,—сказал Виктор.

— Правильно. За дурака теперь легче жить: меньше завидуют. Только бригадир не начальник. Несчастный тот человек, кто бригадир.

— Понятно. Бригадир вам сватом стал. Раньше они все у вас были пузатые.

— А Василий Свиридович не пузатый. Хороший сват, тебе и люди скажут.

День заканчивался. Стаен на эту ночь не закрывали, и за нейлоновыми занавесками почти так же легкие висели в теплом живом свете от окон кисей несильного дождя. Маруся присела у плиты на стульчик почитать газету, мать легла спать, Виктор пошел мыть машину. Унитую лентами, завтра ее поведет кто-то другой, Виктор будет только пассажиром. Тикали ходики. Это было единственное, что оставалось здесь таким же, каким было двадцать лет назад, когда я насосем ушел из дому. Виктору тогда было четыре года, Марусе—двадцать девять, матери—сорок восемь. Как странно... Они растяли из него хозяйна, а в голове это хозяйство до сих пор держали сами. Может, этим они его, не имея чем другим, баловали? Или просто не хотели—торопить время? Всемю своей каре, а сроки они знали. С той же Африкой, куда он мог поехать сразу после армии, а они не пустили. Тогда, включая службу, он провел же далеко от дома в общей сложности лет пять, а это в их расчеты не входило. Они положили себе ждать его два года и потерпеть дольше не согласились бы ни за какие гроши, хоть гроши предвиделись и немале.

Маруся шестелста газетой, мать похранивала, со двора было слышно, как у колодца Виктор обдавал из ведра машину.



Когда я встал поздним утром следующего дня, Виктора уже не было. С невестой и друзьями он уехал в районный центр фотографироваться. Снять их мог бы и наш сосед, Микола-корреспондент, работавший фотографом в районной газете, во карточки требовались непременно казенные. С пола на вашу маленькую, о шести домах, улицу напала туман, все было мокрое и тихое. К двенадцати часам дня молодые прибыли в клуб расплакаться. С ними было целое десят: подруги и родители невесты, боярин Виктор, механик Миша, Маруся, дочка моего двоюродного брата студентка Надя с мужем, тоже студентом. Секретарь сельсовета, та самая толстенная, важная Галка, насчет которой проезжалась мать, выстроила нас у крыльца. Впереди стали молодые, он — в черном костюме, невысокий, с желтой головой, неулыбающийся; она — ниже его ростом, совсем маленькая, в фате, с пылающим опущенным лицом. С утра было тихо, а теперь дул сырой ветер. Вокруг крыльца столпилось несколько старух, одетых по такой погоде в телогрейки и боты, и заяпанные грязью сапоги. Телогрейки, сапоги, острые глаза из-под толстых платков, и перед ними на ветру крепко державшиеся за руки Виктор и Нина, нарядные...

На крыльцо в сопровождении Гальки и председателя брачной комиссии Петра Максимовича вышла свадья мать — пожилая учительница от жевовета. Она поклонилась молодым, приглашая их в «комнату счастья», молодые поклонились ей. Расположенный буквой Т, стол в «комнате счастья» был покрыт красной материей. К нему усадили Виктора с Марусей, Нину и ее родителей. С председателеского места, повзванный через плечо широкой красной лентой, встал Петр Максимович.

— До Старорыбинского сельсовета, — сказал он, — поступило заявление. Это заявление написано Петровым Виктором Дмитриевичем, слесарем колхоза «Червона Украина», тысяча девятьсот сорок девятого года рождения, и Моисеенко Ниной Васильевной, закройщицей колхозного Дома быта, тысяча девятьсот пятидесятого года рождения. Эти молодые граждане села Старая Рыбина и села Новая Рыбина решили создать новую, молодую семью и просят зарегистрировать их брак. Раз подано заявление, мы согласно закону должны его рассмотреть и вынести свое решение.

До выхода на пенсию Петро Максимович был директором школы, заведующим районо, потом председателем нашего же колхоза и снова директором. Когда учился у него в школе, он ходил в военном без погон, был подтянут, разговаривал командирским голосом.

Теперь у него была белая, мягкая на вид голова, пухлые, нестрашные пальцы и — столько лет минуло, а для меня все непривычный — обыкновенный штатский костюм.

— Петров Виктор Дмитриевич! — позвал Петро Максимович.

Виктор встал, руки по швам.

— Согласны ли вы взять в жены Моисеенко Нину Васильевну, любить ее и уважать, как положено каждому сознательному гражданину нашей страны и честному мужчине?

— Согласен.

— Садитесь. Моисеенко Нина Васильевна! Согласны ли вы стать женой Петрова Виктора Дмитриевича, любить его и уважать как своего законного мужа и отца ваших будущих совместных детей?

— Согласна, — шепнула невеста.

— Садитесь. Здесь присутствуют родители Виктора Дмитриевича и Нины Васильевны. Петрова Мария Иосифовна! Даете ли вы ваше согласие на брак вашего сына Виктора Дмитриевича с Ниной Васильевой?

— Даю, — подыалась Маруся со своего места за спиной Виктора. У ног ее стояла прикрытая газетой сумка, в которую она, собираясь сюда, положила бутылку лавочной водки, шампанское и холодную закуску.

— Василий Свиридович и Зина Петровна! Даете ли и вы ваше согласие на брак вашей дочери Нины Васильевны с Виктором Дмитриевичем?

— Даю.

— Даем.

У ног Зинаиды Петровны тоже стояла сумка.

— Виктор Дмитриевич и Нина Васильевна! Именем Украинской Советской Социалистической Республики ваш брак регистрируется.

Галка дала им подписать бумаги, велела обменяться кольцами. Петро Максимович ждал, без улыбки поглядывая на присутствующих. Потом начал речь.

— Таким чином, дорогие Нина Васильевна и Виктор Дмитриевич, с данного момента вы — жена и муж, одна семья. От имени комиссии, от имени сельского Совета, правления колхоза, партийной организации и от себя лично поздравляю вас с этим величайшим событием в вашей жизни.

Выступал Петро Максимович на чистом украинском языке.

— Товарищи! Создание семьи — это большая, первейшая цель каждого сознательного молодого гражданина и радость для общества. Потому что из семьи выходят дети, да-да, это дело природное, в нем ничего такого нет, мы все взрослые и для воспитания детей люди спокой веков создают семьи. А в хорошей,

дружной семье и дети хорошие. Они радуют родителей, которые не жалеют для них сил и внимания, и на них приятно смотреть окружающим.

Сколько его знаю, он всегда говорил с нами чисто по-украински, даже в сорок шестом году, сразу после фронта. Меня еще, помню, это удивляло. Мне казалось тогда, что каждый, кто побывал на войне, обязательно должен говорить по-русски, как наши, часто менявшиеся военники, молодые форсистые командиры...

— Как-таки, товарищи, всем нам приятно бывает слышать: вон какой сын или вон какая дочка растет у тех или иных родителей. Старательные! аккуратные! вежливые! Тоже не удивительно, говорим мы, — там и мать умная хозяйка, и отец честный труженик, ими может гордиться наше село, коллектив, и когда приходит время, каждому радостно с ними породниться, как породнились вот и вы, Мария Иосифовна, Зина Петровна и Василь Свиридович. Почитайте их, дорогие наши молодцы, они всегда вам помогут, направят на правильную дорогу, будут с вами и в счастливый час и в трудную годину. Вручаю вам свидетельство о вашем браке и желаю вам всегда любить друг друга и быть счастливыми.

Виктор встал, протянув руку за документом.

— Не-е-е, сурово покачал головой Петро Максимович. — Такой документ должен быть у жениха. Берис, Нипа, ты и храни его у себя. Крепко храни, чтоб муж и не знал где.

Все засмеялись, и официальная часть кончилась.

В зрительном зале, где за длинным столом перед сценой нам следовало распить шампанское, из чужих были только старухи в телегренках, — не глядя друг на друга, сидели в первом ряду. Я догадался подойти к ним с пригоршней конфет, и первая же бабка молча цапнула целую горсть. Маруся и Зинаида Петровна открыли сумки, выставляли стаканы и синие, наподобие микстурных, рюмки. Механик Миша откупорил шампанское. Холостяк-перестарок двадцати шести лет, он здесь чувствовал себя лужай всех. В заторах боярина как следует не позавтракав, он с удовольствием закусывал колбасой, отхлебывая из стакана, дружелюбно поглядывая на девушек. На красных щеках у него курчавились «баки», на подбородке играла ямка. Не строится, не женится, не учится — гуляет и собирается в Харьков, мастером на завод. Об этом не говорил, но как-то ово здесь чувствовалось, что остается Виктор без друга. Будут приятели, появятся кумовья, только новых друзей, когда тебе уже за двадцать и стал ты вот женатим, в селе не будет... Да и село, — долго ли будет оно само?

Полтавские домов, один другого лучше, а сели мы вчера вечером с матерью, прикинули, и сложилось у меня сердце. Один старик. Пять — десять лет — и опустеют целые порядки, заколуют целые улицы, дикие кабаны уже сейчас стащат по близким к лесу огородам. Попирят в карманы конфеты, неподвижные, холодно зоркие — не последние ли это зрители сидели перед нами? Я вспоминал многолюдные давних лет, зной колокольчиков в морозный ясный день, рвущиеся из рук гармошки — да что толку было вспоминать? К тому же впереди все-таки были похороны, а свадьба...

Что-то многого в этот раз боялась мать. Вчера она боялась, что не будет света, а взвесьшаяся Галька не распишет молодых, сегодня — что неладно будут сыграны проводы Виктора за невестой, с которых, собственно, и начинается свадьба. Ведь и фотографирование в райцентре, и регистрация в клубе, и распитие шампанского — все это была не сама свадьба, а только подступы к ней. Что так, что не так на этих

подступах, мать занимало чуть-чуть, — то были вдумки, а их она всеерне не принимала. Другое дело — свашки, которыми сопровождать молодого: будут ли они как положено одеты, и соберется ли к проводам хоть какая-нибудь толпа? Особенно толпа, ей ведь подбирать конфеты и мелочь, которыми Маруся будет осыпать на дорогу Виктора.

— Проклятущая эта грязюка на нервы действует, — говорила мать, беспомощно оглаadyвая двор. — Кучу песка потратили, а ты его где-нибудь выдешь?

И в эту вот грязь полетит посыпаше.

— Ну кто за ним сегодня кинется! — маялась мать перед Марусей. — Ты хоть мелочи готовь поменьше.

— Дети похваляют, — отвечала Маруся.

— Дети? Да их теперь в такой гигиене воспитают, шо аж тошно.

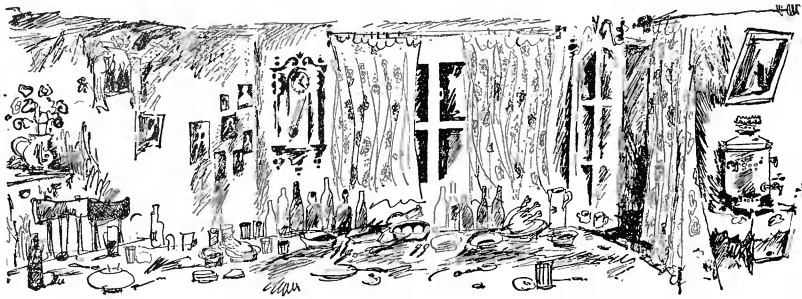
Еще она боялась милиции. Узнают, где свадьбы, и ходят проверяют, что в бутылках.

Ее страхи возвращали меня в детство. В войну мы боялись, не упадет ли на землянку бомба (и падала, не разорвалась), не найдет ли голодный обмороженный итальянец последнюю палицу (и находил, а найдя, почему-то бежал за коню соломы во дворе — и там, озираясь, ел), не утонет ли в Германии кого из родственников. После войны мы боялись, не уведут ли воры корову (что-то им помешало, успели только стреху разобрать в сарае), не отнимет ли в лесу обезьянчик взыску хвороста (отнимал), не отрежут ли за недомками огорода. Зато ж и радостно мне было видеть, как хорошо все устраивалось теперь! Явились и ровно в два часа выстроились у крыльца свашки и светляки. Замужних сестер на роли свашек у Виктора не было, и это звали на себя его двоюродные тетки Вера и Ульяна. Не было у него и незамужних сестер на роли светляков — ими стали студентка Надя и жена Микола-корреспондента Лида. У брава были как положено: вышитые кофты и передники, нарумяненные щеки и начерченные брови. Толпу изображали три пожилые соседки с ребятишками и наши студентки. Когда я перед выездом со двора обводил Виктора вокруг машины, а Маруся его осыпала, они старательно, пожимаясь составили кучу малу, ту самую, без которой нет свадьбы.

— Любочка, Ванько, скорее! — подзадоривала впуск тов Микола-корреспондента Татьяна и, держась рукой за поясницу, тоже наклонялась подобрать гривенник.

— Хватайте! — визжал и тогда ногами двоюродный брат Марус Иосиф, исполнявший должность друга. На нем было новое пальто и зеленая шляпа набекрень. В доме молодой он должен был откупать нам место за столом и пришел сюда с лицом, которое заранее принимало нужное выражение: деловитое, раскрадное, но без нахальства. Он успокоил мать и насчет милиции, которую студент Юра уже готовился, случай чего, не пускать: без ордера, мол, не имеют права. Правá-то они имеют, сказал мудрый Иосиф, правос у них лучше не спрашивать, а надо спокойно, вежливо — пусть заходит. Они глянут на столы, извинятся и уйдут — тоже ведь люди: хоть и на работе, а лютуют теперь охотников мало. Главное, чтоб в бутылках было закрашено, а у нас же оно закрашено.

Хорошо прошло и откупание места молодому. На этом месте, охраняя его и имея для того по колотушкам, сидели два стриженных хлопичка лет по пяти. Торговалась с ними Иосиф страшно. Начал с рубля — и ухом не повели, сидели, как истуканы. С перекосным от жадности лицом рванул из заднего кармана брок трешку — высмеял. Потрася в отчаянии пятеркой — поморщились презрительно.



— Разбойники! — страдал он, доставая десятку и выбирая серебро из всех карманов. — Капиталисты двадцатого века!

Когда мы, побыв, сколько надо, привезли невесту к нам домой, все наши гости были в сборе, не опоздал ни один человек. Последним за стол, где-то на самый незаметный край его, сел старый синеглазый Кирик. Пришел он, правда, одним из первых, только мало кем был замечен и одиноко и молчаливо, с руками между колен, сидел у двери на кухне, пока не потребовалась кому-то табуретка. Не потребуйся эта табуретка, он, может, так бы там, на кухне, и остался... Послевоенный наш бригадир, Кирик столько людских проклятий принял в те годы на свою безответную голову, что и теперь вот будто ждал того же.

— Даю тебя не видел, — сказал он мне, нерешительно подавая руку.

— Да, очень давно...

Мужиков тогда было не густо, да он их и побаивался, и все самое тяжелое и срочное у него в бригаде часто делали вдовы и мы, их дети. Пахаты он, помню, нарядал меня в двенадцать лет. Я чуть не лопнул от радости и гордости, а мать, узнав, заголосила. Удержать плут, когда он в борозде, я еще как-то мог, но заносить его на поворотах и ставить в новую борозду, но с мужской силой непрерывно погонять волов, когда чениги тебе по плечи и ты вцепился в них двумя руками, — это была, конечно, каторга. Согласится, говорила мать, мог только такой преданный дурак, как я, а послать — только такое замороченное и оттого бесчувственное дерево, каким был в то время бедный Кирик... Потом он пас коров, ходил на рядовые работы, а последние годы сидел все больше дома. У него парализовало жену, и он один ухаживал за ней и содержал все хозяйство. Доил корову, убирал огород, готовил еду, изредка кое-что относил на базар, и с того они и жили.

За столом Кирик посидел, недолго и перебрался на кухню. Приметив освободившуюся из-под кого-то вставшего танцевать табуретку, я взял ее и пошел за ним. Он сел, опять сложил между колен руки. Вошла за каким-то делом и, взглянув на него, осталась мать, потом вошла и тоже, взглянув на него, осталась Маруся.

— Счастливые вы люди, — очень тихо сказал вдруг Кирик.

— Какие там счастливые, Микола? — сразу откликнулась мать. — Те счастливые, у кого хозяева с фрова повертались, кого вдовья доля не коснулась.

Микола зажмурил глаза, вскрикнул и заматол головой.

— Детями своими... счастливые.

Осенью ко мне в Москву приезжала его дочка, ушастая, бледная от злости на весь мир девка: выбивать квартиру. Три месяца пожил в ближнем городе на частной, уже сжимала кулачки: «Обязаны даты!» Я что-то ей советовал, говорил, что год-другой придется потерпеть, что на мои знакомства рассчитывать нечего, и только сейчас, когда сидел передо мною и плакал ее отец, а через поряток отсюда недвижная лежала в пустом доме ее мать, пришло мне в голову, что жить в том доме могла бы и она. Замуж уже вышла, человека нашла сельского, специальности такой, что и в колхозе, в гараже или мастерской он был бы при деле — ну что им та Ахтырка с ее швейной фабрикой и пивзаводом? Так ли уж там легче и доходнее?

А если и легче, и доходнее, и веселее — ведь не два бревна ради этого брошены!..

Я вернулся к застолию, которым распорядился Марусин дядя Игнат Андреевич — староста свадьбы. У него тоже лежала дома хворая жена, а четыре сына и дочь были кто где и кто кем, но был Игнат Андреевич доволен. Отдав на пение, он ходил теперь по людям с топором, строил хаты и, любя это свое свободное и почитаемое положение, жалея только об одном, что не мог так жить и раньше. Лет двадцать подраб Игнат Андреевич работал бухгалтером в рабкоопе на сахарном заводе: каждое утро шесть километров туда, каждый вечер шесть километров оттуда. Это бы ничего, рассказывал он, веселая свадьба, да семейные скандалы надоели. Как придется трезвым, так тебе выговор от супруги: почему трезвый? Добрые мужики, кричит, на таких работах совсем не протрезвляются, а тебе что, и поднести уже никто не может?

Разговаривали о чем и всегда — о городе и селе, о порядках и начальниках, о хозяйстве и деньгах. Порядки в разных местах, замечал наш сосед Иван, не сходятся, как ото кровь у людей. Работая трактористом, он заочно в тридцать с лишним лет окончил агрономический техникум, потом его поставили неизвестно кем: временно присматривать за силосованием.

Иван немного поприсматривал, но рядом был

и бригадир, и зоотехник, и кого там только не было, ему стало скучно и неловко, он вернулся на трактор и больше ни на что не претендовал. Забыли его, правда, не сразу, выдвинули было председателем сельпо, откуда он, не сумев создать подприлавочного запаса, ушел еще быстрее.

— Те портфели — не про нас,— говорил Иван без малейшей обиды или зависти, и все с ним соглашались, и всем было весело. Глядя на стриженного под «бокс» спокойного Ивана, я думал о том, что никогда почему-то не бывает у нас за столом чересчур особенных людей: ни таких, у кого дома под цинком, ни таких, у кого хотя бы под соломой, ни расчетливых угрюмцев, ни бесчестных расстреп, ни дерущих глотку, ни смиренно подакivaющихся.

— Колхозники как колхозники,— сказала мне к чему-то Маруся, и мне показалось, что к этому.

Еще с дня я приготовил специальное слабое питье для Виктора — апельсиновый сок, лимонная кислота и джин,— и теперь он одевал это питье своей край стола. Ближним капал в стаканы, тем, кто подальше, передавал бутылку, и каждый, угощаясь, глядела, чтоб хватило попить другим. Чтоб хватило — не как та, все не шедшая у меня из головы бабка в клубе, которая цапнула, не глядя по стограмм, целую горсть конфет. Нустика, а вот задело... И, может, не само это, а то, как неучастно смотрела на нас в клубе те старухи. Мы были там для них вроде бар, панов — со своим шампанским, погородскому одеты, с негромким нашим разговором. Смешно и горько — это Виктор? барин? С его восьмьюдесятью рублями слесарского оклада и радиклуктом, который зарабатал, когда совсем маленькой строил дом? Или Над-студентка — барыня? Ну, студентка, ну, облагорающий на ней костюм и взбитая прическа — так ведь пройдет еще год, и не этот костюм, а телогрейка и сапоги станут ее, зоотехника какой-нибудь фермы, последованной поской! Или муж ее Юра — ну? «Бакан» у него на щеках, ну, «блани» в руках — так ведь и он через год где-нибудь на той же ферме будет пронывать носы рынчатым поросятам! Или тесть Виктора Василий Свиридович? Ну, бригадир, ну, одет, как городской начальник, но изгнание на его Усталое лицо, посмотрите, как, почти не отнимая, держит он руку под пиджаком у сердца, — а ему ведь только три года за сорок...

Может, мы не то там что-то делали, чем и выделялись, как посторонние? Какую-нибудь отсбегину? Так вроде нет, все шло хоть и по непадшему, но обычаю. Нет, если что и делал Виктор с Ниной не так, как другие, то лишь одно: они оставались в селе. Если чем и выделялись, так только этим, и, может, тут-то для тех бабок и не сходились концы с концами?

Молодые, грамотные, при специальностях, городские на вид, все у них есть, даже машина, а туда же — в село, как будто и им деваться некуда. Значит, баловство, с жиру или по глупости. А то, что у Виктора мать и бабуся и покинуть их ему невозможно, за причину не считается, ведь другие покидают...

Уже в темноте жених с невестой, старшая сашка Вера и я поехали в дом родителей молодой собирать подарки. Под них мне был дан огромный мешок. Нарodu там было много, куда больше, чем у нас, и карманы Виктора быстро вспушились от денег, а мой мешок — от всевозможных вещей: одежда, постельное белье, куски материи, даже несколько книг. Столы обходили так: впереди Вера с торбой, в которой были шпикши для раздачи гостям, за нею Виктор с Ниной и сзади всех я. Вручив гостю шпикшу, Вера принимала подарок, разворачивала его, давала ему высшую оценку и протягивала мне. При этом безудержно хвалила жениха и невесту. К первым мы подошли к

Василию Свиридовичу и Зиваде Петровне. Они встали.

— Дарю вам счастье-здоровье,— сказал Василий Свиридович,— чтоб любили друг друга, вас не забывали, всех родных почитали, и вот эту маленькую книжечку дарю.— Речь шла о сберегательной.

— Что отец, то и я,— сказала, как положено, Зивада Петровна.

Дождавшихся молодых и со своей стороны тоже одарив их, наши гости еще немного попили-потанцевали и скоро после полуночи начали расходиться.

Когда не осталось никого и со столов уже убрали посуду, совсем тяжелый неожиданно свалился по пути домой Григорий Оейко. Из кармана у него торчал ружьиш, повязанный котормым он весь день и половину ночи просидел во дворе у Виктора тестя с барабаном между колен. Мать налила ему стакан, подвинула непочатую тарелку холода, и он с аппетитом человека, за весь день не присневшего к столу, принялся закусывать. Это было, правда, нелепо: клонилась голова, и распозались локти. Мать терпеливо стояла рядом.

— О, Тавя, о-о!...— силно выдыхал он из себя, качая толстыми красивыми ушами.

— Что «о-о»? — морщилась она.

— Свайба у Василья Свиридовича была — о-о... Все было!

Заметив меня и не помня, что виделись вчера и каждый год все эти двадцать с лишним лет, удалился.

— Ты ж малый был.

— Вот жыр, Григорий Матвеевич.

— Ага. Я тебе зарас вопрос дам, а ты, как ты грамотный, скажи: шо главное на войне?

Я вспомнил, как отгорчал меня в детстве, что он стрелял, пряча голову за бруствер, и сказал:

— Целитесь.

— Дурак ты,— вздохнула Гришка.— Главное — не тикать, без приказа.

Уходя, он удалил в ожидавший его на веранде барабан, поспушал звук и, вручив мне колотушку, налегке отправился домой.

И вот наступил понедельник, первый день после свадьбы.

Вчера и позавчера никому не надо было думать, что делать, как повернуться, потому что всех вел обычный, в котором для каждого было свое место и свои обязанности, и вокруг все время была люди. А теперь — опустевший дом, никого из чужих, и надо становиться самими собой. Я встал позже всех и за-тракал один.

В комнате была только мать. Я спросил, как молодые.

— Уже поели,— сказала она.— Накрывали им в левней кухне, накрыла и сразу ушла, чтоб не вертеться на глазах у молодичи, не смущать ее.

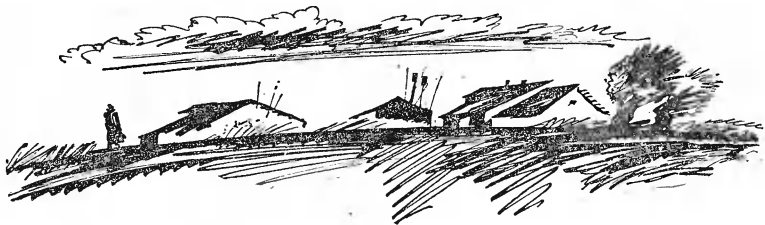
— Значит, и готовить не будила?

— Сама разве не готовила? У меня и Маруся до плиты не касалась.

Она поразмышляла над моим вопросом и обиделась:

— Ты за кого меня считаешь? Я свекрухой ей не буду. Это уже отжило, когда невестка вскакивала первой. Это я была такая дурочка, что меня свекруха не будила, как встала в первый день до свету, так и пошла. Теперь того не будет, глупо и ждать, я Виктору уже сказала: как будет лето, первым делом пробей в мою комнату дверь с веранды. Чтоб я вам не мешала. К себе я и в чоботах зайду и кухайку куда попалю кину.

Пришел Иосиф, и мы стали втаскивать, собирать



и располагать мебель: диван, стол, буфет, платяной шкаф. Нина что-то делала в спальне, потом, когда был готов диван, перебралась на него. На ней было будничное платье, гладкая прическа открывала выпуклый, в легкой испарине лобик, беззащитный взгляд, казалось, просил нас только об одном: не обращать на нее внимания, не баловать, не спрашивать, что случилось на новом месте.

Иосиф мельком с ней поздоровался и деловито повернулся к нам:

— Теперь, мужики, нужна веревка. Тащим гардероб.

Обедали, как почти всегда в будни, не собираясь за столом все вместе. Сели Иосиф, Виктор, я и мать. Маруся с Ниной, занятые домыванием оставшейся от свадьбы посуды, не захотели. Виктор внес с веранды холодного пива, воткнул в розетку штепсель пропиратора, поставил пластинку. Громкоzza, правда, сделала на чуть-чуть, чтобы можно было и не слушать. В разговоре мать вела свое: что лобная «психика» первой отражается на городах, хоть война, хоть голод, а жить там в спокойное время все равно лучше. Иосиф по своему обыкновению говорил «не». Года три назад он кончил специальные курсы и теперь работал по искусственному осеменению коров. Ему было чем гордиться. Курсы он кончил почти в пятьдесят лет, хотя был мужик и помолоде... Сейчас за ним числилась целая лаборатория, в которой все блестя и в которой он, как врач, не работает без белого халата.

На ферме пять сотен коров, и каждую он должен держать в голове, чтоб не осталась яловой, — ему ведь платят с отелов. В том, что оплата установлена с отелов, Иосиф видел правильную хитрость власти. Правда, власти не местной, не колхозной, — эта была ближе и что она могла додуматься до такого порядка сама, ему не верилось.

— Работы теперь, конечно, и в селе есть легкие, только на всех не хватит, — говорила мать. — А толку не будет, ты, Иосиф, и не жди, живи ты хоть сто лет.

— Не, — отвечал Иосиф. — От человека зависит. Я вон один месяц проучился, и у меня уже толк. А если б годов пять? Ничего пять лет не делать — все можно изучить. Если б нас таких, кому война помешала, своевременно взять хотя б по одному из села да создать условия учиться, думаете такие б были председатели? Я бы все изучил, и вы бы у меня по струнке ходили.

Виктор поставил новую пластинку, немного прибавил звука. Женский голос запел на украинском языке про горящую степь и солдат, идущих в бой — степью, степью... — и падающих в несжатую рожь.

— Нравится мне эта песня, — сказала мать. — Как старинная.

— Не, — сказал Иосиф. — Какая старинная? Описание про эту войну, знают и того человека, про которого описано. Фамилия известна, да. Живет в селе, работает то ли при складе, то ли по плотничному — точно не скажу.

Мать хмыкнула:

— Да послушай, что поется. Его же убито.

— Убито-убито, а жив остался. Случай бывают всякие.

Песня заканчивалась словами о теперешнем времени: созрели жить в той горевшей когда-то степи, люди — степью, степью... — наут их жать, а мать погибшего солдата все ждала его и никогда не дождалась. Виктор слял пластинку, и они еще немного пообщались песню. Заметили, что жита у них теперь, сеют мало, лучше б петь «пшеницу» и что жать даже сразу после войны не жали — косили литовками, хоть и баб взяли: теща Миколы-корреспондента Татьяна сваливала про сорок соток за день. Написано, решила, для красоты — про жито, — но в общем правильно. В пшеницу или в жито, а полегло тут в сорок первом немало.

За окнами срывалось на снег, было похоже на то, что хоть начало марта в этом году окажется обычным, с метелями. Густых расцветок портьеры на дверях делали комнату темнее и уютнее. Сколько ж лет это еще будет продолжаться? Для чего бы ни сожалелось, о чем бы ни заговорили, что бы ни вспоминал в нашем доме, все возвращаются и возвращаются к войне, — и не реже с каждым годом, а, кажется мне, чаще.

Или дело просто в том, что я лучше стал прислушиваться?

В семь вечера Виктор повез меня в Харьков, к московскому поезду. Виктор будет все, как надо, в следующий раз мы встретимся где-то через год, и ехать я буду, наверное, уже на родину. Так оно и идет, от события к событию. Проводы в армию — свадьба — родину...



Владимир
ЭРВАЙС

МЕРА ОТДАЧИ

Рисунок
О. КОПИНА.



ад нефтепромыслами Самотлора, Мегнона, Нефтеюганска и южнее их, и северней, над каждой ДНС (дожимной насосной станцией, где добытую нефть глубин освобождают от попутного газа) горят высокие гудящие факелы.

Сжигают попутный газ. Сжигают, чтобы не отравлять атмосферу: миллионы кубометров драгоценного газа режут пламенем. А что поделаешь? Буровые работы и передача новых скважин тюменским эксплуатационникам ведутся быстрее, чем работы по освоению попутного газа.

...Жидкие, невысокие кедр и лиственницы чернеют на заснеженной равнине. Вокруг солнца просматриваются три радужных круга — мороз ниже сорока. И с ветром... В струях поземки теряется рыжая нитка трубопровода. Здесь участок бригады Володи Машкова. Четыреста таежных, болотных километров тянут трубоукладчики газотранспортную магистраль — трубу диаметром 1020 миллиметров, по-своему называя ее «тысячковой». Надо закольцевать, объединить все ДНС, отвести попутный газ на завод предварительной переработки, остатки направить в топку Сургутской ГРЭС — и погасить факелы над Самотлором. Из четырехсот километров трассы семнадцать — участок бригады Машкова.

Отворачивать лица от жгучего ветра ребятам нельзя, смотреть надо: хобот трубоукладчика подает к стыку новую плеть, а, смыкаешь ли ты крутые зевы труб, перехватываешь ли стык ровнительной цепью, варишь ли наружный шов, — от ветра, от мороза, какую бы ты здесь работу ни делал, не отвернешься. Лицо обжигает, дерет мороз, как наждачная шкурка, только слезы успевай рукавичкой обтирать. Потому-то, наверное, у парней темные пятна на скулах — обожженные морозом места.

Вдур хобот трубоукладчика качнулся, наклонился. Из-под гусениц, пахнув терпким паром, фонтаном ударила бурая жижа, трактор с навешенной на стреле многотонной трубой клонул радиатором в снег, стал оседать...

Казалось, сейчас закричит кто-то. Машков отнял щиток от лица, бросил что-то коротко Гере Чайникову, тот враскачку побежал по глубокому снегу к навалу заготовленных слег, заранее срубленных под корень деревьев. Туда же пополз, утопая в снегу до кабины, второй трактор. Трубоукладчик, опустив плеть, сдал назад — ветрополюбо, привычно. На месте провала забурел снег, кофейное пятно расширилось, парило, крепко запахло перепрелой травой, рыской — летние какие-то запахи. Володя Машков сунул шест в провал, в бурую жижу — шест ушел под небольшим нажимом на метр-полтора.

Никто не суетился. Подвезли слегы, укладывали их крест-накрест, бульдозер подгонял снег, гусеницами притрамбовывал — все, как по боевому расширению на военных кораблях: каждый знал свое место и дело.

На загаженное место въехал трубоукладчик, поелозил, как бы устраниваясь поудобней, поднял трубу и подал ее к стыку. Володя опустил щиток, вспыхнула дуга. И правда, дело привычное. В иной день гатят, застилают стволами и хворостом прорванную болотную корку по шесть раз. иную стометровку трассы гатят целиком...

...В балке гудят мазутная пещка, пышет жаром. Пшем черняк, как деготь, чай из литровых стеклянных банок, на треть загруженных сахаром. Сброшены рукавицы, шапки, тяжелые унты, растегнуто бсс, что можно растегнуть; тело вытывает благо-

Датное тепло, сонно цепенет — девь к концу, а день был нелегкий.

Володя Машков поясняет:

— Эта зима как бы вроде и не сибирская. Морозы редко опускаются к сорока, а ниже пятидесяти — так всего-то и было что три-четыре дня... Все больше тридцать, тридцать пять. Я что-то и не помню здесь за три года такой зимы — мягкой... Казалось бы, хорошо! Ведь трасса-то не под крышей, не в ствах. Но в том-то и дело, что тепло — оно всем хорошо, а нам плохо. Мы трассу тянем по болотам, а они под слоем мха и торфа при малых морозах не промерзают. А мы идем не легкой ногой, с техникой. Ну, и рвется верхняя корка над болотом, тракторы уходят в топь, иной раз в момент тракторист только успевает выскочить. Заметили, у нас все машины без кабины? Пусть уж лучше на ветру, зато выскочить сподручней, если что... Визнут наши темпы в болотах при малых морозах, а специфика западносибирская такая: основные работы делать зимой с самыми верными дорогами, а значит, и снабжением — по зимникам... Кончатся перекуры, ребята. Еще плетью успеем нарастить!

Пока труба на весу, бульдозер подгребаёт под нее сугроб. Снова трубоукладчик наклоняет хобот стрелы, новая труба ложится на сбитый снег, подминает его и остается на весу — сугроб ее держит. Тракторист приподнялся, как всадник на стременах, шею вытянул, шапку на затылок сбил, губу чуть прикусил — тонкую работу делает, подводит навешенную плетку к стыку. Осталась метровая щель. Володя Машков подмигнув, юркнул в щель, скорчился в трубе — и тут же стык сомкнулся. Леся Теряев перехватывает его ровненькой ленточной цепью, завила замки до отказа, сровняла трубу по сечению. Изнутри в тонкую щелочку стыка вырвались искры и брызги сварки — это Машков заваривал шов.

Леся Теряев объяснил, что снабженцы не доставили специальных электродов, проваривающих шов по всей толщине стенки, вот и приходится варить дважды — изнутри и снаружи.

— А как же Машков?

— Так «тысячочка» же! Пробрется по плети... Пока участок противень, он километров десять на карачках проползает. Снабженцам-то что! «Нетуги, да и толком...» Их бы по трассе на карачках погонять — наши бы, есть они, спецэлектроды, на Самолоре. Конечно, мы не подтравиваем тянем, для снабженцев мы как бы второстепенный фронт. Им фа-

келы спать не мешают... Эх, приладить бы на эти горелки особые сврены, чтобы выло и стонало во все часы суток!.. Это у нас несколько дней хорошо трасса пошла — мороз. Володя подобрел, ритм не хочет сбивать, а то бы точно поехал к снабженцам — дал бы прикурить!

Трактор подтягивает новую плетку к месту стыка. Сварка на стыке. Еще плетку, еще плетку, сварка. Плеть — стык, плеть — стык. Давай-давай, лето не работа, работа в зиму: плава, заработки, трудовая слава.

За ними, за людьми Машкова, пойдут изоляционники, засмолят трубу, обернут антикоррозийной лентой, уложат в заснеженную траншею. Придет лето, загребут трубопровода, заровняют — проверенный, готовый, задемпфированный. Только просека останется сквозь чахлую тайгу, да и то ненадолго — зарастет.

Память останется. Трудовая память рабочего человека.

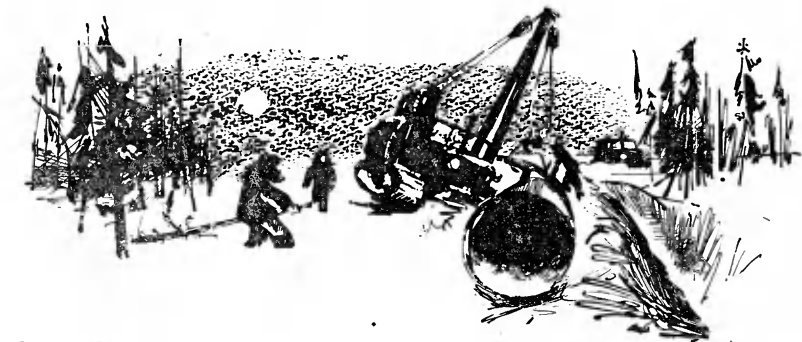
Помню, встретился я в Нуреке с бетонщиком Камолом Хумсариевым, депутатом Верховного Совета Таджикистана, уже немолодым, удивительной судьбы человеком. Водил он меня по местам работ своей бригады и рассказывал:

— Укладывали здесь бетон, на портале туннеля-водопада. Баруш шум, гай-гуй: человек в туннеле погреб... Погреб хороший парен, светлый — бригадир проходчиков Миша Дикарев. Порода обрушилась... Мы переживали, плакали. Видишь, сделали ему памятник...

В отесной стене скалы была забетонирована плита: «Ты в нашей памяти, в сердцах наших, Миша Дикарев». И дата.

— Это мы в тот же день сделали. Его именем улицу потом назвали... А здесь, на дороге, работали — прибежал сосед, кричит: «Радуись, Камол, твоя жена сына родила!» Теперь вырос, хороший сын, Муродом зовут... Когда здесь работали, бетонировали опорную стенку, меня отправлял в Болгарию. Поделиться опытом. За меня Махмуд Каримов остался, он теперь институт окончил, двух детей имеет... Вот стану старым, соберу внуков и поведу их по своему пути, по бетону. Расскажу, когда их папы-мамы родились, где радость случилась, а где горе. Вся моя рабочая жизнь в бетоне отмечена...

...До прихода вахтенного автобуса машковцы успели нарастить четыре плети. В автобусе уже сидели две бригады с дальних участков. Грянули песни. Пока выехали на бетонную кольцевую дорогу, стемне-



ло. Если поначалу песни кричали, озорничая, то теперь наладился, пели не громко, а слаженно:

От ветров и стужи
Петь мы стали хуже,
Но мы скажем тебе, кто прекрет:
— С нами полюбуйте,
С нами полюбуйте,
Трассу потяните хоть бы с год..

За черной щеткой тайги багровели слуховых дальних факелов. Володя ископа поглядывал в окно, морщился, как от зубной боли.

— Горят факелы...

— Пока горят. Погаснут.

— Кочните эту трассу, что потом?

— Об этом не думал. Трасс на мой век хватит. Неважных трасс нет. А к старости детям покажу все свои трассы — пусть географы изучают по моим делам, а жизнь сначала — по моим рассказам о товарищах, о том, что мы вместе пережили... и она тогда уж «домашними растениями» не будут.

В девять вечера, как было условлено, состоялся визит ко мне в гостиный Володы Машкова «со товарищи» — пришли четверо парней в модных костюмах, белоснежных рубашках, красивых галстуках, выбитые до блеска, причёсанные и непривычные сами себе.

В нижевартовской гостинице «Самотлор» полированное дерево, шелк портьер, блеск паркета, тепло, светло, уютно, слегка парадно.

— Выткнули мы от хором, — сказал Машков, оглядываясь.

Мы пили сухое вино. Я отвечал на вопросы о «Большой земле», о Москве. Разговор сначала как-то не клеился. Но вот заговорили о Самотлоре, о Нижневартовске, и беседа разгорелась.

— Приехал — город уже был, я не из пионеров... Сергей Трофимов, высоченный парень с профилем Гоголя, сидел на обычном стуле, в обычной, по-видимому, позе, но раскованно, свободно. Говорил легко, не жесткулировал.

— В городе бываю не часто. Особенно зимой. Живем мы — все четверо — в бадах. И холостые и женатые. Прямо скажу, бытовые условия «не фонтан». Правда, тепло, но только-то. Так вот, бывает, иду по улице — новые дома! Два месяца каких-нибудь и прошло, а уже — новые. Ну, подуюмо по душевной слабости: «Вот эту бы квартиру — на третьем этаже, уловую — мне...»

— Почему же по душевной слабости?

— Потому, что мысленка такая... не мужская. — Трофимов почему-то улыбнулся. — По-моему, мужчина все должен сделать сам, в том числе и жилье. Это, конечно, не значит, что я должен строить свой вигвам, свою избу. Но отработать на совесть назначенное время на стройке жилого дома должен.

Я понял, что хоть и улыбался Сергей, во говорил то, что думал, серьезно.

— Почему же не отработал и не живешь в новом доме?

— Во-первых, я приехал на трассу, трасса сейчас важнее. Во-вторых, я не один. Мы бригада. Добьем эту трассу — срочнику! поставим перед начальством такое условие: стать строителями. Уверен, нам разрешат сменить на время специальности. Построим — и все жить будем в одном доме. Думаю, при распределении квартир не поспорились.

— Сереза — личность яркая, заметная. На работе он молчалив — да и не кучей работают ребята, у каждого свое дело. Но как только кто-нибудь окажется с ним рядом — там смех. Сергей умеет весело подтрунить, а то и поддеть острым словом. Его характерный нос на морозе багрово пламенеет, Сергей не закры-

вает лицо шарфом до глаз, как многие, — «нос надо держать по ветру»... Двадцатичетырехлетний сибиряк из Нижнеудинска, он рано «осамостоятился» (его выражение), школу окончил вечернюю, работал слесарем. Службу в армии проходил на Дальнем Востоке, командовал расчетом. С полученной в армии специальностью после демобилизации работал в теателе, ремонтировал телевизоры. Поступил в Иркутский политехнический институт. Создал себе быт (тоже его выражение). Это было пять лет назад.

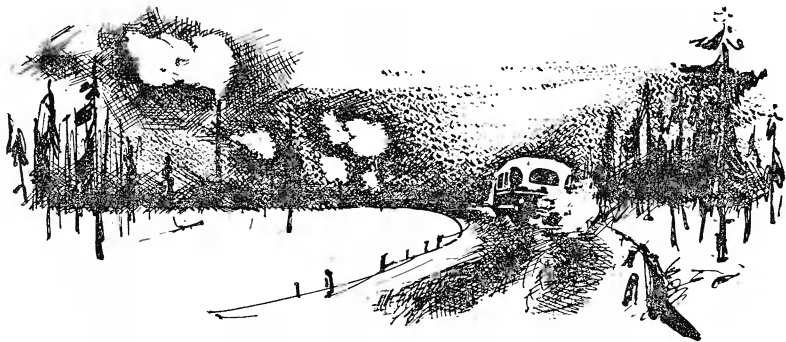
— Значит, ты уже на пятом курсе?

— Вовсе не значит... До второго курса все шло, как у людей. Потом замушел у меня в голове ветер дальних странствий, бросил я свой быт, ателье. Работал в Заполярье, за Мирным, на трубе «Удачная»... А тут Самолтор объявили — я здесь. Нижнеудинск — Нижневартовск. Там все построено, а здесь еще надо построить. И еще одна важная причина: на новом месте — новые люди. Конечно, на новостройках есть всякие, и шулухи много. Но чем труднее, тем скорей шулуху сдувает, и остаются те, кто личности. Таких люблю. Такие, как правило, на трассах. Вот, мы скончались, мы — бригада. Значит, трассовики...

Ребята заспорили между собой, обсуждая бригады соседних участков. Я смотрел, слушал, припомнил наши прошлые беседы. Когда расспрашивал машковцев о взаимоотношениях в бригаде, кто-то из них сказал «срабаталось», кто-то сказал «сдружались». По-моему, их объединило еще и нечто большее, что трудно назвать одним словом. Казалось бы, что общего у философствующего, разбитного, изнуренного Сергея с Герой Чайниковым? Только то, что они одноклассники и комсомольцы. Герман родился и вырос в удмуртском селе Мурозь-Омга (Медвежий угол), рано стал работать, крестьянствовать. Гера — крестьянин во всем: коренастый, не ладо скроев, да крепко спит, рука мощные, ладоны короткозалы, молчалив. Чайников молчалив, говорит только необходимые слова. Он ревниво, но в то же время и тепло смотрел на Сергея, когда тот вел разговор, и как брестали его глаза, глубоко упрятанные под могучий лоб, как напрягались, как вспыхивали румянцем лицо Гера! Сергей говорил не его слова, но высказывал его мысли — так складно, как сам Герман пока не умел.

Они дополняли, как я сейчас понял, друг друга: Сергей Машков, Гера, Леия Теряев. Каждый вносил в бригаду с себя, свою человеческую суть, а не только мускульную силу и рабочий навык. Мне приходилось встречать такое духовное единство разных натур в разведвах, у фронтовиков-десантников. Когда я сказал об этом Машкову, он заулыбался, как улыбается человек, чем-то гордящийся, если предмет его гордости заметил и оценил. А Машков гордился тем, что бригада у него была, как стиснутый кулак, тем, что было в ней единство.

Оно, конечно, из многого складывается, и не сразу. — Володя Машков потянулся за сигаретой, чтобы погасить улыбку. — К примеру, совсем недавно работал с нами человек, фамилия... назвать не буду... Поступил нас, попутный, работал бы вместе и радоваться. Но мы ему сказали: «Уходи!» И ему пришлось уйти. Он был чужой, и мы ему были «до лампочки». Раз пришел выпилиши на работу, второй раз. Я с ним поговорил. Все собрался — поговорили. Конечно, без протокола. Не понял. Все время он сам по себе, бригада сама по себе. Может, на другой работе и можно мириться с этим, но на нашей, на трассе, нельзя. Внешняя обстановка — природные условия — тяжелая, а если еще внутренняя станет «ниже нуля», — работать по-настоящему невозможно. Пусть нас будет меньше, зато уважения к делу у всех станет больше — я тогда так решил, и так оно и вышло...



В семье Машковых было восемь детей: три сестренки и пять братьев. Отец умер, мать на пенсии, жили в деревне Ильинка, под Уфой, — мама Володина и сейчас там живет. Трудно им было, об этом коротко не расскажешь.

— Семья потому и выстояла и все мы людьми стали, что крепко друг за друга держались, работой не делились, мы ее делали. Каждый посильно, а в основном-то на пределе сил. Так что у меня с детства эта мера: или ты делай дело, как оно того требует, или отойди и не мешай. От такой работы, кстати, человек только крепче становится... Но не поймите меня так, что работать — это значит «бери больше, щади меньше». Нужна во всяком деле голова, аккуратность нужна, смекалка тоже. Но это само собой...

Леонид Теряев — одноклассок Володи Машкова, им обоим по 25 лет. Родом с Орловщины, из города Ливны, комсомолец, в бригаде — новичок, еще года не проработал, не был с Машковым на легендарной трассе Самолтор — Альметьевск. Тогда бригада первой вышла на укладку трассы в летних условиях, первой на всем Среднем Приобье. Семнадцать километров через сплошное болото, вот был участок, вот был марш! Тогда их прозвали на трассе «болотными солдатами».

— Они мне не рассказывали, как там было, — мотнул головой Лея. — Машков отмалчивается, Сережа отшучивается, Гера не рассказчик. Знаю, он там чуть не потонул с трактором, ребята среагировали быстро, вытащили. Опущенные были, расчесанные — комарье там лютее, три комара на спичечный коробок... Шкура на них трещала — такие они, работать с ними было не медь, с ними и зимой-то не перекуришь... Но узнал не от них...

Лея сначала странным казалось: работают ребята или отдыхают, вдруг Сережка обнимет Геру за плечи, или Гера Володе руку на плечо положит, или вдруг припикнут плечами друг к другу втроем — на секундоочку! — здоровенные парни, и такие нежностью... Потом уж он понял: они пережили вместе что-то такое, чего он сам еще не пережил.

— Теперь что, скрывать не буду, дело прошлое, но очень мне захотелось, чтобы и ко мне они так же относились, как друг к другу, и чтобы я к ним — так же. А когда это пришло — даже не заметил, как-то само собой произошло...

Гера Чайников все время сидел прямо и локти на стол не ставил. Пиджак на нем без морщинок, без заматывания. И жарко ему было очень, но он не рас-

стегнул ворот рубашки, не приспустил галстук. Он рассказал мне по просьбе ребят, как «выпрыгнул» с трактором в болото.

— Когда провалился мой трактор в «окно» — пере-дом ушел под воду, весь сразу, очень быстро... Вода хлынула на грудь, потом накрыла с головой, а я сижу, держусь за рычаги, даже глаза не закрыл... Они вырвали меня наверх, лежу на телогрейке, глаза открыты — и ничего не вижу. Володя мне глаза ладно протер, как стекла в окнах... Они сидят рядом, курят, мокрые... Мне глаза жжет, туманное все вокруг... Тогда я понял: жить очень хорошо. С ними очень хорошо. Почему? Каждый за меня. Захотелось им сказать, что и я теперь за каждого. Но подумал: «А час назад не так было?» Ну, и пока думал, понял, что говорить ничего не надо...

Гера говорил не спеша, не громко, все больше руки свои рассматривал, темные, опаленные морозом и солнцем, в засечках застарелых трамов, в свежих, недавних царапинах, так не вяжущихся с белоснежными крахмальными манжетами... Глаза в морщинах привычного прищипа, лицо... В чем-то лица всех ребят были одинаковые. Да, обветренные, как у героев книг моего детства — Фритцера Нансена, Руала Амульдсена, Георгия Седова, — обветренные лица первопроходцев.

Перевалило за полночь, близилось утро. Пустели одна за другой пачки «Явы», люстра пылала по голубым волнам, шелковые шторы взвивались к потолку порывами морозного пара из открытого окна. Разговор продолжался. Не о квартирах они говорили, живущие в балках по таким адресам, что если бы поменять почтальона на повенного, то и письма бы их не нашли (есть в Нижневартовске еще такие «жилищные условия»). Говорили о трассе. Вот уж воистину: «На работе — об охоте, на охоте — о работе». Привычка тех, кто умеет всего себя отдавать делу, кто способен в нем видеть не только способ заработать.

Зажигались окна в домах, темнеющих на посере-жем, с багровым подсветом неба.

— Это что, зря уже? Ранно что-то...

Машков глянул в окно, машинаю определил:

— Это не зря. Факелы...



Игорь САНТУРЯН

Миллионы парней и девушек едут по железным дорогам страны. Работать, отдыхать, учиться. С какими проблемами они сталкиваются в пути? Кто и как обслуживает их в дороге? Участник студии «Публицист» при редакции «Юности» молодой журналист Игорь Сантурян решил поработать проводником на одной из железных дорог страны. Публикуем его записки.

В отделе кадров вагонного участка Восточного направления Московской железной дороги мне сказали, что прежде чем работать проводником, надо закончить трехмесячные курсы. И лишь в порядке исключения мне разрешили подготовиться индивидуально и сдать экзамены. Две недели я штудировал специальную литературу. Оказывается, проводнику необходимо знать расстояние между рельсами, марки крестовина стрелочных переводов, диаметр колеса и многое другое. Наконец, сдав экзамены, я поехал на практику.

Инструктор из рук в руки передал меня проводнику, с которым мы сразу нашли общий язык: Дмитрий Васильевич любил поучать, а я, в свою очередь, внимательно слушал его, а главное, не перебивал. Выехали мы с Ярославского вокзала на фирменном поезде «Россия». Поезд шел во Владивосток, а я и другие практиканты должны были сойти в Барабинские и вернуться «Россией», идущей в Москву. Днем мне работы не нашлось, хотя я ходил за Дмитрием Васильевичем по пятам и без конца предлагал свои услуги, зато вечером он занялся мною основательно.

— Работать здесь можно. Главное — не пить. Сам подумай, на что годится пьяный проводник? Это железная дорога, а не шуточки. Чуть зазелся — все, ты виноват, появля! Вот на, выпей подстакавана, и больше не надо. Не хочешь? Правильно делаешь, молодец. — Он аппетитно выпил, занюхал колбасой и продолжал. — Я тебе в отцы го-жусь, жизнь прожил, войну прошел, так что слушай да на ус наматывай. Вот, к примеру, папка для билетов. Думаешь, она просто так придумана? Не-ет. Пришел ревизор — что будешь делать? А ты сразу раз

ему папочку — все нормально. Понял? Ну, давай еще понеможку. Ты что, совсем не пьешь? Это плохо. Трудно тебе будет работать...

Так мы доехали до Барабинска. Весь день я шатался по улицам, посмотрел два фильма, а вечером с остальными практикантами стоял на перроне в ожидании поезда. Было это в конце октября. Зень выдался солнечный, теплый, но с наступлением сумерек я ощутил, что вокруг — барабинские степи. Холодный ветер продувал насквозь. Наконец, подъехал поезд. В дверях «штабного» вагона показался долго-вязый проводник и, ядовито улыбаясь, сказал:

— Практикант? Все ясно. Заходи, сейчас я тебя заставляю топку кокегарить, подстакавники драить — посмотри, чему тебя на курсах научили.

Я влез в тамбур «штабного» вагона и столкнулся с вапнарником долговязого.

— Пошли в вагон, чего здесь стоять? Снимай пальто, садись. Ты чего такой хмурым?

— Замерз.

— Сейчас чайку попьешь и согреешься.

— А почему в вагоне так холодно? Уголь ковчился?

— Какой уголь? Сменщика мне молодого дали, только курсы ковчил. За двоих отдохнуть приходится.

— Этот длинный — твой сменщик?

— Ну да. Я с ним вымотался весь. Мне вот сейчас



спать положено, а какой сон, когда у него топка погасла.

— Пойдем вместе. Сейчас быстроенько растопим...
— Я уже раскопалась. Через полчасака тепло будет.

В купе вошла женщина — проводница лет пятидесяти. Темноволосая, с добрыми глазами.

— Пойдемте к нам, — сказала она. — У нас теплее.
Через минуту я сидел в просторном купе спального вагона. На столе появился ужин. Потом — чай в ажурном, начищенном, как солдатская бляха, подстаканнике...

— Скажите, а почему вдруг такое внимание ко мне?

— Да просто я подумала, что плохо вам придется в «штабном» вагоне. Там ведь, помимо проводников, еще бригадир едет, инструктор ваш, ресторанишки... Суета, шум, а у нас свободно. В двух купе иностранцы едут, в одном — муж с женой, и все. Ну, и кроме того, не сравнить же спальный вагон с купейным? Ой, забыла совсем, пойду в топку подбросю.

— Подождите! Давайте я покочегарю, не женская это работа.

— Не женская? — Она улыбнулась. — Пойдите, я сейчас вернусь.

Через несколько минут, когда она возвратилась и стала осторожно вытирать полотенцем руки, я спросил:

— Вы что — порезались?

— Ерунда. Кожа потрескалась. И у вас так будет.

— Почему?

— Ну как же? Руки всегда мокрые: то стаканки мою, то туалеты, а тут остановка — угаем, водой заправлять надо. Хватаешь клыку с кипятком, бежишь трубы отогревать. Потом уголь засыпашь, берешь лом, лыжики под вагоном отбиваешь, а мороз градусов тридцать да ветер...

— Ну вот видите, разве это для женщин?

— А постели пассажирам застилать — для мужчин?

— Да... Скажите, ради чего вы проводницей работаете?

— Ради чего?.. Ну... во-первых, интересно, летом особенно, во-вторых, удобно — две недели в рейсе, две дома... Вообще, должен ведь кто-то работать!.. Извиняюсь, как вас зовут?

— Игорь.

— Капитолина. Вот, Игорь, ложитесь-ка лучше спать. Заболталась я с вами, а мне нужно к Москве готовиться.

— За двое суток?

— Конечно. Вас разве не учили? Самое трудное в работе проводника — это сдача вагона. Поедете самостоятельно, тогда все быстро поймете.

...Прошло два дня, практика моя кончилась, и началась новая, красивая жизнь. Началась с того, что я была в шавках и петилах стояла в очереди за маршрутным листом. Предварительно всю бригаду инструкторовали часа два.

— Поедешь в Боркату, — сказала наряжница, выдавая маршрут, — сменишь уже в вагоне, иди.

Сменишкой моим оказался симпатичный парень с аккуратно выбитыми передними зубами. Его звали Мишка.

Как только отехали от вокзала, Мишка сказал: «Ты иди билеты отбирай, а я займусь чаем. Только быстрее давай, а то они сейчас за колбасу примутся». И действительно, все 54 пассажира начали жевать колбасу (в основном краковскую). Боже мой, неужели и я, будучи пассажиром, начинал свою поездку с колбасы? Не вагон, а закусочная.

Потом мы с Мишкой разносили чай, кочегарили, подместили — словом, работали. Пассажиру нужна какая-то обстановка, чистота — обслуживание на хорошем уровне... А тут я, весь в черном и с клыком в руках. И это меня, откровенно говоря, смущало. Кто-то, наверное, жалел, что не полетел самолетом. Изящная, красиво одетая стюардесса с четко поставленной дикийей куда приятнее проводника, таскающего уголь. К концу дня я совсем расстроился. Сел у окна в служебке и задумался. В этот момент прибежала проводница соседнего вагона и сообщила: «Ревизоры сели». Не успела она уйти, как в служебку вошел ревизор. Среднего роста, средней полноты, средних лет...

— Здравствуйте. Как дела?

— Добрый день. Все в порядке, — ответил я.

— Садитесь, — любезно пригласил Мишка.

Ревизор удобно расположился, отказался от предложенной сигареты и занялся папкой для билетов. Закончив с билетами, он долго молчал, а потом вдруг спросил:

— Значит, все у вас нормально?

— Конечно, а как же иначе, — деловито шепелявил Мишка.

— Чайком попей?

— Только что. Может, заварить?

— Да нет, спасибо, я чай не пью. В Москве-то холодно, небось?

— Пока тепло...

Он еще долго задавал подобные вопросы, а я никак не мог понять, что ему нужно? Но тут-то как раз все и прояснилось.

— Значит, говоришь, безбилетных нет?

— Нет.

— А если проверю?

— Честное слово, нет. Проверьте, если хотите, но я точно говорю...

— Ладно, ладно, верю... Ну хоть на пиво-то дайте...

Мишка повернулся ко мне и шепнул: «Дай ему рубль». Все деньги, казенные и наши с Мишкой на питание, хранились у меня. Я раскрыл кошелек, извлек из него рубль и протянул ревизору. Он нехотя взял бумажку, сунул в карман и поднялся.

— Ну, ладно, работайте. Может, на обратном пути встретимся.

— Заходите. Что от нас зависит, всегда сделаем...

— И это всем надо давать? — спросил я после ухода ревизора.

— А куда денешься?

— Мы ведь не везем зайцев?

— Ну и что? Он к чему хочешь придраться может. Обнаружит венчик в котельном отделении, или ведро не там стоять будет, или грязь найдет в вагоне, да мало ли? Проводник ведь за все отвечает. А чуть что, сразу премии лишат, а могут перевести на охрану вагонов, и будешь на девятноста рублях три месяца в вагоне сидеть...

Но тут пришла пассажирка и пожаловалась:

— У вас в туалете воды по колено. Войти нельзя.

— Сейчас все уладим, — успокоил ее Мишка, — Раковину прихватили, наверное. Надо отогреть сročно... Он взял клыку, наполнил ее кипятком и пошел в туалет.

— Теперь все, — пробурчал Мишка, вернувшись, — через каждые полчаса замерзать будет.

— Ты что, серьезно?

— Тут не до шуток. Только успевай размораживать. То в одном туалете, то в другом...

Мишкины слова оказались пророческими. Вроде не такой и мороз крепкий, а мы без конца носились с клыком по вагону. Ну и дела. Я никогда не думал, что снаряжение проводника состоит из... топора, ко-

черги, веника, лома и этой самой резиновой игрушки. Прямое снаряжение, не правда ли?

Доехали до Воркуты. Несмотря на мороз, мы все-таки погуляли по городу. Из Воркуты наш вагон шел «бронько» до Сосногорска. Было чисто, тепло и одинаково пусто — в вагоне, в папке для билетов, в ночи за окном и на душе.

Дежурила Мишка, а я отдыхал. Не спалось. Я вышел в тамбур, подобрал в топку угля и долго смотрел в огонь. Стало грустно, потянуло домой... Открылась дверь, и в тамбур вошла Галя, проводница штабного вагона. Она принесла лотерейные билеты и слабый запах духов.

— Дежуришь? — спросил я.

— Нет.

— А почему не спишь?

— Не хочу. Домой бы сейчас.

— Будешь чай?

— Давай. Постояй, у меня там конфеты есть, сейчас принесу.

Мы устроились в купе проводников и стали пить чай с «Чародейкой». Я говорил о том, что жить на колесах не очень уютно, она отвечала, но иногда невпоято. Что-то с ней происходило, что-то мучило ее, а что именно, я не мог понять. Однако долго гадать не пришлось. Она неожиданно сказала: «Знаешь, я замуж выхожу. Ничего удивительного, правда? А я вот работать не могу. Совсем не могу. Нет меня здесь, понимаешь? Сегодня поднос уронили. Выпал из рук».

Вдруг рванулась дверь, и в купе ворвался очередной ревизор. Ни слова не говоря, он начал рыться в тумбочке, в мешках с бельем, в Мишкином чемодане. Я никак не мог понять, что он ищет? Так продолжалось несколько минут. Лишь когда он смахнул со стола наши стаканы с чаем, я вышел из оцепенения.

— Послушайте, что все это значит? Что вы здесь ищете?

— Знаем, что ищем.

— Уж не водку ли? Если так, то напрасно.

— Знаем мы вас...

— Заплатите за разбитые стаканы, — перешел я на пониженный тона.

— Что?

— За стаканы заплатите.

— Ах ты, нахал! Я тебе покажу стаканы! Сопляк! Я тебе устрою. Ну-ка, дай сюда удостоверение! И ты тоже, — гаркнул он на обалдевшего Мишку, который стоял в дверях и смотрел на свою истоптанную ревизором майку.

Мы протянули свои удостоверения. Он списал наши данные и ушел.

— Зря ты начал с ним спорить, — сказал Мишка, — теперь нам знаешь, что будет?

— Как это зря? Что это нам, интересно, будет? Да он хулиган просто-напросто. Ты что, Мишка?

— Он ревизор, с ним бесполезно связываться. Думаешь, ты что-нибудь докажешь?..

Да, я уже знал, среди проводников встречаются люди с нечистой совестью (один из них пьет в рабочее время, другие продают пассажирам водку, а на станциях — дефицитные товары), и контролеры с такими проводниками не церемонятся. Но что дал право контролеру в каждом проводнике видеть нечестного человека? Я хотел лишь скорее приехать в Москву и не сомневался, что в Москве быстро во всем разберутся.

В Москве нас отстранили от работы. В кабинете заместителя начальника вагонного участка Восточного направления нам показали акт, который ревизор из

Инты Богданов составил без нашего ведома. В акте говорилось, что мы были пьяными и мешали проводить ревизию! Полтора часа с пенной у рта я доказывал заму и местному ревизору, что это сущая ложь. Я говорил, что акт должен был составляться при нас, и мы обязаны были бы его подписать или отказаться. Тогда местный ревизор сказал мне:

— А ты знаешь, что акт не дают подписывать проводнику? В МПС есть такое положение. Я на месте Богданова поступил бы точно так же.

— А ты знаешь, — вмешался зам, — что ты должен был сойти на первой станции и пойти на экспертизу? Если бы у тебя было заключение эксперта, что ты не пьян, ты мог бы нам что-то доказывать.

— Нет, — говорю, — не знаю. Расстояние от верхней головки рельса до контактного провода здесь — 6250 миллиметров. А вот что надо было делать в подобной ситуации, не знаю.

Так или иначе, а только благодаря вмешательству начальника Дирекции железнодорожных и туристских перевозок товарища Цанина мы легко отделались.нас всего лишь лишили премии...

Шло время, мы колесили по стране, и я понемногу вживался в «роль». Отличался ли я от других проводников, нет ли, трудно сказать, однако пассажиры много рассказывали мне о себе.

Как-то мы ехали из Воркуты, и в Ухте к нам села девушка. Светловолосая, шумная, с большим чемоданом. Не успела она войти в вагон, как тут же взяла постель и пошла спать. Часа через три она появилась в дверях служебки.

— Возмите белье, — быстро проговорила она, противная аккуратно сложенные спальные принадлежности.

— Что, уже выпсалась?

— Да, я выхожу сейчас.

— Как — выходите? У вас до Воронежа билет, вы в Москву с нами едете, а там пересадка...

— Нет, я выхожу здесь. Какая станция сейчас будет?

— Синдор.

— Вот в Синдоре я и выхожу.

— Ничего не понимаю. Что-нибудь случилось?

Она тем временем вытаскивала в коридор свой чемодан.

— Почему вы решили сойти в Синдоре?

— Не знаю... В Воронеже у меня родители живут, хотела к ним съездить. Да вот раздумала. Лехала я на верхнюю полку и смотрела в окно. Лес кругом. Славка мой — он охотник — сейчас по тайге бродит, скоро домой вернется. Он еще за километр будет, а Руслан с визгом ворвется во двор. Руслан у нас червяк, как смоль. Игривый. Глаза хитрище. На месте минуты не усидит — носится, лает... Славка за ним далеко куда-то ездил. Сначала письма писал, потом поехал — привез. Голодные оба, устали... Не поеду я ни в какой Воронеж! Мама с папой все равно летом погостить предуют... Остановите! Откройте дверь. Да не нужен мне билет, дверь открыто... Она уже стояла на перроне и смеялась. Громко смеялась.

— Как вас зовут? — крикнул я почему-то.

— Таня! — Она медленно удалялась, махая мне рукой...

А мы поехали дальше...

Другой раз в нашем вагоне ехала Морячка. Наташа — так ее звали — живет под Курском. Некоторое время назад она убежала из дома. Убежала как была: без вещей, без денег. Отец принуждал ее в педагогический поступать, а Наташе в море хотелось. Вот она и убежала. Восемь дней Наташа добиралась до Архангельска. В городе она никого не знала и несколько дней обитала в порту. Но на судно все-

таки устроилась. Судомойкой. Потом ее послали учиться, и сейчас она повар. Ходит в заграничания, была чуть ли не везде, и рассказы ее можно слушать часами. Одно плохо: отец перестал считать ее своей дочерью. Она ему подарки всякие привозит, письма шлет из каждого порта, а он и говорить не хочет. Наташа плавает в каждой раз, возвращаясь на родину, едет домой с каждой: может, простит отец? Но нет, не прощает старик...

Много разных историй узнал я от своих пассажиров. Дорога располагает к разговору. А вообще, каких только людей в дороге не встретишь.

Едут и молодые, и старые, и еще не родившиеся — все едут, всем надо. Едут паренки, с любопытством поглядывая по сторонам, — призывники. Едут лихие, веселые парни в гладко отутюженных, четких пригнанных к талии мундирах — демобилизованные. Они держатся группами: есть что вспомнить, есть о чем помянуть. Многие из них едут на комсомольские ударные стройки, минуя родные края. Едут туристы со своими вещю новыми, только что сочиненными песнями. Едут седые люди с орденами и медалями на штатских костюмах — это наши отцы, ветераны Отечественной войны. Они едут на встречу с однополовыми. Едут степенные, аккуратно одетые мужчины и женщины — командированные. Едут тихие люди с задумчивыми глазами, склонные ко сну, — отпускины. Едут бабушки к внукам, едут жены к мужьям, едут, едут, едут, едут...

Бегут поезда, гремя по железу железом, и в каждом из них сотни человеческих судеб. Похожих, непохожих — разных.

Как-то ехали мы в Воркуту. Уже была ночь, когда в вагоне кто-то заиграл на гитаре. Я вышел из служебного купе. В центре прохода, сядя на каком-то узле и высоко подняв гриф гитары, играл и пел паренек. Ему подпевали три женщины, сидевшие по обе стороны от него. Одна из них держала на руках ребенка. С верхних полок, со стороны купе, выдвинулись две мужские головы, а с боковой полки напротив свисала нога, обутая в блестящий юфтевый сапог. Это были цыгане.

— Что, сынок, послушать пришел? — спросила та, что держала ребенка — пожилая цыганка с вытянутым, сильно обветренным лицом. Остальные разом заговорили на своем языке. С боковой полки свесился второй юфтевый сапог, затем я увидел старческое, давно не бритое лицо. Все тут же притихли.

— Ты проводник? — спросил старый цыган.

— Да.

— Что-то я тебя не видел?

— Нас здесь двое. Мы по очереди дежури.

— А-а. Ну, садись, послушай наши песни.

Цыгане снова заговорили по-своему.

— Сынок, у тебя чай есть? — спросила пожилая цыганка.

— Принеси нам горячий чай, мы тебе заплатим! — подхватила вторая.

— Сейчас я посмотрю...

— Потом посмотрю, принеси сначала...

— Семь стаканов...

— Десять принеси. Все с сахаром...

— Не бойся, сынок, мы тебе заплатим... — затараторили они наперебой.

— Хорошо, хорошо, только вы потише — люди спят.

— Кто хочет спать, тому шум не мешает...

— Ничего, сынок, у нас паспорта есть...

— Сладкий принеси...

Пока я готовил чай, цыгане пели. Они уже давно

разбудили весь вагон, но я понимал, что утихомирить их невозможно. К тому же жаловаться никто не приходил, и я спокойно занимался своим делом. Вскоре я принес чай, и стаканы как по конвейеру поплыли из рук в руки. Сперва старшему цыгану в юфтевых сапогах, затем — двум цыганам напротив, потом — гитаристу и, наконец, женщинам.

— Вот спасибо, сынок, — сказала пожилая цыганка, возвращая пустой стакан, — ты хороший человек, давай погадаю, все как есть скажу.

— Да нет, не стоит...

— Давай, сынок, не стесняйся, я вижу, ты добрый человек. Без денег тебе погадаю...

— Она хорошо гадает, все правильно скажет, вот увидишь, — подзуживала меня другая.

Я протянул руку. Все почему-то замолчали, и только гитарист тихо перебирал струны своей гитары. Цыганка мелком взглянула на мою ладонь, потом внимательно посмотрела в глаза и сказала: «Плохо гадаешь тебе скажу, но все правда будет. Тебя большая авторитет ждет, много денег, но богатым не будешь — все ветром унесет. Ты гордый, и счастья тебе не будет. Любит тебя одна блондинка, но ты ей не веришь. Другая тебя обманет. Один останется. Много лет проживешь, но всю жизнь страдать будешь. Не будет тебе счастья. Ты меня не ругай, сынок, так у тебя на руке написано».

— Правду она говорит, верь ей, — сказала третья цыганка, — а что счастья не будет, бог с ним. У кого оно есть?

— А куда вы едете? — спросил я гадалку.

— Ой, сынок, лучше не спрашивай. И мне счастья нет, и у меня на руке написано...

Старый цыган сверху неожиданно закричал на нее, и цыганка тут же умолкла. Она обняла младенца и принялась его укачивать, хотя ребенок давно и крепко спал. Я понял, что у них свои дела, и, попрощавшись, ушел. Цыгане больше не пели, и в вагоне снова стало тихо. Я смотрел в окно и думал о предсказаниях цыганки. Я представил, как приезжаю домой очень авторитетным человеком, и соседи по этажу в торжественной обстановке освобождают мою семью от мытья полов в коридоре. А участковый милиционер наконец полюбил моего пса, и мы с ним будем гулять по всем газонам, не опасаясь штрафа...

— Эй, проводник! — окликнул меня гитарист, стоявший у входа в служебку. — У тебя чай остался? — Остался.

— Возьми деньги и дай еще стакан. Отец чаю хочет.

— Как тебя зовут?

— Николай.

— А почему ты петь перестал?

— Отец сердится. А ты любишь наши песни?

— Люблю.

— Я в ресторане пел. В Москве.

— Вы в Москве живете?

— Нет, в Павлово-Посаде. А теперь в Воркуту едем.

— Зачем?

— Жить там будем.

— Что, в Посаде не нравится?

— Нравится. Отец приказал уезжать.

— Почему?

— В Воркуте дядька наш живет. На шахте работает. Отец хочет, чтобы и мы на шахту пошли.

— А раньше вы где работали?

— Старший брат парикмахером, средний — в ремонтной мастерской, а я пел в ресторане.

— А ты хочешь шахтером работать?

— Хочу. Все считают, если цыган, значит, или артист или тунеядец. А чем я хуже других? Я на шахту пойду. Мой отец всю жизнь не работал. Раньше все цыгане не работали, а теперь время другое стало. Дядька наш работает, ему теперь уважения много, отдаю к нему ездить и сам видел. А теперь нас на шахту везет. Я работать буду и петь буду. А потом посмотрю, если талант настоящий есть, артистом пойду в театр, а если нет, продам гитару.

— А сестры твои тоже работать будут?

— Сестер у нас нет. Это жене старших братьев.

— И вы все вместе живете?

— Да. Еще дети у братьев есть. У старшего четыре, у среднего три.

— А где же они?

— Самый маленький у матери моей на руках, ты его видел, а остальные там, на полке спят. Они уже большие — бегают.

— Николай, а сколько тебе лет?

— Семнадцать.

Он взял стакан с чаем и ушел.

Мы с Мишкой ездили в Воркуту, Архангельск, Северодвинск и, наконец, поехали во Владивосток. Поехали на фирменном поезде «Россия».

Путь во Владивосток был трудным и долгим. Очень долгим. Семь суток круглую неделю на колесах. Четверть месца изо дня в день — туалеты, стаканы, клзиза. Кочегра мне по ночам стала снится. Стоило закрыть глаза, как она появлялась в сопровождении распоясавшегося лома — они кричались, строили рожи... Но всему есть предел, и дорога во Владивосток тоже. Наскоро закончив дела, мы с Мишкой оставили вагон под присмотром соседей и пошли в город. Мишка отоваривался рыбой, а я, как ошалелый, вертел по сторонам головой. Весь день. Лучшего города я не видел. Он на сопках стоит. Улицы — что крутые виражи в парке Горького: то плавно вверх, то круто вниз, то резко в сторону... Со всех сторон, куда взгляды ни кинешь, сопки, сопки, сопки... Бурные, зеленые, обросшие домами-гнездами. Только верхушки безжизненно лоснятся снегами в лучах блеклого солнца... И это после морозов Читы, Могочи, Большого Невера... Вечером мы, довольные, вернулись в вагон и принялись за работу, делая впечатлениями.

Наконец поезд тронулся. Через пару часов в вагоны все спали. Должен сказать, что ночное дежурство — прескверная штука. Сидеть все время в служебке надоедает, и, раскопчегив топку, я принимался ходить по вагону. А хождения эти раздражают до крайности. Ночью особенно резко бросается в глаза неустроенность вагона.

У нас с Мишкой насчет чистоты туговато было, хотя работали мы сутками. И однажды я решил внести ясность в вопрос санитарии. В фирменном поезде «Россия» в основном купированные вагоны, кроме того, есть спальный (локс), мягкий и четыре плацкартных, в одном из которых мы и ехали. Во всех вагонах, кроме плацкартных, чистота идеальная. Проводники объясняют это разностью контингента пассажиров, санитары — напией чистоты. Я провел опрос пассажиров поезда и пришел к выводу, что в купированных и плацкартных вагонах едут люди, не отличающиеся друг от друга ни социальным положением, ни интеллектом, ни пристрастием швырять окурки на пол. Тогда я закурил сигарету и пошел по поезду с четко запрограммированным решением — бросить окурки там, где он научит жечь палыцы. В середине купированного вагона № 7 я почувствовал, что пальцам моим горячо, но я не бросил окурки

на пол. Не смог бросить. Под ногами был мягкий ковер, а рядом красовалась чистая пепельница. Как ни верти, а бытие определяет сознание. В плацкартных же вагонах бытие иное. В закутке напротив уборной пассажиры курят, сидя на мусорном ящике. Кроме того, в купированных вагонах 36 мест, а в плацкартных — 54...

А мы тем временем ехали, минуя светофор за светофором. День — ночь, утро — вечер. Большая скорость — ближе к Москве. Ближе к Москве — дольше тянется день. День — ночь, город — поселок, тик — так, утоль — чай...

Все спали, лишь в дальнем конце вагона сидел пассажир и курил.

— Здесь нельзя курить, — сказал я ему.

— Извиня, заблужся.

Он вышел из вагона и остановился в проходе у служебного купе. В этом проходе тоже нельзя курить, но я почему-то промолчал. Наверное, потому, что мне жутко хотелось поговорить с ним. Странный парень. Накануне я подлая наблюдал за ним и никак не мог понять, кто он такой. Высокий, с мощной шеей, небольшой головой, темноволосый, с карими глазами и оринным носом. На туриста не похож — очень уж свободно он себя чувствовал, а туристы, едущие в одиночку, — люди тихие. Может, профессиональные охотники? Да нет. Ехали с нами промысловики — много пили, а говорили мало, даже между собой. А это разговорчивый, он со всеми запрост, Демобилизованный? Вряд ли. Он бы сейчас весь поезда обошел в поисках солдат, и пустовала бы его походка до конца пути. Да и возраст у этого парня не тот, ему ближе к тридцати. Веселый москвич, с Преображенки? В гости ездил к родне, а теперь дом возвращается? Парень с Преображенки если час с девушкой поговорит, то ведет себе так, будто он с ней с детства обручен. Эхот не так. У нас в вагоне две девушки ехали. В отпуск — Москву посмотреть и Ленинград, так он с ними долго сидел, разговаривал, смеялся, а потом весжливо откланялся и пошел в соседнее купе в шахматы играть. Проптнал — и ничего. Сидит себе, улыбается. Так и не пришла я к определенному выводу, решил только, что парень, он бывалый и цену себе знает. Между тем он докурив сигарету и, повернувшись ко мне, спросил:

— Давно проводником работаешь?

— Нет, третий месяц.

— Дневник ведешь? — сказал он, указывая на мою тетрадь.

— Веду, — ответил я и закрыл тетрадь.

— Я тоже раньше вел, а теперь забросил.

— Почему?

— А зачем это нужно? Вот ты для чего дневник ведешь?

— Для дела.

— Похоже. Я за тобой давно наблюдаю. Но это, конечно, дело твоё, пиши, если нравится.

— А чем ты занимаешься?

— Работая.

— Кем?

— Кем хочешь. Кирпич кладу, плиты сколачиваю, землю рою, машины вожу...

— Я тоже раньше шофером работал.

— Понятно. Сейчас все машины водят. Только по-разному. Одни на «Москвичах» катаются по асфальту, а другие бревна возят по грязи. Тебе это, конечно, незнакомо.

— Почему ты так думаешь?

— А что здесь думать? Вот скажи: сколько бы ты ездки мог сделать по бездорожью в дождь на расстоянии сорок километров. На КРАЗе?

— С прицепом?
— Ну, конечно. С бревнами.
— Если резина хорошая и под погрузкой долго не стоять, две бы сделал.
— Ты смотри, я думаю, ты пять скажешь.
— А сколько тебе времени понадобится, чтобы в Москве, на Садовом кольце, из первого в шестой ряд перестроиться? На «Москвиче», без прицепа, при сухой погоде?

— Тебя как зовут?
— Игорь.
— Меня Илья,— сказал он, протягивая руку.
— Где ты живешь?
— Жил в Орле, а теперь где придется. Кочую.
— За деньгами ездишь?
— Да ну! Денег-то, конечно, хватает — одеться, поесть, матери отослать, но не в деньгах дело. Не могу я сидеть на одном месте. После армии как сорвался и вот уже восьмой год по стройкам езжу.

— Ну и как, доволен жизнью?
— Еще бы. Ты знаешь, сколько я повидал всего?
— Но ведь надоест же так, всю жизнь ездить и смотреть?

— Смотреть надоест, работать — нет. А я не турист, я работаю. Вот ты от Москвы на двести километров отъедешь, и считаешь за границу попал — все тебе новое, незнакомое. А я по всей Сибири, как по родному саду гуляю.

— Ну, это хорошо, а семье обзаводиться не думаешь?

— Попадется девочка моего склада, жениюсь. Вместе будем ездить. Я тут с одной познакомился в Ангарске, вроде стоящая девочка. Хотел с собой ее взять, да потом решил не спешить. Пусть подумает, если желание не пропадет, приеду забрать.

— А что, она колеблется?
— Нет. Но, понимаешь, времени мало было. Мы за полчаса до отхода поезда познакомились. Она-то сразу согласилась, а я все-таки решил повременить.

— Ну и вы теперь переписываетесь?
— Зачем? Весной приеду, если не передумает — заберу. Я ей так и сказал.

— И она поверила, что ты приедешь?
— Что значит — поверила? Это тебе не Москва. Здесь словами не бросаются. Сказал приеду, значит, приеду.

— А куда ты сейчас едешь?
— А сейчас я выхожу в Ачинске. Вообще-то я в Орел еду, мать навестить. Три года не виделась, да тут к другу надо заскочить, — он посмотрел на часы, — двадцать минут осталось.

Илья пошел в вагон и через несколько минут вернулся уже с вепями.

— Игорь, а чего ты в поезде катаешься, слетити собираешься? Поехали со мной? Поработаешь, людей настоящих увидишь, может, книгу напишешь, чего? Я все устрою, ты не волнуйся.

— Я, может, и поехал бы, но это не так просто...

— Да брось ты! Просто, сложно. В общем так, улаживай свои дела и приезжай. Я тебя на такую охоту свожу, да чего там говорить, приезжай.

— Куда?
— А когда ты сможешь приехать?
— Ну, что-нибудь в конце лета.
— Приезжай в Сургут. Если меня там не будет, значит, гони в Нижневартовск.

— А как я тебя там найду?

— У шоферов спросишь. Моя фамилия Стародуб. Илья Стародуб, запомнишь?

— Запомню.
Поезд остановился. Илья прыгнул на шаг.

— Ну что, приедешь? Только точно?

— Приеду.
— Запиши, Илья Стародуб. Сургут или Нижневартовск. Буду ждать.
Поезд тронулся.
Я вернулся в службу...

А поезд ваш подъезжает к Москве. Позади тысячи километров, позади Мишкин дом в Ярославле, позади один из самых длинных рейсов в мире. Через тридцать минут пассажиры с волнением услышат, что поезд прибывает в столицу нашей Родины, и ступит на перрон Ярославского вокзала. Они вольются в поток московских пешеходов, а проводники вернутся в вагоны и приступят к работе. Основная, самая трудная часть работы впереди.

А домой можно будет поехать только на следующий день, после того как смена примет вагон...

День этот наступил. Смена приняла у нас вагон, и мы с Мишкой распрошались. Мишка поехал в Ярославль отгуливать свои две недели, а я сяду китейл железнодорожника и взялся за перо. Было это еще в феврале. Я вел в пути дневник, в нем было много записей, но сколько я ни бился над материалом, не мог придумать, как разрешить проблему «проводник — ревизор» да и многие другие проблемы жизни и быта проводника, с которыми я столкнулся. Наконец я понял, что должен выйти за рамки своего личного и недолгого опыта и взглянуть на все эти проблемы глазами профессионального журналиста. Как раз в это время, в мае, в Челябинске должен был проходить съезд участников школ передового опыта всех двадцати шести железных дорог страны. Уда я и отправился.

И вот я сижу в купе фирменного поезда «Южный Урал» и смотрю в окно. Я узнал, что челябинские железнодорожники ввели свой метод подготовки поездов в рейс, Министерство путей сообщения поддержало этот почин и издало приказ о внедрении челябинского метода на всех железных дорогах страны. И вот я ехал, смотрел, как быстро менялись горизонты за окном, и думал о новом методе челябинцев. Мысли мои преврал голос бригадира поезда, внезапно раздавшийся из репродуктора.

Бригадир сообщил часы работы вагона-ресторана, кратко изложил меню на текущий день и добавил, что пассажиры, желающие поесть в своем купе, могут сделать заказ и работники ресторана обслужат их на местах.

В нашем поезде, — продолжал бригадир, — для пассажиров имеются аптечки, бытовые уголки, библиотека. Желающие могут приобрести повника художественной литературы, свежие газеты, журналы...

Часто говоря, я не очень-то поверил всему этому и решил проверить источник информации. В радиорубке я познакомился с бригадиром поезда Сергеем Львовичем Бородовским. Он выслушал мои сомнения, посмеялся, а потом заново повторил все, что я слышал, сидя в купе. Я поблагодарил Бородовского и пошел по вагонам искать повника художественной литературы.

В следующем вагоне я увидел бытовое уголок. Это небольшой набор парфюмерии и еще масса мелочей, необходимых в дороге.

— Вы даете бритвы напрокат?

— Да. Бесплатно.

— А врачи разрешили нам иметь электробритвы для общего пользования?

— Да, мы дезинфицируем их одеколоном.
В этот момент меня отпустили в сторону двое мужчин. Им нужно было что-то купить.

— Сходите к профтору, — сказала проводница. — Она ответит на все вопросы.

— Где ее найти?

— В последнем вагоне. Ее зовут Галя. Фамилия Ушакова.

В последнем вагоне меня встретила пловно сбита девушка. Мы познакомились. Я рассказал Гале о том, как работал проводником.

Она с сочувствием посмотрела на меня и принесла чай.

— А знаете, — сказала Галя, — вам, наверное, прос- то не повезло.

— В каком смысле?

— Вы не ездили с хорошей бригадой.

— Может быть. Ну, а если бы ездил с хорошей бригадой, вы думаете, конфликтов с ревизорами у меня бы не было?

— Думаю, нет. У нас таких случаев не бывает.

Наш поезд ревизоры вообще редко проверяют...

— Почему?

— Нет смысла. Когда бы они ни пришли, у нас порядок.

— Что, никто не возит зайцев?

— Какие зайцы? Ведь прежде чем попасть проводником на фирменный поезд «Южный Урал», нужно пройти конкурс, а это не просто.

— Но кто-то может и так рассудить: прошел конкурс и буду возить зайцев. Ревизоры редко бывают.

— Из наших девочек никто безбилетного не пове- зет. Ни за какие деньги.

— А состав бригады у вас не меняется?

— Меняется. У нас все девочки только до заму- жества ездят, а потом уходят. Но не в этом дело. Выйдет одна замуж, на ее место приходит новенькая. Каких бы она ни была, ей придется либо подчиниться нашим условиям, либо уйти. А уходить никто не хочет.

— Почему?

— Бригада у нас отличная. Вот за последний квар- тал мы первое место заняли по всей дороге. Премию получили, двести рублей.

— Вам премию на бригаду дают?

— Да.

— А кому сколько, кто бригадир решает?

— Никто ничего не решает. Деньги общие.

— А как вы их делите?

— Мы их не делим. У нас есть бригадная копилка.

— А одна из ваших девушек сказала мне, что вы собирали деньги для покупки бытового уголка...

— Это было давно. Тогда еще не было копилки.

— А пополняете вы эту копилку за счет премий?

— Не только. За реализацию чая и кондитерских изделий проводнику начисляются какие-то проценты, но это очень мало — копейки. Мы их складываем, и в итоге получается рублей сорок — пятьдесят в ме- сяц. Кроме того, мы получаем десять процентов от стоимости книг, газет и журналов, которые продаем в поезде. И еще за распространение лотерейных биле- тов получаем.

— Это только в вашей бригаде?

— Нет. Такой порядок почти во всех бригадах на- шего резерва.

— А как же вы успеваете и работать и книгами торговать?

— А что здесь такого? Времени хватает.

— Ну это сейчас, а зимой? То топку кокагарить, то с клзмой бегать, трубы всякие отогревать...

— Топку мы не кокагарим, у нас электрообогрева- тели стоят, а с клзмой, конечно, бегаем, куда де- ваться? Но времени все равно хватает.

...И вот поезд прибыл на Челябинский вокзал. Пассажиры быстро растеклись по своим направле- ниям. Настал кульминационный момент моей коман- дировки. Мне предстояло увидеть, как сдают вагон по челябинскому методу. Через несколько минут в вагон вошла какая-то женщина. Она поздоровалась, прошла по вагону, поговорила о чем-то с прово- дницами, потом снова прошла по вагону, еще немно- го поговорила с девочками, после чего те попроща- лись и ушли. Оказывается, челябинские проводники сдают вагон не сменщикам, а комплексной бригаде экипировщиков. Времени им на это дается тридцать минут. Казенные деньги проводники сдают бригадиру, и он отчитывается за всю бригаду. Постельное белье, занавески, салфетки и т. д. упаковывают в пронуме- рованные мешки, plombируют и сдают бригаде эки- пировщиков. Королево говоря, бригада экипировщиков принимает поезд, полностью готовит его к рейсу и сдает новой бригаде проводников. Так что девочки идут домой не на следуюший после приезда день, а тут же, с вокзала. Вот в принципе и весь челябин- ский метод.

Как видите, он настолько прост, что в него трудно поверить. Иначе чем объяснить, что в Министерстве путей сообщения долго думали, взвешивали и про- веряли, прежде чем издать приказ о его внедрении? Но дело все-таки движется, потому что в Челябинск за передовым опытом, как я уже говорил, приехали представители всех железных дорог страны.

Съезд вел свою работу два дня. Представители не- которых железных дорог поначалу даже не верили выступавшим докладчикам, по залу подчас проно- сился шепот, а то и смехот.

Однако челябинцы не только рассказали о своих ус- пехах, но и показали весь цикл подготовки поездов в рейс. Вместе с участниками съезда я ознакомился с работой резерва проводников, депо, которые об- служивания пассажиров.

В Москву я возвращался снова с комсомольско- молодежной бригадой Бородавского. Правда, Галя Ушакова в составе бригады не было, она уехала по туристической путевке в Болгарию. Уже после этой командировки мне случилось побывать в кассах пре- варительной продажи билетов Казанского вокзала, и я не мог не обратить внимание на то, что люди, под- ходившие к окошку кассы, просили билет именно на фирменный поезд «Южный Урал».

Этот вопрос часто задают мне жители высокогорных кишлаков, пастухи-пустынники и таежники Сибири. Добиться ответа пытаются не только школьники, но даже мудрые ученые мужи.

Что ищут? Знаете, не могу ответить. Не могу, хоть и отдал геологии более полутора десятков лет. Хотя не один год посвящая поискам различных руд, открывая шагами сотни и сотни верст по тайге, пустыням и высокогорью. Хотя постоянно думаю (работа заставляет!) над самыми разными загадками слоев земных.

Что ищут мои сотоварищи и почему они так же, как и я, нередко бывают обезоружены этим простым, казалось бы, вопросом? Откуда у нас эта немота? Неужто она, как это думают многие вопрошающие, от привычки к бродячему устрою или от обязанности все свои дела держать в секрете?

Совсем нет. Парадокс заключается как раз в том, что многие геологи не ищут (в буквальном смысле этого слова) ничего, о чем имеют представление наши любознательные болельщики. И, конечно, не хочется их разочаровывать, предпосылаю длинное научное повествование о важности работы, скажем, палеонтолога или стратиграфа, вместо увлекательной приключенческой истории в джеледонском стиле, с упоминанием магических и жадных сердец золота, урана, редких металлов.

Я знаю умнейших геологов с многоименным, положительных много лет (а то и всю сознательную жизнь) на поиски микрофауны: окаменелостей мельчайших организмов, спор и пылинки древней флоры, так ничтожных по размеру, как простым глазом и не разглядишь! Неискушному нужно долго объяснить значение этой ископаемой органической мелюзги для определения возраста и условий накопления мощных толщ земной коры. Что именно от этих «букашек» и «таракашек» (так по моему окрестил их один из моих слушателей) подчас зависит правильное направление бурения и поисков нефти, например.

В самом деле, что ищет человек, склонившийся над микроскопом, применяющий новейшие электронные, спектральные, рентгенокопические и лазерные устройства для проникновения в сложнейшие загадки вещества горных пород и минералов? Как мало похожи его «камерные» усилия на грандиоз-



Эрнст
ПОРТНЯГИН

ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ?..

Для читателей «Юности», знакомых со стихами Эрнста Портнягина, может показаться неожиданным появление имени поэта в разделе «Наука и техника» нашего журнала. Но тому есть серьезная причина: научному руководителю исследований глубинной тектоники Тянь-Шаня, кандидату геолого-минералогических наук, доценту Львовского госуниверситета Эрнсту Александровичу Портнягину есть что рассказать о современной геологии и людях, ее создающих.

Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.



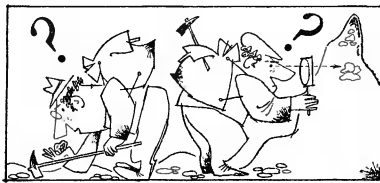
ные маршруты по Уссурийским или Чукотским просторам, а его белоснежные, совсем докторский халат — на замызганные спецовки покорителей белых пятен земли. А ведь это тоже геология! И трудно сказать, кто из них — лабораторный петрограф, или геохимик, или вдохновенный геолог-маршрутник — ближе к новому проникновению в сокровенные земные таинств.

И уж совсем невозможно объяснить и растолковать в двух словах такой сложный процесс, как геологическое картирование — дело, которым последние двадцать лет была занята бесчисленная армия геологов. Плановая государственная геологическая съемка, проведенная в очень высоком темпе и охватившая всю территорию СССР, не знает подобных прецедентов в мировой практике. В небывало короткие сроки производилось комплексное изучение громадных пространств, открывались месторождения самых различных необходимых видов промышленного сырья, выяснялась структура верхних горизонтов земной коры, возраст и строение самых разнотипных геологических образований.

Не многие страны мира могут похвастать столь полной и насыщенной книгой геологической летописи, таким богатым набором геологических феноменов на своей территории. Древнейшие комплексы Кольского полуострова, Азда-на и Анабары, возраст которых исчисляется тремя и более миллиардами лет. Самые молодые, продолжающие жить до нашего времени аллювийские складчатые системы Кавказа, Кавказ и Тихоокеанское побережье. Крупнейшие, так называемые платформенные области равнин Европейской России, Западной Сибири и пустынь Средней Азии...

Геокартирование, энциклопедичное по своей сути, требовало разносторонней образованности и высокой геологической культуры исполнителей. Для моего поколения, выпускников геологических факультетов пятидесятых — начала шестидесятых годов, государственная геологическая съемка стала настоящим учением в бою, когда на наши еще студенческие плечи ложилась громадная ответственность за исследование крупных участков и районов в самых различных уголках Союза.

Да, тут геологу-съемщику и по-исковому понадобилась та самая романтическая закалка, немало сил, споровки, здоровья, чтобы,



как мы говорим, исходить всю свою площадь, пересечь ее маршрутами. И все же, на мой взгляд, значительно сложнее было осмыслить всю эту запутанную комбинацию природных явлений, подвергнуть ее тщательному анализу, обобщить многочисленные эмпирические данные в грамотной геологической карте и стройном монографическом описании. Геологическая съемка этих лет, сопутствующая ей поиски месторождений и их дальнейшая разведка воспитали специалистов, которые в настоящее время вышли на передовые рубежи геологии.

Вне всякого сомнения, успех этих небывалых работ был обеспечен и уже существующей традицией отечественной горно-геологической школы, традицией, зародившейся в пору первых рудознатцев и в ломоносовские времена, прославленной талантом Шарпского, Мушкетова, Павлова, Архангельского, Шатского, испытанной в трудные годы послереволюционного строительства и Отечественной войны. Русскую геологическую школу всегда отличало свое лицо, свой стиль исследований, удивительно органичное объединение тщательности наблюдений с широтой мысли и глубиной обобщений.

Но всякая традиция нуждается не только в продолжении, но и в развитии. К этому обязывает наше время с его беспощадным ритмом, бурная акселерация всех смежных наук о Земле, превращение самой геологии из элитарной профессии в массовую специальность, вобравшую в себя судьбы и чаяния многих тысяч людей.

Геология наших дней — это далеко не тот ограниченный круг знаний, еще недавно вполне доступный одному человеку, а разветвленная система самостоятельных геологических наук с множеством направлений, в том числе и стыковых — с физикой, математикой, химией и биологией...

Странное несоответствие возникло в сфере наук, связанных с разрешением завтрашних проблем нашей планеты.

О необычном околосредном космическом пространстве мы сегодня знаем значительно больше, чем о том, что находится под нашими ногами, на самых незначительных глубинах. А ведь ясно уже сейчас, что энергетические и прочие ресурсы ближайшего будущего человечества находятся отнюдь не в инопланетных мирах, а все-таки в недрах нашей матушки Земли.

Вместе с глубоким и сверхглубоким бурением, начатым в СССР и США, новый толчок получили обобщающие геологические науки: геотектоника, геохимия и геофизика, пронизывающие мысленно земную твердь, создающие теорию земной коры и подстилающей ее верхней мантии планеты. И вот уж от кого-кого, а от геолога-тектоника ответ на вопрос «Что вы ищете?» получить просто невозможно. «И все, и ничего!» — беспомощно разведет он руками, настолько предмет его поисков велик и необъятен, абстрагирован от понятных и конкретных категорий...

После многолетних подготовительных «сухопутных» обобщений геотектоника вышла «в открытое море», получив наконец-то материал для глобальных построений, для осмысливания всей твердой внешней оболочки планеты. Две трети земной поверхности — дно акваторий морей и океанов — до недавнего времени были скрыты от глаз и рук геологов, оставались таинственной и молчаливой неизведанной землей. И вот эта terra incognita заговорила...

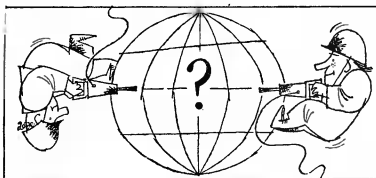
Новейшие данные океанической геологии и геофизики, обнаружение необычных явлений в резко утонченной земной коре под толщей вод Мирового океана, в первое время застали континентальных геологов врасплох. Более ста лет в геотектонике существует классическая теория геосинклиналей — логически продуманное и гармоничное учение о причинах и ходе процессов в подвижных зонах земной коры материков. Казалось, с одной стороны, почти невозможным поколебать основы геосинклинальной теории.

Еще труднее было объяснить столь разительные внешние отличия геологии древних континентов и океанического ложа.

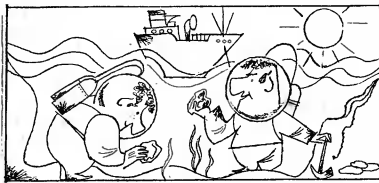
Гипотеза «растекающегося» дна океана, глобальной тектоники плит, идея непрерывного обновления раздвигающейся земной коры, выдвинутая американскими и французскими океаническими геологами, оказалась, так сказать, перпендикулярной теории геосинклиналей. Но «восстание» против геосинклинального учения, неспровергаемые построения «инсургентов» в значительной степени объяснялись недостаточным знанием геологами-океанстами весьма прихотливой и разнородной тектоники материков. Потребовался какой-то принципиально новый путь увязки и синтеза данных, непрерывно поступающих с советских и американских кораблей-станций, и богатейших материалов континентальной геологии.

Кто же они, живые люди, искали всех этих насыщенных троп в геологии, носители и продолжатели ее высокой естественнопольской традиции? Их имена я вырываю из памяти наугад, наперед зная, что они совсем не единственные и не исключительные в нашем деле.

Ремир Цой. Выпускник Петровского университета, геолог-съемщик и поисковик, начинавший свою



работу в Байкалье, в юности мой «однополоточник» на Верхнем Амуре. Думаю, что не всякий гуманитарий может сравниться с Ремом в знании художественной литературы и искусства. Не потому ли съемка, поиски и разведка в его исполнении всегда подобны совершенному произведению любого жанра: пластику природного материала он чувствует непостижимо точно. Размах фантазии в нем всегда беспощадно контро-



лируется скрупулезностью и филигранностью истинного ювелира.

Весь опыт дальневосточной Молодости «раннего» Рема был мгновенно сконцентрирован и адаптирован в условиях среднеазиатской геологии. Прекрасная разведка одного из самых сложных месторождений золоторудного комплекса в самом центре раскаленной каменной скорлупы Кызылкумов по заслугам увенчала лаврами Цоя «зрелого».

Ежедневное принятие ответственных решений, выполнение их на свой страх и риск, борьба с упрямыми маловерами — авторами «фундаментальных» отрицательных прогнозов по Кызылкумам, бурение «всухую», организация караванов автомобилей-водонозов, неоднократное блуждание по вязким солончакным такымам... Да разве перечислить все интриги этих первых тяжелых салтиков благородного металла!

Сейчас Ремир Валентинович Цой — главный геолог одного из крупнейших среднеазиатских трестов, руководитель, я бы сказал, самого прогрессивного типа. Креслу он не прирастает и с его помощью не возвышается над людьми.

Руководство большим коллективом происходит не столько сверху, сколько пронизывает все ячейки геологической службы изнутри. Во время полевого сезона Цой почти невозможно застать в кабинете: он все время в партиях и экспедициях. Умение распекать и разносить подчиненных Ремир противопоставляет, вероятно, наиболее действенный метод управления: он учит специалистов мыслить самостоятельно, помогает им в этом, а при необходимости на месте, в полевых условиях, и сам показывает (и показывает великолепно!), как это делается.

«Главный» знает, почему фунт лиха в пустыне, и если рядовые геологи получают отказ на какую-нибудь просьбу, они ее никогда не повторяют: им ответил свой брат-полевик, а не какой-то «начальник», оторванный от живого геологического дела...

Два полюса — научный и производственный — в геологии формально существуют, но, пожалуй, нигде, как у нас, они не сближены так друг с другом. Вряд ли найдется еще какая-нибудь отрасль знания, где «производственная» наука и «научное» производство в такой мере взаимно проникали, совместно развивались и в трудные минуты приходили друг другу на выручку. Никого не удивляет, что многие командировки подразделений Министерства геологии обладают учеными степенями и званиями, что сам министр А. В. Сидоренко — видный ученый и действительно член Академии наук СССР, что любой настоящий профессионал в науке может легко спуститься со своих небес познания на реальную землю практических нужд и ежедневных забот прикладной геологии.

Одни из моих увлекающихся коллег даже утверждают: «Геология уже сейчас соответствует коммунистическому уровню. Наука и прикладная ее сущность

объединены, труд умственный и физический неразрывны. Что еще нужно!» Вероятно, нужно еще многое. Но, не скрою, хочется верить, что есть какая-то доля истины в этих словах...

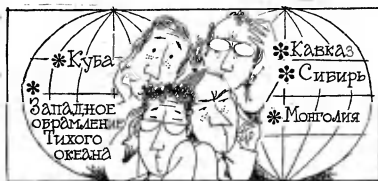
Ну, а как выглядят представители другого условного полюса геологии, освоители ее высоких научных широт? Геологический институт Академии наук СССР (ГИН) — один из мозговых центров нашей теоретической геологии. В 1973 году по проблемам глубинной тектоники здесь было защищено подрада несколько докторских диссертаций.

Столь высокая урожайность обусловлена завершением крупного цикла исследований, начатых коллективом ГИНа по инициативе директора Института академика А. В. Пейве и шефа всех докторантов профессора Н. А. Штрейса.

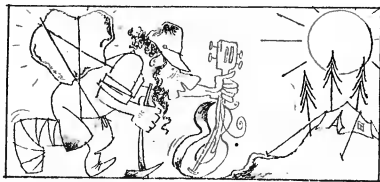
Вот они, новоспеченные доктора — Андрей Книппер, Александр Москавский, Марк Марков и Никита Богданов. Все они прошли в свое время серьезную школу геологической съемки и самостоятельного комплексного исследования больших территорий. Каждый — знаток обширных регионов: Книппер — специалист по альпийскому поясу, от Кубы до Кавказа; конек Москавского — древние складчатые структуры, от Монголии и Южной Сибири до Западной Европы, а у Богданова и Маркова — западное обрамление Тихого океана. И это явилось для каждого прочной стартовой площадкой для выхода на серьезную теоретическую орбиту. Все, что пришлось одолеть коллегам во время многотрудных маршрутов в самых удаленных районах нашей страны и за рубежом, вызывает уважение не только у меня. Но главное в их работе совсем не это. Как в деятельности Ремира Цоя, поражает смелость мысли, умение, пожалуй, даже особый дар — взглянуть на привычные каноны своими глазами и, не страшась устойчивого авторитета, иногда вступаю с ним в борьбу (а это как не просто), не только придумать что-то новое, но и дать ему жизнь...

Открытие «великолепной четверки» касалось той упомянутой мною «горячей точки» в глубинной геологии, где началось переосмысливание тектоники континентов с учетом всех новейших данных океанической геологии.

Все четыре докторские сводки убедительно доказывают наличие остатков древней океанической коры в различных по возрасту складчатых сооружениях материков и обосновывают выход на дневную поверхность фрагментов нижней коры и верхней мантии...



Думая о каждом порошке, я удивляюсь, до чего же нескожа они — жизнелюбивый и неуемный Андрей Книппер, говорливый и рассеянный Никита Богданов, сосредоточенный и в чем-то аскетичный Сапа Москавский и Марк Марков, умеющий появляться и исчезать внезапно, владеющий редким искусством почти по-цезарски, одновременно писать, говорить и слушать. Одни в жизни дерзки и категоричны, другие



мягки, долготерпимы, но все это лишь до той поры, пока дело не касается основной идеи, которой они посвящали лучшие годы творческой жизни. Здесь все «равны, как на подбор» — истовые и достойные работницы. Их «Дядька-Черномор» — Николай Александрович Штрейс, удивительно тонко и бережно относящийся к индивидуальности каждого человека, сумев объединить учеников в научно-исследовательскую группу, на мой взгляд, одну из самых сильных в советской геотектонике...

Насколько новы и в то же время основательны исследования тектонистов Геологического института АН СССР, научный мир еще раз убедился на прошлогоднем международном симпозиуме «Оролизиты в земной коре», посвященном узловому моменту в проблеме «кора — мантия». Доклады зачинателей «океанических-континентальных движения» — академика А. В. Пейве, докторов наук Л. П. Зоненшайна и А. Л. Книппера — слушались с особым вниманием и получали почти единодушное одобрение. Надо сказать, что за последние сорок лет у нас ни разу не собиралось такое количество «звезд» мировой глубинной геологии. Кстати, этот дружный слет лучших представителей геотектонической мысли со всех континентов сам по себе свидетельствует о международном признании заслуг советской геологической школы. Трудно преувеличить сложность организации такого представительного форума, учитывая, что, кроме докладов и дискуссии в Москве, была проведена двухнедельная серия геологических маршрутов в труднодоступных районах Южного Тянь-Шаня и Малого Кавказа. Год напряженной подготовительной работы организаторов совещания, большая помощь, оказанная им геологам Узбекистана и Азербайджана, увекичались успехом.

Вероятно, все вместе — и добрый ветер потепления международных отношений и общность цели геологов различных стран в покорении «подземного космоса» — способствовало плодотворной работе симпозиума.

В который раз убеждаешься, что никакой заочный обмен информацией и знакомство с литературой не заменят личного общения, разговора и откровенного спора как с трибуны конференц-зала, так и в маршруте, а то и просто в застолье.

Состояние напряженного анализа наблюдаемых фактов, возникновения новых идей удивительно выравнивает и сближает самые противоположные характеры исследователей, будоражит невозмутимого калифорнийца Боба Колама и флегматичного новозеландца Рика Варие, приводит в восторг сурового и немногословного первооснователя Гималаев швейцарца Ганссера, мгновенно делает серьезных песенников-флорентийцев Пьетро Пассерини и Валерио Бартолотти, и неугомонного шутника парижанина Жоржа де Грациански...

В такие дни верится, что и чистая (в лучшем смысле этого слова) наука способна раздвинуть державные границы, объединить во имя гуманной цели лю-

дей самых разных взглядов и национальностей. В который раз мы чувствовали силу и мудрость девиза гениального русского естествоиспытателя А. П. Карпинского: «Геология нужна вся Земля!».

И все-таки какому же геологу она «нужна»? Как-то он, этот современный открыватель тайн земных недр?

Чтобы узнать об этом, право же, недостаточно сообщений радио и газет о главных достижениях геологии, очерков самих геологов-профессионалов, написанных обычно полуспециальным, полупопулярным языком. Ведь есть еще звонкий, выразительный язык различных жанров искусства.

Не побоюсь прослыть тривиальным (пожалуй, нет представителей такой профессии, которые не упрекали бы художников, писателей, артистов за невниманье к себе и погоню за броскими деталями) и выскажу вашу общую мысль: слишком уж затянулась мода на геологическую «клубничку» в литературе и искусстве.

Никто, как мы — прямые объекты и жертвы (да, именно жертвы!) этой моды, — не знает, насколько лишен реальной жизненной основы внешне эффектный типаж противника урбанизма, неуклюжего уальца в городских квартирах, но ловкого и бесстрашного «барса» в горных снегах, беспомощного в интеллигентных гостиных, но всемогущего в непролазных чаще урманов. Обычная декорация: лес, горы либо тундра, иногда степи, пустыни; необходимая атрибутика: палатки, телогрейки, сапоги, накомарники; типовой герой: прямой и открытый рубаха парень с волевым и чеканным ликом.

Сколько раз я читал и видел, как этот «супермен» потел и замерзал, срывался и карабкался, сгорал от недостатка воды в песках и захлебывался от ее избытка в бунных реках...

Далее же все зависело от склонностей, или, как говорят сейчас, творческого почерка сценариста, режиссера или писателя. Мы либо очень часто гибли (ге самые жертвы!), либо, если нам везло и автор не был лишен оптимизма, с трудом выжидали, доносили до базы сверхкопющие камни в рюкзаках и карты новых месторождений за пазухой.

Чего только не выделывали наши целепые двойники на сценах театров, киноэкранах и страницах книг! Единственно, чего почти никто и никогда не видел, это чтоб геолог дуема, чтобы преодоление природной стихии, разгадка ее тайн приходили к нему не в



награду за его «тарзанью» храбрость, а в результате нравственной смелости и умственного риска.

Да, работа геолога (особенно в прошлые годы, но в значительной мере и сейчас) требует определенного здоровья, выносливости, быстрой ориентировки в сложных ситуациях экспедиционной жизни. Все эти условия разумеются сами собой: они необходимы, но

далеко не достаточны для достижения окончательного успеха в нашем деле. Да, в нашей профессии (так же, кстати, как и во многих других) не обходилось без несчастных случаев и даже трагических потерь. Но, конечно же, не это определяет основные черты характера и облика современного геолога. Да, мы действительно кормим гнуса в дальневосточной тайге, наши маршруты проходят по заснеженным хребтам Высокой Азии и по тундре Заполярья, но все это наиболее видимая со стороны часть геологической работы, одна из ее стадий, и, если хотите, только подходы к ее истинным высотам и глубинам. Окончательные же ее завоевания — всегда итог деятельности ясного разума, по сложности ничем не уступающей поискам в сфере точных наук, а по творческому наитию приближающейся к работе художника.

Может быть, я не стою бы повторять вполне понятные истины и вообще заводить разговор на эту тему, если бы такая однобокость не влияла на выбор многими юношами и девушками своего жизненного пути.

Ведь нередко этим объясняются приливы молодежи на геологические факультеты, и, что скрывать, последующие отливки, значительный отсев и «калбровка» специалистов: выдвижение, рост способных исследователей, любящих и уверенно постигающих цикл естественных и точных наук, и появление педучеников-«кустарей», которые просто вошли не в ту дверь.

Как заблуждается молодой человек и как печально видеть его разочарование, когда он ожидал от геологии только путешествий, приключений, песен у костра под гитару и всей той полубездумной жизни, овеянной туманом псевдоромантики, созданной в его воображении остро сюжетными фильмами, спектаклями, беллетристическими описаниями...

Я не встречал почти ни одного собрата по ремеслу, который бы ощущал свое сходство с этим «солнца и ветра братом», о котором почти ежедневно напевают нам популярные певцы и хрипят магнитофонные меценстры.

Один из них, известный своим мрачным сарказмом, даже так резюмирует свое отношение к геологии: «Я б с киркой в Москве уран нашел при такой повышенной зарплате».

В общем: «Держись, геолог. Крепись, геолог!» Держимся, стараемся крепиться и даже не относимся ко всему этому слишком серьезно:

...У геологин осталось чувство юмора
не обижаться — хочуте да слез
над всем, что так легко о ней

придумано,
написано, назалось бы, всерьез...

Гранн Фархадн



Непритязательный уют.
Вагончики. Палатки.
Звучит пароль: Тюмень — Сургут! —
И, значит, все в порядке.
Когда-нибудь, когда-нибудь,
Грустя в седую полночь,
Ты вспомнишь этот трудный путь
И молодость ты вспомнишь.
Ты вспомнишь перестук колес,
Далекую улыбку...
Так вспоминают Комсомольск,
Туркиб, Кузбасс, Магнитку.
Тобой проложенный маршрут
Ты неизбежно вспомнишь.
И вновь, как друг, Тюмень — Сургут
Придет к тебе на помощь!



*Река Зеравшан кончается в песках.
Географическая справка.*

Вспоминаю истоки. Очертания гор.
Голубые отроги. Ясный утренний зорь.
Детство. Стежки-дорожки.
И ватага друзей.
Среди них — я все тот же,
Босоногий ручей.
По камням я спускаюсь. Помогаю росту.
Из теснин вырываюсь. По долине теку.
Вешним ливнем наполнен,
Гулкой кровью снегов.
Пробегаю я полем
Вдоль жилищ и садов.
Я бегу по арыкам, перед миром в долгу,
Помогаю травинкам, всем цветкам на лугу.
Горяча и торопка золотая страда.
И коробочка хлопка зажжена, как звезда!
Подступает усталость —
Вязнет русло в песке.
Капля влаги осталась и мерцает в руке...
Не дошел я до моря,
Как и ты, Зеравшан,
Но я жил. Но я спорил.
Я любил, я дышал!



Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

никогда никому не проигрывай



Н. С. Теплякова. Снимок 1938 года.

В этом году наша лучшая теннисистка Ольга Морозова на кортах Филадельфии, Парижа, Лондона одерживает сенсационные победы. Но, едва проводив Морозову на очередной зарубежный турнир, ее тренер Нина Сергеевна Теплякова целиком погружается в заботы о совсем юных своих ученицах — и две ее двенадцатилетние девочки, Оля Зайцева и Света Чернева, на кортах Москвы, Северодонецка, Львова побеждают не только всех своих сверстниц, но и девочек более старших и даже взрослых женщин.

А знаете, сколько лет Нине Сергеевне? Вскоре исполняется семьдесят.

Я видел однажды утром, как, припадая то на одну ногу, то на другую, она брела к станции метро. В такое утро Нина Сергеевна думает лишь об одном: только бы не встретить на улице кого-нибудь из знакомых...

— Можно, я напишу об этом? — спрашиваю ее.

— Это, как говорится, не для печати. Ведь когда я захожу в свой ЦСКА, я уже не хромою. Я бегую. Ношу как угорелая. Кричу своим ученицам: «Я молодец вас!» Все глаза таращат: «Какая она молодец!» Никто и никогда еще не видел меня на кортах размазанной. Вы знаете, я играла до сорока лет — так все говорили: «Черт возьми, почему у нее ничего не болит?» А я, если даже плохо себя чувствовала, так тем более: хи-хи да ха-ха.

— Но, может быть, пришло время открыться?..

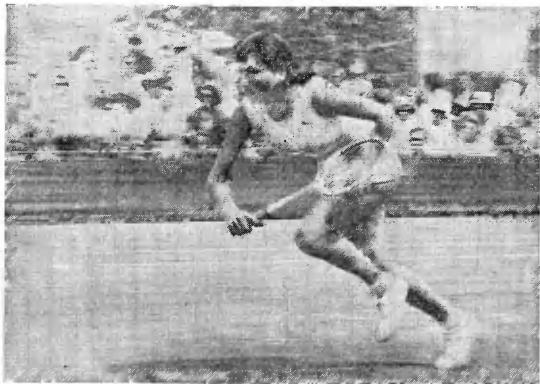
— Да бог с вами, пишете. Если уж вам так надо, чтобы все было правдоподобно. Пишите, что и я была девочкой юной, не помню лишь только когда... А теперь вот встаю засветло, разминку специальную делаю, по частям себя собираю. А прихожу домой вечером — сразу ложусь отдохнуть. Но вдруг телефонный звонок. Светка Чернева, которой я только что две новых ракетки дала, говорит: «Я все время смотрю на эти ракетки. Я их целую. Мне так хочется идти скорее на тренировку». И я уже не хочу отдыхать — мне тоже хочется идти скорее на тренировку. Нюра, сестра моя, говорит, что я ненормальная. А я только знаю, что если я буду много лежать или сидеть неподвижно у телевизора, я застыну.

Тех, кто далек от тенниса, я хотел бы проинформировать. Вот уже почти пятьдесят лет Теплякова «диктует моду» в нашем женском теннисе. Было время, когда, если кому-нибудь удавалось выиграть у Тепляковой хотя бы один сет (не матч, а сет!), это считалось событием. А когда она сама перестала играть, на первые роли выдвинулись ее ученицы.

За свои великие спортивные заслуги Нина Сергеевна Теплякова еще в довоенные годы награждена орденом. Она один из первых заслуженных мастеров спорта СССР (тем же указом это звание было присвоено братьям Знаменским). Позднее она стала и заслуженным тренером СССР.

Да, в этом году Нина Сергеевна, как никогда, ликovala, упоиваясь победами своих учениц. Но этот год стал для нее и годом тяжелой утраты — умер Николай Николаевич Иванов. Они познакомились в Мамонтовке, в подмосковном дачном поселке, в первые послереволюционные годы. В те годы в Мамонтовку съезжались летом любители футбола и тенниса, и самым видным теннисистом был Николай Иванов.

Жила летом в Мамонтовке и семья бухгалтера Теплякова, у которого было трое детей: Митя, Аня и Нина. Митя с детства прочили в инженеры-путейцы. У Тепляковых был родственник, который поступил когда-то в путевский институт, сплел себе красивую форму и неожиданно умер. Эта форма хранилась в



с семье, и почему-то считалось, что однажды ее непременно наденет Митя. И он действительно поступил в МИИТ и целый год ходил в этой форме, а затем поменял ее на собрание сочинений Ленина. Аня была любимицей бабушки, а та была акушеркой и с детства внушала ей: «Ты должна стать врачом». И Аня действительно стала врачом-гинекологом. А Нину, самую младшую, мать просила лишь об одном: «Принеси мне документ, что ты окончила школу, и тогда занимайся, чем хочешь». Больше всего на свете Нина любила танцевать и говорила, что будет балериной. Но Иванов, который увлекся Ниной, стал убеждать ее, что она должна играть в теннис. Нине льстило, что за ней ухаживает такой видный спортсмен, но играть в теннис она не хотела. Она хотела быть балериной.

Однако вечерами на теннис собирались все дачники, там было весело, шумно. И Нина однажды позволила Иванову вывести себя на корт, и у нее действительно сразу пошла игра и стало все получаться. С тех пор уже вечер за вечером она гарцевала (словечко Тепляковой) на мамонтовском корте.

Летом двадцать второго года Иванов предложил Нине сыграть с ним микст (смешанную пару) на первенстве Москвы. Чтобы не опозориться, она впервые начала серьезно тренироваться и уже не подражала Иванову на корте, а старательно выполняла все его указания.

На первенстве Москвы Иванов заявил Теплякову и в одиночном разряде. Но первую же встречу она проиграла под «ю», а затем «помогла» своему партнеру проиграть и пару. «Нет, я не буду больше играть в теннис», — сказала она Иванову. «Ты что, с первого раза хочешь стать чемпионкой? — Влюбленный Иванов осерчал. — Надо работать».

С тех пор она больше не ездила в дачную Мамонтовку, где не было серьезного тенниса, а тренировалась летом в Москве.

И в 1927 году вдруг обнаружилось, что Нину Теплякову обыграть невозможно. Теплякова уже была женой Иванова, но так случилось, что как раз тогда, когда она была признана первой ракеткой страны, они расстались.

Однако в решающие моменты спортивной биографии Тепляковой рядом с ней по-прежнему всегда

На этих снимках вы видите Ольгу Морозову (вверху слева) и ее главных соперниц этого года: Ерику Звереву (вверху справа) и Билли Джин Кинг.

оказывался Иванов. Так, он сидел у сетки центрального корта на теннисном стадионе в парке ЦАКА, держа в руках лимон и полотенце, и 18 июля 1938 года, когда в сорокаградусную жару в присутствии тысяч зрителей Теплякова играла с чемпионкой Праги Киселовой.

В тот год в нашу страну приезжала команда теннисистов пражского клуба «ЦЦЦ». До войны наши теннисисты фактически не встречались с настоящими зарубежными игроками, и приезд «ЦЦЦ» был великим событием. Лидеры чехословацкой команды Сибя и Киселова уверенно побеждали всех наших ведущих игроков. В первой встрече быстро, в двух сетах, уступила Киселовой и Теплякова. Она никак не могла достать укороченные мячи Киселовой — она впервые столкнулась с такой манерой игры. Тогда Теплякова поехала вслед за Киселовой в Киев и Ленинград и, присматриваясь к ее игре, запомнила движение кисти, которым Киселова посылала укороченный мяч.

И вот они встретились вновь. На этот раз Теплякова, заранее угадывая, когда Киселова готовилась сделать укороченный удар, бежала на хавкорт и эффектно убивала мяч, а иногда и сама играла вдруг укороченно. В перерыве перед решающим сетом Иванов сказал Тепляковой, что она все делает правильно, и протянул ей лимон, который она пожевала, чтобы не пить.

Она повела 2:0 и уже увидела, как ее осыпают цветами и несут на руках в раздевалку, но тут Киселова взяла подряд четыре геймы. Теплякова вдруг по-

чувствовала, что сдается. При очередном обмене площадками Иванов, обнимая ее плечом, сказал: «Нина, ну еще немножко...» Она сравняла счет. Киселова еще дважды выходила вперед, но Телякова догоняла ее. При счете 6:6 Киселова, которую тоже уже оставляли силы в эту сорокаградусную жару, попросила Сибу налить ей стакан воды. Телякова обрадовалась: ну, теперь я тебя доконаю. Сама она лишь опять пожевала лимон. Но, выиграв следующий гейм, Телякова ощутила, что у нее темнеет в глазах. «Нина, осталось еще немножко», — заклиная ее Иванов.

Приняв подачу Киселовой, она задела мяч по линии — 15:0. Под следующий мяч она забежала справа и вновь задела его по линии. Наконец, у Теляковой — матчбол. Киселова мажет, и Телякову осыпают цветами и несут на руках в раздевалку. Там в ведре со льдом охлаждался нарзан. Она выпила одну бутылку, другую, потом опустела на колени и свула в ведро голову (а ночью ее видели на карнавале в парке имени Горького — она качалась на качелях).

Шли годы. На турирах, где играли уже ученицы Теляковой, Иванов возглавлял обычно судейскую бригаду. И, если Теляковой не нравилось, как составлено расписание встреч ее девочек, она отчаянно ругала Иванова, хотя он был признанным «королем расписания». Но ни одно семейное торжество в доме Теляковой не обходилось без Ивановой, а в доме Ивановой — без Теляковой. У нее сложились добрые отношения и со второй женой Ивановой — Галиной. И если отмечался годовщина их свадьбы, Телякова поднимала неизменный тост: «Как хорошо, что мы тогда разошлись, Коля! Как я твою жизнь осчастливила — какая у тебя жена теперь!».

Уже после смерти Николаевича Нина Сергеевна говорила мне: «Имя, конечно, страшно повезло, что он развеялся со мной и женился на Галине. Я в хорошие руки его сдавала... И вот думаю: неужели он действительно умер?»

Почему долгое время никто не мог победить Телякову? К сетке она не шла, а предпочитала держаться на задней линии. Мало того, у нее был слабый удар слева, и под мячи, которые ей посылали под левую руку, она поровняла забегать справа. В чем же дело? Представлю некоторых ее соперниц.

Елена Александрова. Чемпионка СССР 1925 года. Играла тоже на задней линии, но ударом слева вела лучше, чем Телякова. Играла точно, умно, зло. Нина Сергеевна говорит, что у Александровой каждый мяч надо было выигрывать — сама не отдаст. Если зрители болели против нее, это лишь разжигало Александрову, помогал ей (ее звали «Тигра»).

Елена Дмитриевна — она и сейчас еще не прочь поиграть в теннис — сказала мне, что у Теляковой были «белые пятна», она бегала, как нинго. А главное, по мнению Александровой, — это упустило Теляковой, ее воля. «Из «первачей», — говорит Елена Дмитриевна, — и прошлых и настоящих, как женщин, так и мужчин, таких упорных не было и нет».

Софья Мальцева. В первые годы, учась в гимназии, была капитаном и центром форвардом женской футбольной команды. Позднее увлекалась теннисом и в 1919 году выиграла чемпионат Москвы. Для своего времени теннисистка сверхсовременная: довольно сильно подавала, подрезала мячи, а главное, шла к сетке. Но Мальцева была игроком настроенной, и поэтому Телякова опасалась ее меньше, чем Александрову. Впрочем, на первой Спартакиаде 1928 года Мальцева решительно обыграла и Александрову (та, полагая, что только она может еще одолеть Телякову, ужасно сердилась: «Зачем ты, Софа, у меня выигрываешь?»), а в финале — и Телякову.

И теперь Телякова, впуская своим ученицам, что стать первой проще, чем удержать первенство, всегда вспоминает, как Мальцева помогла ей понять это. Сейчас Софья Васильевна — хотя ей около восьмидесяти — еще без особых усилий дважды обегает в Лужниках футбольное поле. Софья Васильевна мне сказала: «Дело в том, что я могла проиграть случайно, а Нина не могла. Вот она и обошла меня».

Зинаида Клочкова. Ленинградская теннисистка, которая, как и Телякова, выдвинулась в 1927 году. Если Мальцева была не прочь выйти к сетке, то Клочкова шла к сетке всегда, где и была ее основная игра. 20 июля 1934 года газета «Красный спорт» писала: «Игра мастера Клочковой с первым игроком СССР Теляковой в матче Москва — Ленинград 5 июля была изумительной демонстрацией современной теннисной игры мирового класса».

Нина Сергеевна вспоминает: «Ленинградцы до того были рады, что Клочкова меня обыграла, что целовали меня, обнимали и засыпали всю цветами — вот такими букетами. Мне даже больше цветов досталось, чем ей. Честно говоря, мне все это было немного неприятно. И осенью, встретившись с Клочковой на первенстве Союза, я быстро раздалась с ней. Я предполагала ее выходы к сетке и обводила ее совершенно часто. И больше я Клочковой никогда не проигрывала».

К этому стоит добавить, что с 1934 года, когда она уступила Клочковой, и по 1940 год Телякова вообще никому у нас в стране не проигрывала, хотя на нее уже наседали агрессивные молодые соперницы.

Одной из них была киевianка Ольга Калмыкова. Она играла легко, свободно, разнообразно. Была задним мальчишкой на корте. На зимнем первенстве страны 1936 года, которое проходило на крытом боксе московского стадиона «Динамо», Калмыкова буквально забила ее в начале игры, нападая и с задней линии и выходя к сетке. Москвички аплодировали молодой киевianке — слишком уж долго Телякова была чемпионкой, и зрители жаждали сенсаций.

И во втором сете Калмыкова ведет 3:0. Что делать? Телякова попыталась было сама напасть, но ничего у нее не вышло. Неужели все? Нет, подумаю, она, как бы плохо я ни играла, сдаваться все равно не буду. Надо брать все мячи и ждать ее ошибки. Отгрызаясь. Только отгрызаясь. При счете 5:5 Телякова, пытаясь достать трудный мяч, падает, и у нее подворачивается нога. Она хромает — ступить на ногу больно. Она больше всего боялась, что Калмыкова будет теперь играть послабее, поговяет ее, а с такой ногой как бегать? На ее счастье, однако, Калмыкова продолжала играть сильно, делая ошибку за ошибкой от усталости. И, прыгая на одной ноге, Телякова выиграла сет — 7:5.

В раздевалку ее вели под руки. Врач сказал: «Растяжение». Она могла отказаться от продолжения встречи, и никто бы не упрекнул ее. Однако Ольга Ольсен — ее ближайшая подруга и партнерша по паре, которая была очень одаренным игроком, но «умирала» на тренировках не любила, — так вот, вселая Ольсен, с которой она всегда ходила в Столешников есть сбитые сливки, сказала: «Ты что? С ума сошла? Отказаться? Как тебе не стыдно? Скажут, что ты испугалась. Играй. Ты еще выиграешь».

В решающем сете Калмыкова наконец затрала тигр. Но Телякова, забыв о боли — нога была хорошо заморозжена — стала сама нападать и перехватывала игру. Калмыкова замедляла по корту, принимая ее остро пашированные, атакующие мячи, и все чаще и чаще ошибаясь, проиграла. А когда они шли в раздевалку, она сказала, швырнув ракетку: «Я брошу играть. Я бездарь. У меня все плохое, и я не могла у тебя выиграть». «Ты права», — сказала Телякова, —

это был твой матч». «Как я играла?! Я в жизни так не играла,— сказала Калмыкова.— Мало того, ты еще ногу вывернула. И я не могла тебе обыграть. Я, наверно, обыгрываю тебя только тогда, когда у тебя оторвется нога и будет лежать около корта и я увижу, как она лежит...»

В 1946—1947 годах Ольга Калмыкова была чемпионкой страны. Но Теляčkova уже не выступала тогда. Ленинградка Татьяна Налимова, которая во второй половине тридцатых годов уверенно вошла в десятку сильнейших, тоже ни разу не смогла победить Теляčkova, хотя, как и Клочкова, стремилась играть у сетки. И, если уж она добегала до сетки, то при своем росте и сложении напрочь переключала ее. И у Налимовой был один матч с Теляčkовой, когда она вела всю игру, но во втором сете при счете 4:1, когда Теляčkova выкинула ей мяч прямо на нос, она послала его в фон и ужасно расстроилась, Теляčkova усмехнулась: «Ну, теперь я тебя голыми руками возьму». И выдала. Татьяна Борисовна — сейчас она ведущий ленинградский тренер — сказала мне так: «Теляčkova была нам всем недоступна. Она выходила, и мы о нее, как о скалу, разбивались. Она нас быстро проглатывала».

Однажды, году в тридцатом, на корты Петровки, где тренировалась Теляčkova, пришел Асаф Мессерер и попросил ее дать ему несколько уроков игры в теннис. Теляčkova растерялась — она боготворила Мессерера. В очередной раз пойти на «Гигиенную предосторожность» или на «Красный мак» с Мессерером было для нее праздником. Она так высоко его ставила, что казалась себе ничтожной при нем. Такого таланта! О чем ему с ней разговаривать? Да, она была теннисной чемпионкой, ну и что? А Мессерер был солистом балета Большого театра!

В 1921 году, когда начинающий педагог Асаф Мессерер повел занятия на вечернем отделении училища Большого театра, первый урок классического танца он дал той взрослой группе, в которой занимались семнадцатилетняя Нина Теляčkova. Она знала удивительную артистическую судьбу Мессерера — он научился танцевать только в шестнадцать лет. Может, и у нее есть шанс? Родители давали ей на обед деньги, но по дороге в училище, проходя мимо лотков «Моссельпрома», она часто покупала на все эти деньги шоколадных конфет, съедая одну (и по сей день она не отказывает себе в шоколадных конфетах, ее обычный ужин — шоколадные конфеты с молоком), а остальные, проক্রавшись в училище в преподавательский гардероб, опускала в карман пальто Мессерера. Она старалась отгличиться на его уроках. Но хотя она быстро реагировала на движения, была хорошо координирована, ее ноги оказались излишне жесткими для балета. Мессерер утешал ее, говоря, что, помимо классики, есть характерные танцы и там она сможет найти себя...

И когда Мессерер пришел на Петровку взять у нее урок тенниса, Теляčkova действительно танцевала в музык-холле в ансамбле «30 ггерсов», руководимом знаменитым Касьяном Голейзовским. Но Мессерера она по-прежнему ставила выше всех. Робко показывая ему, как надо бить смех, она думала, что вот он поспрает неделю в теннис и победит, кого хочешь.

Нина Сергеевна говорит: «Я только теперь понимаю, как я была бездарна. Мессерер должен был просто выкинуть меня из училища, но он, очевидно, пожалел меня. Так и я жалею теперь своих девочек, которые очень хотят стать теннисистками, хотя я сразу вижу, что играть в теннис им не дано».

В начале лета я созвонился с Асафом Михайловичем Мессерером. Он тогда только что прилетел из

Варшавы, где ставил «Коппелию», и возобновлял в Большом театре свой класс совершенствования, который посещают все звезды нашего балета (Мессерер ныне является лучшим в стране, а быть может, и в мире, балетным педагогом). Я сказал Асафу Михайловичу, что хотел бы поговорить о Теляčkовой. «Приезжайте!», — сказал он.

Дано слово Мессереру: «Да, для классических танцев ноги у Нины были немного суховаты. Но для тенниса, где полно неожиданных резких движений, ее жесткие ноги были в самый раз. Она блистательно играла. Я был на всех ее главных матчах. Некоторые теннисисты делают очень хорошие удары и другие отдельные движения у них хороши, а общей координации нет. А ей это координировать да балет».

Знаете, дожившее до семидесяти, осматривайте, и нет вокруг никого из твоих сверстников. Живут-то они живут, но я имею в виду действующих. Таких, как Теляčkova. Ее ученицу Дмитрию я помню, а Морозову, к сожалению, не видел. Пропросите Теляčkova, чтобы она мне позвонила, когда Морозова будет играть в Москве».

Когда я передал эту просьбу Нине Сергеевне, она переспросила:

- Так и сказал, чтоб я позвонюла?
- Так и сказал.
- Я боюсь.
- До сих пор?
- Боюсь его до сих пор.

Обыграть Теляčkova было суждено ленинградке Галине Коровиной. До двадцати четырех лет она занималась гимнастикой, но вышла замуж, и муж приказал ей, как играть в теннис.

А через три года — в 1936 году — Коровина была уже третьей ракеткой страны. Муж говорил ей: «Тебе остается только бросить курить». А теннисные специалисты говорили: «Тебе надо переставить только удар слева, он у тебя неклассический». Но Коровина, так и не бросив курить и сохранив свой страшный удар слева (как Теляčkova стремилась под каждый мяч забежать сирова, так Коровина забегала слева и рубила наотмашь), в тридцать седьмом году вышла в финал чемпионата страны.

В тот год Теляčkova преследовала всяческие злоключения, она была далеко не в лучшей форме и лишь в последний момент решила играть чемпионат страны. Тем не менее ее путь наверх и на этот раз походил на легкую прогулку — она всех обыгрывала в двух сетах — как вдруг, встречаясь с теннисисткой совсем иного класса, она позволила ей повести во втором сете 5:2. Сенсация, однако, не состоялась, но перед финальной встречей Коровина сказала Теляčkova: «Смотри, если у меня будет 5:2, ты от меня не уйдешь». И Коровина повела во втором сете 5:2! Тут Теляčkova, вспомнив ее слова, расстроилась и вызывало посмотреть на Коровину: ну, выполняй свое обещание. Резко усилил игру. Теляčkova так на нее напала, что вскоре все было кончено.

А Коровина не очень расстроилась. — Уже в первом сете ее овладела безнадежность — как на ней, все мячи летят обратно. Но я была рада, что сгала хотя бы второй. Но Коровину вызвал тренировать глава ленинградской теннисной школы Евгений Кудрявцев — игрок очень яркий, который долгие годы был лидером нашего тенниса. Он поставил ей игру на хавкорте. Он говорил Коровиной, что если она будет выходить к сетке и играть, Теляčkовой под легкую руку, та дрогнет. Надо учесть, что в отличие от Клочковой и Налимовой Коровина бегала не хуже Теляčkовой.

И в финале следующего чемпионата страны Теляčkova с трудом вырвала у Коровиной победу.

— Она вам была только под левую руку? — спрашивала Нину Сергеевну.

— Была.

— И что вы делали?

— Забегала справа.

— А если не успевали?

— А вот успевала.

В тридцать девятом году Коровина несколько снижала, и Теплякова решила, что особенно опасаться ее уже не следует. В июне сорокового года она двое суток, почти не спав, добиралась из Львова в Ленинград, чтобы сыграть в традиционном матче за команду Москвы. И прямо с поезда, приехав на стадион, она вышла против Коровиной и проиграла. Она страшно расстроилась и сказала лишь: «Ну, Гаина, теперь я за тебя возьмусь».

Через месяц в Москве открывалось первенство страны. Теплякова, ежедневно меняя партнеров — на этот раз она просила играть с ней только мужчин, — тренировалась до полного изнеурения. И с каждым днем убеждалась, что играет все хуже и хуже. Ей бы превратиться, проанализировать себя, успокоиться, но она лишь еще истеричнее тренировалась. И вышла на court с Коровиной, ощущая, что совершенно разучилась играть...

Недавно я виделся в Ленинграде с Коровиной. Гаина Сергеевна вспоминает, как в сороковом году она стала чемпионкой страны: «Победив впервые Теплякову, я поверила, что, значит, могу все-таки у нее выиграть. А если бы я не обыграла ее перед чемпионатом страны, то, может, она бы опять стала первой! Помню, Нина дала мне тогда ценный совет: «Никогда и никому не проигрывай даже на тренировках. Чтоб все знали, что тебя никак нельзя «обыграть». Я подумала: кошмар! Значит, я теперь не могу хоть однажды кому-нибудь проиграть...»

Теплякова соглашается, что могла дать подобный совет, хотя ей лично помнится, как она сказала Коровиной: «Завоевать первенство легче, чем удержаться». К следующему лету Теплякова была в отличной форме, но началась война, и она научилась шить солдатские кальсоны и кистеты, слала на «отлично» штыковой бой и получила звание инструктора Всеобщуча.

На Цветном бульваре, около цирка, она азартно показывала призвыникам, как надо колоть чуело, а обедать ее прикрепили в цирк, и она помнит, как однажды оказалась за одним столом с Карацандом и он подарил ей кусочек хлеба.

В сорок втором году Теплякова вновь взяла в руки ракетку и, соскучившись по теннису, на одном дыхании выиграла чемпионат Москвы. А на открытое первенство Москвы 1943 года из блокированного Ленинграда на военном самолете была доставлена Клочкова и Налимова. Едва их привезли в «Грандотель», как они ринулись в буфет, потом — на Центральный рынок. Из Орска, где она работала в госпитале, занимаясь с ранеными лечебной физкультурой, приехала Гаина Коровина. И они с Тепляковой решили вместе играть пару.

Коровину и Теплякову сетка сразу свела с Налимовой и Клочковой, которые уже подкормились немного и всем своим видом давали понять, что убиты с лета легкой боль (они и ставят первыми, а Налимова выигрывает и одиночный разряд). В этой же встрече не был сыгран даже один сет.

Теплякова попыталась за мячом в вадуг оказалась на земле. Она не сразу поняла, что случилось. Первое ощущение, что кто-то дал ей палкой по ноге — вот она и села. Она сидела, улыбаясь, а все смеялись и говорили: «Вставай». По-прежнему улыбаясь, она пыталась встать и ее могла. А вокруг уже никто

не смеялся. Глядя на свое раздувшееся колено, она наконец поняла, что это мениск...

Так заканчивается история нашей великой теннисной чемпионки Нины Тепляковой. Три ее постоянных соперницы в тот день унесли ее с корта.

Она привыкла быть чемпионкой, премьершей. Привыкла после очередной победы на первенстве страны уезжать в Тагир и так говорить, чтобы быть самой черной. Она и на юге любила играть в теннис — с Игорем Ильинским, допустим, давая ему хорошую фору. Ильинский стегал на пляже: «Сейчас утоплюсь! Проплыть жеңиңне!» Райская была жизнь.

Когда же в послевоенные годы она взялась работать тренером, жизнь в первое время казалась ей беспросветной. В ее группе были опытные теннисисты из первой десятки страны, но ни одна из них не стремилась прыгнуть через голову — им было достаточно удержаться в десятке. И состоять при таких спортсменках вынуждены?

Но однажды к ней подошла тридцатитрехлетняя перворазрядница Елизавета Чувырнина и сказала: «Нина, я очень хочу играть в настоящий теннис. Научи меня». Чувырнина пообещала Тепляковой безоглядно ей подчиняться и впредь не делать ни одного шага — и не только на корте — без ее одобрения. И сотворилась чудо: за три года Нина Сергеевна вывелила из великовозрастной Чувырнины некое свое подобие. И все бывшие соперницы Тепляковой и новые, восходящие теннисисты расступились перед Елизаветой Чувырниной — с 1951 по 1954 год она бесценно вынуждала чемпионаты страны.

Правда, Чувырнина совсем не могла играть, если рядом не было Тепляковой. Она постоянно искала глазами своего тренера. Она начинала проигрывать, если даже видела, что Нина Сергеевна с кем-то разговаривает и, значит, не целиком занята ею.

В пятьдесят седьмом году на чемпионате страны в Тбилиси, когда Чувырниной уже было 43 года, она вновь вышла в финал всех трех разрядов, но тут ее схватил радикулит, и, хотя Нина Сергеевна целый вечер проглаживала горячим утюгом ее поясницу, Чувырнина «простояла» все три своих финала. Но, честно говоря, Теплякова уже жила в Тбилиси только успехами новой своей ученицы Анны Дмитриевой.

Анна Дмитриева — это целая эпоха в нашем женском теннисе. Ее отчаянное редкое чувство мяча и абсолютное понимание игры. Если и до Дмитриевой находились теннисистки, которые завершали розыгрыш мяча выходом к сетке, то сразу идти к сетке, чтобы там целиком разыграть мяч, до нее не умел никто. Кажется, трудно представить стиль, более поларный стилю Тепляковой. И тем не менее именно Нина Сергеевна научила Дмитриеву так современно играть. Она взяла Аню десятилетней девочкой и, сразу оценив ее возможности, решила сделать из нее не только чемпионку страны, но и Умбэдона (победительница этого турнира признается фактически чемпионкой мира на травяных кортах). Вышший образец современного тенниса Теплякова видела к тому времени лишь однажды, когда перед войной к нам в страну был приглашен знаменитый француз Анри Коше, но ее ценная багетная память сохранила рисунок движений Коше.

Нина Сергеевна до сих пор огорчается тем, что Дмитриевой удалось выиграть в Умбэдоне лишь бронзу в парном разряде. Она не винит Аню, что в 18 лет, став абсолютной чемпионкой страны, та ушла от нее к более молодому тренеру, который пытался взнуcoвать познать секреты техники зарубежных теннисных звезд. Но управлять сложным характером Дмитриевой этот тренер не смог, а она — и в этом Нина

Сергеевна не сомневается — смогла бы заставить Аю выиграть Уимблдон. Сейчас, как и прежде, они очень близки, и именно к Нине Сергеевне Аня привела свою дочь Марию. (Теплякова сейчас работает в ЦСКА, поскольку в «Динамо» нашлись люди, которые не оценили возможности Ольги Морозовой и вынудили ее уйти, а задом легко распрощались и с ее знаменитым тренером.)

В свое время Теплякова была, конечно, ужасно расстроена, что Дмитриева покинула ее. Однако на всех турнирах она по-прежнему болела за Аню, по-прежнему восхищалась ее талантом. Зимой шестьдесят первого года Дмитриева, вдруг выйдя из формы, проигрывала на Московском международном турнире своей постоянной сопернице Ирине Рязановой. По лицу Нины Сергеевны, которая сидела в первом ряду около самого урта корта, шли красивые пятна. А когда Аня растерянно посмотрела на нее один раз, другой — не у нового тренера она искала поддержки, а по-прежнему у своей Нины Сергеевны, — Теплякова не сдержалась и что-то крикнула Ане, стремясь ее успокоить. А своим маленьким девочкам, которые подавали на турнире мячи, она, видя, как Аня устала, тихо сказала: «Медленнее, девочка, медленнее...» Одной из девочек, которая вдруг стала бегать медленнее, была Ольга Морозова.

Оля пришла к Нине Сергеевне в 1959 году, десяти лет. В теннисную секцию детей приводят мамы или бабушки. Оля пришла сама.

Увидев, как Оля рассматривает на стенде фотографию Ани Дмитриевой, Нина Сергеевна сказала: «Эта девочка — чемпион СССР. Все должны быть такими, как она». И, приходя на тренировки Дмитриевой, Оля боялась шлохотнуться. «Я не решалась даже голову повернуть», — вспоминает она, — «вдруг я ей помешаю».

Оля готова была сутками не уходить с корта. Такой преданности теннису Теплякова еще не встречала. Оля вспоминает: «Мне хотелось играть и играть. Я хотела быть первой в секции. Когда Нина Сергеевна просила нас сделать десять pistolетов, я всегда потихоньку делала и одиннадцатый. Да, я ужасно много тренировалась. Терпеть не могу, когда люди скрывают, что они много работают. Дескать, выиграл, почти не тренируясь. Но разве постыдно, что ты много работаешь?»

Оля отличалась редким вниманием на тренировках. Она и в школе была внимательна на уроках, все запоминала, чтобы дома почти не заниматься. Согласитесь, просто идеальная девочка попалась Нине Сергеевне? «Да, Оля во всех отношениях моя идеальная ученица», — говорит Теплякова.

Оля сразу решила, что Нина Сергеевна всегда и во всем права. Долгое время для нее просто не существовало других авторитетов. Олима мама поощряла такое отношение к тренеру. Позднее, когда Оля стала много ездить на зарубежные турниры, у нее появились собственные суждения о теннисе. Теплякова, которая тоже уже посмотрела, как играют и в Париже и в Уимблдоне, не всегда соглашалась с ней, но ее радовало, что Оля теперь так ясно спорит. «Если у человека нет ничего своего, мне такой человек неинтересен», — говорит она.

Прошлый сезон Морозова уже заканчивает игроком первой десятки мира (такого успеха наш теннис прежде не знал). А этой весной в Филадельфии обыгрывает Билли Джин Кинг!

Кинг — это суперзвезда мирового тенниса. Достаточно сказать, что она пять раз выиграла Уимблдон в одиночном разряде. Она никогда не жила затаборными обычными женщинами. Со своим будущим мужем она познакомилась еще в колледже: Билли Джин изучала историю, а Ларри — биохимию. Но она сказала

Ларри, что хотела бы выйти замуж за юриста, и он стал юристом. Она не только великая теннисистка, но и лидер движения за равенство спортивных возможностей женщин в Соединенных Штатах. Издает вместе с мужем журнал, посвященный женскому спорту. В прошлом году Кинг сыграла сенсационный матч, который смотрели 50 миллионов телезрителей, с бывшим чемпионом Уимблдона Бобби Ритсом, и женщина в этом матче победила мужчину.

Этой весной Оля Морозова, едва приехав в Соединенные Штаты, чтобы играть цикл турниров, уже в первом из них встретилась с Кинг. Оля рассказывает: «Никогда прежде я с Кинг не встречалась, но когда я смотрела ее игру, мне казалось, что она делает на корте что-то невероятное — все время горит, взрывается, — что мне в жизни такого не сделать, хотя мне и самой всегда хочется достать дикий мяч, — сыграть невероятно. Я повела было 1:0, а затем проиграла 1:6, 3:6. Я играла неплохо, в каждом гейме боролась, но счет рос в одну сторону. Ужасное ощущение. Кинг немного меня ободрила, сказав, что моя игра ей понравилась».

От турнира к турниру Морозова играла все увереннее и наконец в Филадельфии встретилась с Кинг уже в финале: «Мы играли в Филадельфии на «спорт-фейсе» — на жестком войлоке зеленого цвета, постеленном на дереве. Это покрытие лосе — мяч отскакивает и высоко и быстро. Перед встречей с Кинг я себе сказала: только не думай о выигрывании. Не падай. Думай об игре. Каждый раз о конкретном мяче — о том, как его сыграть. Как и в прошлом матче, я сразу выиграла ее подачу. Неужели, подумала я, все повторится полностью? Нет, думаю, еще один гейм я должна выиграть. И тут, на своей подаче, я сыграла без единой ошибки. Первый сет я выиграла 7:6 — на буллитях. В таких случаях говорят — повезло. Что ж, допустим. Кинг сломалась в первом гейме второго сета. На моей подаче мы играли, наверно, минут пятнадцать: ровно, больше, меньше, ровно... И я наконец выиграла свою подачу. Теперь я рисковую, а она от волнения мажет, и первая подача у нее совсем расслаживается. Последний мяч. Я вижу пустое место на ее площадке. И мяч на ракетке. Надо только попасть в это пустое место. И попадаю. И все. И можно с ума сойти. А Кинг мне сказала: «В этом году мы с тобой два раза сыграли и хвяти. Больше играть с тобой не хочу».

В начале мая, возвратившись из США, Морозова немного потренировалась под наблюдением Нины Сергеевны (она любит тренироваться со своим мужем мастером спорта Виктором Рубановым) и отправилась играть традиционный летний цикл: первенства Италии, Франции и Уимблдона. В отличие от Уимблдона, где играют на траве, два первых турнира проводятся на земляных площадках.

Нынешним летом главными героинями этих турниров стали две теннисистки: американка Крис Эверт и наша Ольга Морозова. Крис Эверт двенадцать лет. И как игрок и как человек, она совершенно не похожа с уже знакомой нам Билли Джин Кинг. Но об Эверт и о своем единоборстве с нею расскажем сама Морозова:

«Крис стройная, хороша собой, похожа на фарфоровую статуэтку. Но эта машина. У нее железная кисть. С одного замаха она может укоротить мяч, сыграть резаный, обвести тебя или кинуть свечу. И ты до последней секунды не видишь, что она делает. А слева, когда она, играя двумя руками, поворачивается к тебе боком, уже совсем ничего не видно. Она играет на заднем линии, но как играет! На траве, конечно, где Кинг творит чудеса, Эверт, не выходя к сетке, более узвила. Но на земле за последние три года она проиграла лишь два матча.

В Риме я встретила с Эверт в полуфинале. Я решила, что буду все время атаковать ее. Но она, как амеба, приспосабливается ко всем твоим ударам. И ей велья отдавать первый мяч—она сразу же делает 30:0. Поэтому, боясь ошибок, я выходила к сетке только под ситуацию. Мы играли, играли, счет рос в ее пользу, и я уже не знала, что делать. Первый сет она выиграла 6:1. Во втором сете я играла только с лета—играла в свою игру и сломала ее. Было жарко, и перед решающим сетом она взяла перерыв, отдохнула. И опять я не знала, что делать. Если два первых гейма у нее не выиграешь, не оторвешься, то все. Первые два гейма я не выиграла...

А выходя на корт вместе — в Риме мы договорились с Крис, что будем играть пару,—мы не знали проблем. В прошлом году я «выиграла Италию» с Вирджинией Уэйд, а теперь — с Крис Эверт. Мы четко поделили обязанности: она держит заднюю линию, а я играю с лета.

В Париже, где мы сошлись уже в финале, я опять пошла к сетке. Каждый гейм мы разыгрывали очень долго, но последние два очка доставались ей. Она играла стабильнее — вот в чем дело. И потом я уже убедилась, что она «дикий» человек. Если бы нашелся гипнотизер, который внушил бы мне перед игрой в Париже, что она человек обычный, что я могу ее обыграть!.. А что касается пары, то мы победили опять без проблем.

Я прерву Ольгу, чтобы сказать, что до нее никто из наших теннисистов еще не пробивался в финал одиночного разряда чемпионата Франции и никто не выигрывал этот знаменитый турнир, который выявляет лучших игроков мира на земле, в паре.

Морозова продолжает: «Мы с Крис закончили свой финал и сразу полетели в аэропорт Орли. Прилетели в Лондон. Теперь нам надо было спешить на поезд в маленький город Истборн, где наутро начинался турнир, предшествующий Уимблдонскому. Мама Эверт, которая на турнирах ограждает дочь от всех забот, и ко мне уже относилась по-матерински: подкармливала яблочками, клубничкой. А тут она усадила меня вместе с Крис в такси, и за пятнадцать минут до отхода поезда мы успели на вокзал. После игры в Париже мы еще ничего не ели, а Крис говорит, что она съест только один сэндвич, ибо она не видит в привокзальном баре еды, полезной для желудка. И пить она ничего не будет — все эти напитки вредны тем более. «Съешь сэндвич вухомитку!» — спросила я. «Да, пить я не буду», — твердо сказала Крис. Потом она отчитала миссис Эверт, которая взяла себе кекс: «Мама, в твоем возрасте нельзя есть такие кексы». Миссис Эверт робко оправдывалась: «Могу же я, я раз не испеци!» «Мама, ты должна думать», — возразила Крис.

В поездке Крис читала журналы, посвященные жизни «звезд». Похоже, что только такие журналы она и читает. На этот раз она изучала привлек и туалеты Элизабет Тейлор и Онар Шарифа. А мы с миссис Эверт беседовали. Она мне рассказывала, что каждый день звонит мужу в Нью-Йорк, сообщая, как играет Крис. «Эти разговоры вам дорого, очевидно, обходятся?» — поинтересовалась я. И вдруг Крис, услышав эту фразу, отложила журнал: «Мама, это действительно очень дорого». Миссис Эверт смутилась: «Но папа волнуется...» «Что волнуется?» — сказала Крис. — Первые два круга ясно, что я прохожу. Вот если проиграю, тогда знон...» Бледи Джин Кинг, например, любит хвастаться, сколько сотен долларов она тратит в неделю, разговаривая с мужем по телефону. А Крис Эверт, как видите... Она публично заявляет, что очень себе нравится. Возит с собой десять чеподанов с теннисными платками и парадными, но постоянно ходит, впрочем, в одних и тех же

джинсах. Она помолвлена с американским теннисистом Джимми Коннорсом и, сделав в турнирах имя и капитал, собирается вести семейную жизнь и иметь несколько детей.

В Истборне мы играли в полуфинале. Я почти сломала ее, задавила темпом. Я выиграла один сет и вела в решающем 3:2, но сделала только одну ошибку с лета, и все... Был в игре и момент, когда Крис послала мяч в аут, но решила, что он пошел. «Как пошел? — говорю я. — Вот так он и пошел». Судья не согласился со мной, и после игры Крис не отходила от меня до тех пор, пока я не сказала, что не расстраиваюсь и вообще все в порядке. Мне кажется, что она человек холодный, но со мной она часто вела себя так, словно ей близки и мои радости и огорчения. Не могу я ее повясть до конца.

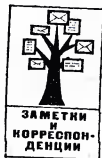
И вот начался Уимблдонский турнир, но начались и дожди. Из-за этого всю вторую неделю я играла по три игры в день. На одиночные встречи я выходила в новом платье с розовой подкладкой, которое мне сплел законодатель теннисной моды Теоди Тинлинг. Значит, я действительно стала неплохо играть, если Тинлинг предлагает мне у себя одеваться?

В четвертьфинале я в третий раз за год встретила с Билли Джин Кинг. В прошлом году она победила в финале Уимблдона Эверт и теперь отстаивала свой титул. Прогривая мне один из решающих геймовых мячей, Кинг решила, что судья к ней пристрастен, и в чувствах зашвырнула мяч через все трибуны. Это не понравилось английским зрителям, и теперь все болели только за меня. Трава на корте вроде просохла, но отскок мяча был очень низкий, и я все время укорачивала. Кинг не всегда доставала мой мяч, а я все ее мячи доставала. Я выиграла в двух сетах. Кинг сказала корреспондентам, что она еще победит в Уимблдоне, и, придя в раздевалку, весело воскликнула: «Знаешь, ты кто? — И на чистом русском языке произнесла: «Дура». Я рассмеялась: «А может, ты...» «А может, я», — согласилась Кинг и сказала, что хотела бы пойти в Большой театр, который в те дни гастролировал в Лондоне. И я достала ей билеты на «Спартак».

Победив затем прославленную англичанку Вирджинию Уэйд, Морозова вышла в финал Уимблдона! А в финале она в очередной раз сошлась с Эверт: «Я надеялась взять скоростью, но, играя по три встречи в день, устала к финалу. Все справедливо — Крис и на этот раз была сильнее. Какой она молодец — в девятнадцать лет выиграла Уимблдон! И прямо на корте я поцеловала ее. Потом мне сказали, что за всю историю Уимблдона проигравшая финалистка впервые поцеловала свою соперницу. Ну и что? Вот на следующий день я действительно почувствовала, что не хочу ничего видеть, и даже не пошла смотреть мужской финал, в котором победила Джимми Коннорс, жених Крис. Я ходила по Оксфорд-стрит и выбирала друзьям и родным подарки. А меня все время останавливали и спрашивали: «Вы Ольга Морозова?»

Вам не показало, что Крис Эверт играет в тот же теннис, в который играла когда-то Нина Теплякова? Да, стиль один. Игра Эверт — это доведенная до совершенства игра на задней линии. Остается заметить глубокомысленно, что и в теннисном мире все повторяется.

Тут мы и расстаемся с Ниной Сергеевной Тепляковой. Она сейчас продолжает внушать Ольге Морозовой, что Крис Эверт — обычный человек, у которого можно выиграть.



СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — ДЕЛО РУК... ВОСЬМИ- КЛАССНИКОВ

Правда, они еще никого не спасли. Но могут это сделать в любую минуту. Если кто-нибудь будет тонуть. Но тонуть редко. И как раз в этом их заслуга.

Старший техник спасательной службы Виталий Юрьевич Овчинников организовал на Лазаревской спасательной станции ОСВОДа юношеский клуб «Альбатрос». Вместе со взрослыми ребята дежурят на станции, им доверяют бинокли, ракетницы, шлюпки, они патрулируют вдоль берега, раздают отдыхающим листовки с правилами поведения на воде...

— Началось все с сына Юры, — рассказывает мне Виталий Овчинников. — Стал брать его с собой на дежурства, учить морским премудростям, за ним ребята с нашего двора потянулись: «Дядя Витя, дайте на шлюпке пожить...» Я даю, они покажутся, покажутся и у меня застрянут. С ними тоже заниматься начал. Плавать ребята умеют — с детства на море... Подумал, почему не организовать детскую спасательную службу? И вообще, морскую клуб?.. Посовещавшись с нашим председателем районного совета ОСВОДа Ильей Петровичем Андриадой, я основал мы юношеский клуб «Альбатрос». Такое романтическое название придумали... Вот уже третий год «альбатросы»... Валера, предупреди ту даму в шлюпке!..

Последняя фраза относится к загорелому восьмикласснику Ва-



лере Клемешову. Опытный глаз Овчинникова зарегистрировал даму в шлюпке, лихо плывущую мимо буй в открытое море. Загорелый Валера прыгает в шлюпку, догоняет даму, что-то говорит ей, и дама покорно возвращается к берегу.

— Все так слушаются? — спрашиваю я Валеру, когда он причаливает шлюпку.

— Бывает, пререкаются: «Тебе чего, мальчик?» Видят, что школьник...

— Ну и что тогда делают ваши ребята?

— Весло вертикально поднимаем, подплываю взрослые со станции. Другой разговор... Но так редко. Большинство слушается. Потом, у меня осведомская повязка, на шлюпке флажок...

— Очень удобно, — продолжает беседу Овчинников. — Всегда два три помощника под рукой. А на станции наши сначала недовольны были: «Ты что, детский сад развел?..» Но я поговорил — перестали смеяться. Ребята лнут к технике. Мы уже с ними и акваланг прошли и моторы разные... Конечно, им сейчас права не дают: десять классов нужно. Но придет время, пригласим комиссию, сдадут экзамены, получат удостоверения судоводителей и аквалангистов. Чем плохо для парня?.. У нас и девочки есть. Яра Кацора, она у себя в классе большую осведомскую работу ведет, Ира Чадова, киевлянка, каждый год в Лазаревскую отдыхать

приезжает и сразу к нам. Все меня: «Дядя Витя, дядя Витя...» Никогда не приучу Виталеем Юрьевичем звать. А какая разница...

Мы лежим с ребятами-осведомцами на горячих камнях и, пока их услуги никому не требуются, беседуем.

— Хорошо вам, — говорю я. — Все лето у моря. И лето у вас длинное... Другие могут позавидовать.

— Зато зима плохая. На лыжах не покаетесь.

— А небось, переживаете, что еще спасти никого не удалось?

— Да ну... — отвечает Юра Овчинников. — С утопленниками не очень-то приятно дело иметь. Лучше просто с купающимися.

— Юра! — кричит ему отец с крыльца спасательной станции. — Догони того черненького! Плавать не умеет, а туда же...

Юра с удовольствием бежит к шлюпке.

Если в будущем году вам доведется отдыхать в Лазаревской, что недалеко от Сочи, и вы нарушите правила поведения на воде, и к вам подплывет школьник на спасательной шлюпке, и сделает вам замечание, — не говорите ему: «Тебе чего, мальчик?» Потому что этот мальчик — член ОСВОДа и в любую минуту может поднять весло вертикально.

В. БЕРЕНДЕЕВ



Виктор СЛАВКИН

ТАЙНОЕ ЗАДАНИЕ

(Подражание
современному детективу)

Я долго прикидывался ребенком. Лет тринадцать-четырнадцать. Так было нужно. Для дела. Для выполнения тайного задания, ради которого я и был заброшен в эту жизнь. Никто ничего не должен был знать. Даже я сам. Мне лишь сообщили мой генетический код, в котором было зашифровано мое призвание, и таинственный голос — я решил, что это и есть мой внутренний голос, — выдал мне полные инструкции относительно моей предстоящей жизни. Инструкции предписывали мне не проявлять с ходу свои способности, не тратить таланты по пустякам, быть как все, не высовываться из ряда вон, не прыгать выше головы, не лезть поперек батьки... Сначала вжиться в образ, встать в коллектив, надежно законспирироваться, а когда все кругом поверят, что я тот, за кого себя выдаю, выходить на связь с центром. А пока, сказал центр моим внутренним голосом, вот тебе фальшивые метрики — и живи.

Я целую розовыми пятнами, гаркнул: «Есть!» — и родился.

Во-первых, надо было обрабатывать родителей. Надо было убедить, что я — их. И я убеждал, чего бы мне это ни стоило. Особенно тяжкие моральные мучения доставляла мне кормежка.

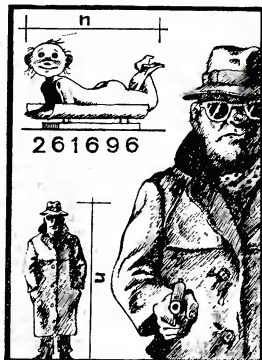
Я отчаянно краснел, и однажды мама спросила насмешливо:

— В чем дело? Почему он такой красивый?

Я почувствовал, что засыпаю... Нянечка наклонилась и проглядела меня насквозь пронзительным взглядом. Я поблелел...

— Вот, — сказала нянечка басом, — ребеночек сам отрегулировался.

Этот случай многому научил меня. Я стал осторожнее. В результате родители были полно-



стью обработаны, и мне открывалась великолепная возможность шантажа. По-моему, они уже и сами догадывались, что попали в сети. Во всяком случае, трехколесный велосипед был куплен по первому моему требованию.

Следующими на очереди были товарищеские. К этому времени я уже пошел в школу. Я должен был убедить моих одноклассников, что я есть средний, ничем не примечательный ученик. Мне это давалось с большим трудом: ведь у меня были недюжинные способности. Уже во втором классе я мог в уме сосчитать, сколько будет 348×752 , но цифру 261 696, которая получалась в результате, я никогда никому не называл. Я отчетливо видел: эта способность может привести меня на пьедестал почета победителей математической олимпиады. Конечно, это может стать пределом мечтаний какой-нибудь серой личности, которой ничего

больше в жизни не светит. Но я, я еще сверху нечто такое!.. Такого!.. Что именно, я пока не знал, но твердо верил, что мне уготовано высокое предназначение. Поэтому даже учителю под страхом двойки я никогда не говорил, сколько будет 348×752 . Тем более что число 261 696 было моим агентурным номером.

Но нет-нет да мои способности все-таки меня подводили. Однажды на химии я так увлекся, сливая разные вещества, что вдруг получил золото. Ребята ахнули, а химичка сразу предложила мне свою должность с еженедельным приработком за сверхурочные часы. Чтобы развезти славу выдающегося, пришлось пару раз остаться на второй год. После этого интерес ко мне резко упал, и я закрепил за собой образ серого парня, среднего ученика, ничем не примечательной личности.

Когда я окончил школу, передо мной встал вопрос: где я буду менее всего бросаться в глаза — поступив в институт или оставшись за его бортом, ведя жизнь вечного абитуриента. Я выбрал первое, потому как решил: юноша, который не может устроить свою судьбу, обращает на себя гораздо больше внимания, чем благополучный студент технического вуза, живущий на выручку от сдачи пузырьков из-под чернил.

Так я стал студентом. Все шло своим чередом, как вдруг надо мной нависла большая опасность. У меня появился друг. И как я купился на его обаяние! Как позволил себе клониться на его дружбу! Но он был действительно хороший парень.

Познакомились мы на катке, где я катался в толпе, вставая в коллектив.

— Догоняй! — крикнул он мне, прозвывая мимо.

И черт меня дернул потянуться за ним!.. Он припустил. Отставать неудобно — сразу все увидят, что кто-то отстал, а так бежит один человек за другим и бежит... На то и каток. Тут я своего знакомого обогнать стал, хотел было остановиться, чтоб не отрываться далеко, а не могу, сколько-то. Так и проехал лишний круг. Гляжу, на меня народ идет. Впереди колышется плакат: «Привет новому чемпиону!» — и лавровый венок несут. Друг мой подбегает ко мне, еле дышит и говорит:

— Ну, ты железный парень!
— Ага! — кричу. — Слышали? Мне нельзя чемпионом быть. У

меня коньки на движке и дыша-ние искусственное!

В общем, добился того, что ве-нок вручили моему другу и в га-зету его сфотографировали. За-чем мне эти крохи судьбы? При-мом блестящим будущем.

Говорит он мне:

— Ну, по гроб жизни я тебе обязан.

А я уже домой возвратился. Он провожать меня повел.

По дороге говорит:

— Хочешь, я тебе свой свитер подарю?

— Это зачем? — спрашиваю.

— А просто так... — отвечает. — Дружба.

— А я чего дарить должен?

— Ничего. Я — тебе, а ты мне ничего, потом ты — мне, а я тебе ничего. Дружба у нас.

Взял я свитер. «Не страшно, — думаю. — История мне эта проти-вопоказана, я ее скоро кончу, так что до «я — ему» дело не дойдет».

Но беда в том, что свитер ока-зался очень теплым. Когда я его натягивал, я всегда вспоминал о своем друге. Так и привык, что он у меня есть.

В кино вместе ходили, в столо-вую, разговаривали о том о сем... Вернее, говорил он, а я только мычал что-то нечленораздельное. Нельзя мне было его заинтересо-вывать оригинальным сужде-нием, надо было играть среднего, незаметного. Как-то я спросил у него:

— Чего ты во мне нашел?

А он отвечает:

— Верю я, что ты не такой, ка-ким кажешься на людях. Раскрыть тебя хочу.

Господи!.. Что я слышу! Это же провал! Порвать, немедленно порвать! Ничего, без друга обой-демся. Не подвергать же опасно-сти выполнение тайного задания... Кстати, не пора ли связаться с центром, чтобы узнать это задан-ие? Нет, как раз сейчас и не пора. Только что меня чуть не разоблачили. Надо все начинать сначала — и вживать-ся и вращать.

Первым делом я порвал с дру-гом. Сейчас уже забыл как. Бро-де бы вернулся ему свитер, потому что, помню, мне сразу стало хо-лоднее...

Тем временем я получил дип-лом и пошел работать в обыкно-венную проектную контору, где за высоким кулемном меня со-всем было не видать.

Но все-таки разглагольствуй до все-го-то этим сослуживцам есть де-ло!

Говорят:

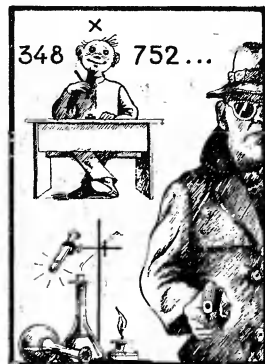
— Чтой-то ты какой-то не как

все. Нелюдимый. Парень моло-дой, а девушки у тебя нет.

Действительно, промашка! Пора себе напарницу заводить. Позна-комиться недолго. Делов-то все-го на пятьдесят копеек — билет на танцплощадку.

Сразу мне там одна девушка понравилась. Прическа особенно интересная у нее была. Как буд-то птица на голове сидит и кры-лья вниз на уши свесила. Пригла-ля я ее и стал с ней ходить.

Через некоторое время смот-рая, какая-то она не совсем обыч-ная. Как посмотрит на меня, так ресницами морг-морг. Я уж и так и сяк, все как-то особо на меня смотрит. «Подозревает, — поду-



мал я. — Пора кончать». Она в сле-зы, а я с ходу на другой женился. Средненькой такой, без всяких птиц на голове. Из нашей конторы. На начальника, на вахтера, на меня — на всех одинаково смотрит. А это для меня главное. Снова конспирацию наладил.

А уж как первый ребенок ро-дился, так все и поверили, что я тот, за кого себя выдаю. Я для гарантии второго произвел и по-думал: «Пора выходить на связь».

Ночью, когда все домашние ус-нули, вынул я из тайника радио, настроился и послал в эфир шиф-ровку:

ДОКЛАДЫВАЕТ 261696 ТЧК
ВСЕ ИДЕТ НОРМАЛЬНО ВСКЛ
ПРОВЕЛ ДЕТСТВО ЗПТ КОНЧИЛ
ШКОЛУ ЗПТ ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗПТ ЖЕНИЛСЯ
ЗПТ ЗАВЕЛ ДВУХ ДЕТЕЙ ТЧК
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАВАЙТЕ ВПР

Получил ответ:

ЗАВОДИТЕ ТРЕТЬЕГО ТЧК

Я быстро замаскировал радио

под тумбочку и пошел выполнять инструкцию.

Третий получился не ребенок — чудо. И вес и рост — все рекорд-ное. Еле директора роддома уго-ворил, чтобы в газету не сообща-ли. Пришлось даже главному врачу взятку дать, чтобы в книге реги-страции младенцев записать — мол, рост средний, вес средний, пол средний. Насилу домой увез сынка. А там уж я быстро его до кондиции довел. Все как в реги-страционной книге получилось. Не придерешься.

Живу себе дальше. Многодет-ный отец. Работать много прихо-дится, вечера иногда прихаты-вать. Без сверхурочных от зарпла-ты до зарплаты не дотянуть. Тут у меня, как у всех. Ничего приду-мывать не надо.

Однажды засиделся за кулья-ном почти до утра. Контроль над собой потерял, слабостью допу-стил в голову очень оригинальную идею. Мысль — первый класс. Что, подумал, если вместо двух мостов, которые я проектирую, — автомобильного и пешеходного — построить один, двухъярусный? Поверху чтоб люди ходили, а внизу пусть машины несутся. Эко-номия, безопасность, красота. Изыщный мостик может получи-ться...

И вдруг мне до боли в затылке, до ломоты в суставах захотелось, чтобы шли по этому мосту двое — друг мой и девушка с птицей на голове, а навстречу — я.

«Ну ты молодец!» — сказал что-бы мой друг, топнув ногой в мост.

А девушка чтобы погладила пе-рила и сказала: «Необычно!»

«Говорят, жена у тебя, другой такой нет», — чтобы позавидовал друг.

«И дети — чудо», — добавила бы девушка.

А я чтоб: «Да ладно вам...» И чтоб поняли они — все так и есть. И облокачиваемся мы на перила и смотрим вниз, где, словно разно-цветные черепашки, скользят разно-цветные автомобили. И вдруг я вижу, как с головы девушки сры-вается птица канюх вниз, потом слышавает высоко в небо, и вот это уже не птица, а самолет, и летит к нам с него бомба, и — трах-бах-тара-пах! — я вниз головой ле-чу со своего двухъярусного мо-ста и больно стукнусь копчиком о землю. А-а-а...

Это я вспомнил, что должен был заметить в этой жизни, что высываться с разными ори-гинальными идеями не имю ор-iginalного права. Ведь по элементарной фотографии на доске почта меня любая собака опознает. Я вспо-минил инструкцию: быть самым луч-

шим и самым худшим мне одинаково противопоказано.

Я скепсис расчета своего двухъярусного моста и пеллом посыпал голову одного сослуживца, работавшего за соседним кульманом. Наши расхохотались, и это было как нельзя кстати. А то уже стали поговаривать, что в последнее время стал чересчур серьезным, живой шуток от меня не добьешься. Пришлось съюморить, потому что все нынче юморят, такой стиль жизни. Но за юмор пришлось расплачиваться — меня сразу же включили в местную команду КВН. Как всех. Стал я углым юмором в газетах и журналах почитать, сам рассказы пописывать и по редакциям рассылать. Читаю свои творения сослуживцам — смеются, посылаю в редакцию — приходит отказ. Как обычно.

Обо всем этом послал шифровку в центр. Маскировка, мол, полная, чтобы быть похожим на всех, стал несколько оригинальным, в образ намертво вжился, мозги крепко всем запудрил, самое время выходить на задание, короче, на что употребить последние годы? Спрашиваю и перехожу на прием. Принимаю:

«НАЦИОНАЛЬТЕ ОФОРМЛЯТЬ ПЕНСИЮ ТЧК».

Так. Стало быть, рксывать еще не пора. Им так виднее. И потом приказ есть приказ. В нашем деле самое главное — глубже зайти, законспирироваться, чтоб комар носа не подточил, а уж потом... Задание, видно, мне заготовили высшей категории сложности. Любопытство разбирает, но дисциплина прежде всего.

Собрал документы, оформил бумаги, принял от коллектива электрический самовар, поблагодарил, прослезился для убедительности и ушел на заслуженный отдых.

Сразу легче стало, будто воздуха вокруг меня прибавилось, голова для неторопливых мыслей освободилась. О времени думаю, о жизни, о себе... Природу вокруг увидел, запаха носом втянул, синичку от малиновки отличать научился. На молодые лица стал смотреть с удовольствием. Вот, думаю, племя младое, незнакомое... Познакомиться захотелось. Длинные волосы отпустил, из-под носа усы свесил, по улицам хожу, шаркая подошвами, согнувшись в три погребели, — от двадцатилетнего не отличишь. Смотрю, стали на меня другие пенсионеры пальцами показывать и потом этими пальцами у висков крутить, перешептываются... И опять я в самый последний момент

понял, что нахожусь на грани провала. С ума сошел!.. Как я мог размагнититься от свободы, распрямиться от безделья, разноречь от старости и так далеко отойти от образа типового пенсионера!..

Немедленно побежал в парикмахерскую, махнула меня там одна практикантка под бокс, аж кусок мяса на затылке прихvatила. С косым затылком врезался я в толпу пенсионеров и с ходу восьмидесят две партии в домино рванул. После там же на бульваре открытое письмо написал по вопросу «обволосения молодежи в направлении низкопоклонства и пресмыкания». Разослал во все академии, включая сельскохозяй-



ственных наук. Все ответили. Перепиская заявлялась. Комиссии по мне приезжать стали. Пришлось под свою формулировку теоретическую базу подводить. Противно, а подожу. Ох, и вредная работенка — выдавать себя за совершенно другого человека, чем ты есть на самом деле.

Казалось, от такой работы должно было у меня здоровье покачнуться — никуда! Здоров, как бык. Чтобы здоровью своему выход находить, по ночам подковы гну, а чтобы возрасту соответствовать — по утрам в поликлинику хожу. К врачам в очереди стою. Как очередь доходит, раздаваясь доглаго и требую дефицитного ультрафиолетового облучения. Однажды один доктор, покосившись в угол, где я, как всегда, снимал с себя сиреневое белье, сказал медсестре: «С ума они все поехидили. На них воду возить? А они по больницам шляются...»

«Раскусил!» — похолодел я, но тут же потеплел снова — поскодрили же с ума в се, значит, полный порядок. Добился я все же своих лучей, хотя знал наверняка, что они противопоказаны моему организму. Ради идеи надо идти на жертвы. Только вот ради какой идеи?.. Этот вопрос с каждым днем мучил меня все больше и больше, потому что силы мои под воздействием губительных лучей иссякали...

У моего смертного одра собрались ась семья. Я лежал среди белых подушек и, как того требовала ситуация, изображал умирающего. А сам из-под полузакранных век посматривал на своих родственников. Новести о чем-то перешептывались, сыновья сосредоточенно глядели на циферблаты своих часов, словно судьи на финише, жена стояла у моего изголовья, из ее глаз, как из испорченного крана, равномерно капали слезы. Одна из них упала мне на лицо. Я осторожно лизнул ее кончиком языка — о, ужас! — слеза оказалась абсолютно несоленой. Кровь ударила мне в голову — я понял все.

Судорога трянула меня. Семья звывала. То есть это я раньше думал, что эти люди — моя семья... Оказалось, ась подосланные. Попал в ловушку! Я-то думал, что вокруг пальца их обвел, а выходит, это они всю жизнь, за мной следят. Сейчас стоят кругом, ждут; когда я расколослю, а потом схватят, скрутят, заставят снова жить, работать на них... Обо всем этом я слабеющей рукой отступал под подушкой своему шефу:

«ГОТОР НА ВСЕ ТЧК ЧТО ДЕЛАТЬ ВПР»

Ответ был короткий:

«СРОЧНО ОТКЛЮЧАЙТЕСЬ ТЧК»

Я немедленно исполнил приказ.

И явился мне некий господин с зеленым лицом. На голове то ли дужки очков, то ли рожки торчат; сзади то ли телефонный провод, то ли хвост болтается; во рту сигареты нет, а оттуда дым идет... События чужьем понял: хозяин! «Благодарим за службу!» — гаркнул шеф моим внутренним голосом, будто из пивной бочки затычку вышибил.

«Какая служба?» — удивился я. — Почему вы меня не использовали?»

«Вы сделали все, что мы хотели».

«Я м мог сделать ась. Я был идеальным резидентом. Где вы такого еще возьмете? Обыватель

из обывателей. В толпе не отличишь, на улице не заметишь, похож на любого и каждого, ни с кем никогда, ни против кого и за тоже ни-ни. Что жил, что не жил, ни рыба ни мясо, ни богу свечка ни черту кочерга...

«А больше от вас ничего и не требовалось, — прервал меня шеф. — Вы блестяще выполнили наше тайное задание», — добавил он и притопнул копытцем.

Тут-то до меня вдруг все и дошло. Шефа словно голеньким увидел. Понял, чьим резидентом был всю жизнь. И еще понял, что эту самую жизнь прожил зря. Призвания своего не угадал, друга предал, мимо настоящего любви прошел, ничего стоящего не совершил... А все ради чего? А ради ничего! Пустоты ради. Всю жизнь ждал своего звездного часа, а звездный-то час мог случиться каждую минуту. Теперь жизнь прошла...

И вдруг в порыве последней надежды я бросился к шефу: «Можно, я попробую еще? Снова, а?.. Все сначала!»

«Поздно!» — отрезал шеф. — На ваше место мы уже послали нового человека. Он уже приступил к своему делу».

И мне стало до слез жаль своего преемника.

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ



Рисунок И. СУСЛОВА.

— **3** Дравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами гость. Инспектор района Мария Пантелеймоновна Ступакова. Нашему классу вчера присвоено высокое звание образцового. Мария Пантелеймоновна пришла посмотреть, что мы собой представляем. И как мы добились высоких показателей. Витя, пересядь с задней парты на первую — к Оле Скворцовой. А Мария Пантелеймоновна сядет на твое место.

Итак, приступим к делу... Да, да, войдите! Здравствуйте, Савелий Львович. Ребята, сегодня на нашем уроке присутствует также инспектор облоно Савелий Львович Дудик. Витя Фатеева, пересядь на другую парту, а Савелий Львович пусть сядет с Марией Пантелеймоновной. Ничего, что нет свободных мест. Уместиться втроем с Борей и Светой. Подвиньтесь, Боря и Света! Еще, еще, вот хорошо!

Итак, наш сегодняшний урок... А вы откуда, товарищи? Корреспонденты газет? Вас много? Всего четверо? Ладно, заходите. Ребята с задних парт, все пройдет вперед. Устраивайтесь по три.

Итак, тема сегодняшнего урока... Товарищи, закройте дверь, здесь урок. И вы сюда! Коллектив учителей школы номер пять? За прерыванием опыта? В полном составе, говорите? Двадцать три человека? Ну что же, заходите. Дети с правого ряда парт, перейдите на левый. Да, можно и по четыре и по пять. Ну, все разобрались? Только потише, пожалуйста!

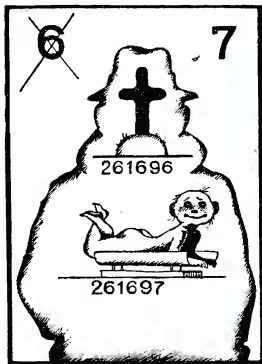
Итак, начинаем урок... А вы кто? Швейная фабрика номер

шесть? Шефы? У нас ведь были другие шефы! Теперь вы? Вас целый цех пришел? Ну что ж, заходите. Мальчики, я попрошу вас выйти из класса и подождать до перемены в коридоре. Товарищи швейники, занимайте места мальчиков. Попрошу побыстрее!

Итак, на чем мы остановились? Вы тоже, товарищи, к нам? Из какого колхоза? «Светлый шлях»? По одному входите, не все сразу. Девочки, освободите места товарищам колхозникам. А сами присоединитесь к мальчикам в коридоре. Только далеко не разбегайтесь: скоро звонок. Все сели, товарищи?

Ну что ж, продолжим урок... А вот и они, наши дорогие гости! Да, нам звонили, что вы сегодня приедете! Знакомьтесь, дорогие товарищи! Это мадам Жозефина Путь-а и мистер Арчибалд Сфинкс! Они приехали из-за рубежа ознакомиться с нашим образцовым классом. Товарищи из «Светлого шляха», освободите места мадам и мистеру! Ничего, ничего, потеснитесь. А вы, товарищи, не стесняйтесь, садитесь по три. Все равно сейчас прибудет еще одна иностранная делегация и вам придется выходить в коридор. Там вы будете познакомиться с классом и убедитесь в его образцовости — я уверена, что никто не убежал домой, все ждал окончания урока. А вот и звонок. До свидания, господа и товарищи! Всего вам хорошего, до новых встреч!

г. Ярославль.



Рисунки
И. МАКАРОВА.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

- Ф. НАСЕДИН. Трудная радость. Роман. 4
Юрий АДАМОВ. Первая полчка. Рассказ 27
Р. РОМА. Два рассказа о Райкине. 37
Анатолий ГОЛУБЕВ. Чужой патрон. Приключенческая повесть. 43

ПОЭЗИЯ

- Виталий КОРОТИЧ. Заклинание правдой. «Я видел сосны. Каждая из них...». «А что в итоге? Мать, друзья, работа...» Песня для матери. «Полдня был ливень так прозрачен...». Реквием для Бадуриуса. Перевел с украинского Ю. Мориц.
Михаил ГОЛОВЕНЧИЦ. «Уже недолго до заката...». На Красной площади. Лесная речка. «Земля во власти первой стужи...»
Валентин БЕРЕСТОВ. «К братишке на базаре...». Свадебное шествие. «По блюдечку ключом стучит он звонко...». Первая учительница. Для чего собирал я гербарий.
Владимир ЖИЛИН. Плач Былихи.
Павло МОВЧАН. Май. Весной. Воспоминания об эвакуации. Перевел с украинского Ю. Рюшенцев.
Виктор ШИРОКОВ. «Неясно над Пушкиным небо...». «Как только тронулся состав...». «Знакомь ль вам ладонь залива...»
Владимир КАЛИНИЧЕНКО. Серенада в заливе Шуберта.
Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ. Голос. «Электрички спящие фары...». «Неравнодушен я к баяну...»
Николай ГРАЧЕВ. На бывшей «ничейной» земле. «Сосенки цветут шишками...»
Яков КОЗЛОВСКИЙ. «Посольской визы штемпель нелинейный...». Запрещенная охота. Ноябрь 1973 года. Песня. В новогоднюю ночь.
Рами ФАРХАДИ. «Непритязательный уют...». «Вспоминаю истоки. Очертания гор...»

ПИСЬМО ОКТЯБРЯ

- Елена ЩЕРБАКОВА. «Истоки хамства — не в краске для ресниц...»

КРИТИКА

- В. ПЕРЦОВ. «Я хочу создать тип молодого человека...»
Л. ЖУКОВСКАЯ. Праздник красок. (К нашей вкладке)
Арий РОТНИЦКИЙ. «Пришли 800 детей — хорошо».
Владимир СОЛОВЬЕВ. Судьба человека в жанре рассказа (Дневник критика)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ. Свадьба в Старой Рязани.
Владимир ЭРВАИС. Мера отдачи.
Игорь САНТУРЯН. Плацкартная жизнь.

НАУКА И ТЕХНИКА

- Эрнст ПОРТЯГИН. Что вы ищете?.. . . .

СПОРТ

- Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Никогда никому не проигрывай.

ЗАМЕТКИ

И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- В. БЕРЕНДЕЕВ. Спасение утопающих — дело рук... восьмиклассников.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

- Виктор СЛАВКИН. Тайное задание. (Подражание современному детективу).
Герберт КЕМОКЛИДЗЕ. Образцовый класс.

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

- 2 Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
3 В. И. ВОРОВОВ
(зам. главного редактора)
В. Н. ГОРЯЕВ,
25 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
26 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
35 К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
35 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

36

42

59

- 75 Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

- 99 Технический редактор
Л. К. Зябкина.

60

- 61 На 1—4-й стр. обложки
рисунок Э. РАПОПОРТ.

65

66

- Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6,
70 Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32 83.
Рукописи не возвращаются.

76

84

- 88 Слово в набор 30/VII—
1974 г. А 06987.
Подл. к печ. 12/IX—1974 г.
95 Формат 84×108^{1/8}.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
Изд. № 2235. Заказ № 2551.

100

- 107 Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
108 123865, Москва, А-47, ГСП,
111 ул. «Правды», 24.



Г. АБДУРАХМАНОВ
(Ташкент).
Целина.



В. ПИЛЬНЕНОК
(Нурек).
Первые агрегаты
пущены.